

Светлана Алексиевич

Цинковые мальчики

2006

Двадцатого января тысяча восемьсот первого года казакам донского атамана Василия Орлова приказано идти в Индию. Месяц дается на движение до Оренбурга, а оттуда три месяца “через Бухарию и Хиву на реку Индус”. Вскоре тридцать тысяч казаков пересекут Волгу и углубятся в Казахские степи...

В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVII века. М., Мысль, 1988, с. 475.

В декабре 1979г. советское руководство приняло решение о вводе войск в Афганистан. Война продолжалась с 1979-1989г. Она длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней. Через Афганистан прошло более полумиллиона воинов ограниченного контингента советских войск. Общие людские потери Советских Вооруженных сил составили 15051 человек. Пропали без вести и оказались в плену 417 военнослужащих. По состоянию на 2000г. в числе не вернувшихся из плена и не разысканных оставалось 287 человек...

Полит.ру, 19 ноября 2003г.

ПРОЛОГ

— Я иду одна... Теперь мне долго предстоит идти одной...

Он убил человека...Мой сын... Кухонным топориком, я им мясо разделывала... Вернулся с войны и тут убил... Принес и положил утром топорик назад, в шкафчик, где у меня посуда хранится. По-моему, в этот же день я ему отбивные приготовила... Через какое-то время по телевидению объявили и в вечерней газете написали, что рыбаки выловили в городском озере труп... По кускам... Звонит мне подруга:

— Читала? Профессиональное убийство... Афганский почерк...

Сын был дома, лежал на диване, книжку читал. Я еще ничего не знала, ни о чем не догадывалась, но почему-то после этих слов посмотрела на него... Материнское сердце...

Вы не слышите собачий лай? Нет? А я слышу, как только начинаю об этом рассказывать, слышу собачий лай. Как собаки бегут... Там в тюрьме, где он сейчас сидит, большие черные овчарки... И люди все в черном, только в черном... Вернусь в Минск, иду по улице, мимо хлебного магазина, детского садика, несу батон и молоко и слышу этот собачий лай. Оглушающий лай. Я от него слепну... Один раз чуть под машину не попала...

Я готова ходить к могильному холмику своего сына... Готова рядом там с ним лежать... Но я не знаю... Я не знаю, как с этим мне жить... Мне иногда на кухню страшно заходить, видеть тот шкафчик, где топорик лежал... Вы не слышите? Ничего не слышите... Нет?!

Сейчас я не знаю, какой он мой сын? Какого я его получу через пятнадцать лет? Ему пятнадцать лет строго режима дали... Как я его воспитывала? Он увлекался бальными танцами... Мы с ним в Ленинград в Эрмитаж ездили... Книжки вместе читали... *(Плачет.)* Это Афганистан отнял у меня сына...

...Получили из Ташкента телеграмму: встречайте, самолет такой-то... Я выскочила на балкон, хотела изо всех сил кричать: “Живой! Мой сын живой вернулся из Афганистана! Эта ужасная война для меня кончилась!” — И потеряла сознание. В

аэропорт мы, конечно, опоздали, наш рейс давно прибыл, сына нашли в сквере. Он лежал на земле и за траву держался, удивлялся, что она такая зеленая. Не верил, что вернулся... Но радости у него на лице не было...

Вечером к нам пришли соседи, у них маленькая девочка, ей завязали яркий синий бантик. Он посадил ее к себе на колени, прижимает и плачет, слезы текут и текут. Потому что они там убивали... И он... Это я потом поняла...

На границе таможенники срезали у него плавки американские... Импортные... Не положено... Так что он приехал без белья. Вез для меня халат, мне в тот год исполнилось сорок лет, халат у него забрали. Вез бабушке платок — тоже забрали. Он приехал только с цветами... С гладиолусами... Но радости у него на лице не было...

Утром встает еще нормальный: “Мамка! Мамка!” К вечеру лицо темнеет, глаза тяжелые... Не опишу вам... Сначала не пил ни капли... Сидит и в стенку смотрит... Сорвется с дивана, за куртку...

Стану в дверях:

— Ты куда, Валюшка?

Он на меня глянет, как в пространство... Пошел...

Возвращаюсь поздно с работы, завод далеко, вторая смена, звоню в дверь, а он не открывает. Он не узнает мой голос. Это так странно, ну, голоса друзей не узнает, но мой, тем более “Валюшка”, только я его так звала. Он как будто все время ждал кого-то, боялся. Купила ему новую рубашку, стала примерять, смотрю: у него руки в порезах.

— Что это?

— Мелочь, мамка.

Потом уже узнала... После суда... В ”учебке” вскрывал себе вены... На показательном учении он был радист, и не успел вовремя забросить рацию на дерево, не уложился в положенное время, и сержант заставил его выгрести из туалета пятьдесят ведер и пронести перед строем. Он стал носить и потерял сознание... В госпитале поставили диагноз: легкое нервное потрясение... Тогда же ночью он пытался вскрыть себе вены... Второй раз в Афганистане... Перед тем, как идти в рейд, пропали дефицитные детали, кто-то из своих вытащил... Рация не работала... Командир обвинил его в трусости, что это он детали спрятал. А они там все друг у друга воровали, машины на запчасти разбирали и несли в дуканы, продавали. Покупали наркотики... Наркотики, сигареты. Еду... Они вечно ходили голодные...

По телевизору шла передача об Эдит Пиаф, мы вместе с ним смотрели...

— Мама, — спросил он меня, — а ты знаешь, что такое наркотики?

— Нет, — сказала я ему неправду, а сама уже следила за ним: не покуривает ли?

Никаких следов. Но там они наркотики употребляли — это я знаю.

— Как там в Афганистане, — спросила однажды.

— Молчи, мамка!

Когда он уходил из дому, я перечитывала его афганские письма, хотела докопаться, понять, что с ним. Ничего особенного в них не находила, писал, что скучает по зеленой траве, просил бабушку сфотографироваться на снегу и прислать ему снимок. Но я же видела, чувствовала, что с ним что-то происходит... Мне вернули другого человека... Это был не мой сын... А я сама отправила его в армию, у него была отсрочка. Я хотела, чтобы он стал мужественным. Убеждала его и себя, что армия сделает его лучше, сильнее. Я отправила его в Афганистан с гитарой, устроила на прощание сладкий стол. Он друзей своих позвал, девочек... Помню, десять тортов купила...

Один только раз он заговорил об Афганистане... Под вечер... Заходит на кухню, я кролика готовлю. Миска в крови. Он пальцами эту кровь промокнул и смотрит на нее... Разглядывает... И сам себе говорит:

— Привозят друга с перебитым животом... Он просит, чтобы я его пристрелил... И я его пристрелил...

Пальцы в крови... От кроличьего мяса, оно свежее... Он этими пальцами хватает сигарету и уходит на балкон. Больше со мной в этот вечер ни слова.

Пошла я к врачам. Верните мне сына! Спасите! Все рассказала... Проверяли они его, смотрели, но кроме радикулита, у него ничего не нашли.

Прихожу раз домой: за столом — четверо незнакомых ребят.

— Мамка, они из Афгана. Я на вокзале их нашел. Им ночевать негде.

— Я вам сладкий пирог сейчас испеку. Мигом. — Почему-то обрадовалась я.

Они жили у нас неделю. Не считала, но, думаю, ящика три водки выпили. Каждый вечер встречала дома уже пять незнакомых людей... Пятым был мой сын... Я не хотела слушать их разговоры, пугалась. Но в одном же доме... Нечаянно подслушала... Они говорили, что, когда сидели в засаде по две недели, им давали стимуляторы, чтобы были смелее. Но это все в тайне хранится. Каким оружием лучше убивать... С какого расстояния... Потом я это вспомнила... Когда случилось... Я потом стала думать, лихорадочно вспоминать... А до того был только страх: “Ой, — говорила я себе, — они все какие-то сумасшедшие. Все ненормальные”.

Ночью... Перед тем днем, когда случилось... Когда он убил... Мне был сон, что я жду сына, его нет и нет. И вот его мне приводят... Приводят те четыре “афганца”... И бросают на грязный цементный пол. Вы понимаете, в доме цементный пол... У нас на кухне... Пол, как в тюрьме... Мы остаемся вдвоем...

Уже к этому времени он поступил на подготовительный факультет в радиотехнический институт. Хорошее сочинение написал. Счастливый был, что у него все хорошо. Я даже начала думать, что он успокаивается. Пойдет учиться. Женится. Когда те ребята уехали, к нему опять все вернулось... Сидит и весь вечер в стенку смотрит. Заснет в кресле... Мне хочется броситься, закрыть его собой и никуда не отпускать. А теперь мне снится сын: он маленький и просит кушать... Он все время голодный... Руки тянет... Всегда во сне вижу его маленьким и униженным. А в жизни?! Раз в два месяца - свидание. Четыре часа разговора через стекло...

В год два свидания, когда я могу его хотя бы покормить... И этот лай собак... Мне снится этот лай собак... Он гонит меня отовсюду...

За мной стал ухаживать один мужчина... Цветы принес... Когда он принес мне цветы, я их увидела: “Отойдите от меня, — стала кричать, — я мать убийцы”. Первое время я боялась кого-нибудь из знакомых встретить, в ванной закроюсь и жду, что стены на меня рухнут. Мне казалось, что на улице все меня узнают, показывают друг другу, шепчут: “Помните, тот жуткий случай... Это ее сын убил... Четвертовал человека... Афганский почерк...” Я выходила на улицу только ночью, всех ночных птиц изучила. Узнавала по голосам.

Шло следствие... Оно шло несколько месяцев... Он молчал... Я поехала в Москву в военный госпиталь Бурденко. Нашла там ребят, которые служили в спецназе, как и он. Открылась им...

— Ребята, за что мой сын мог убить человека?

— Значит, было за что.

Я должна была сама убедиться, что он мог это сделать... Убить... Долго их выпрашивала и поняла: мог! Мой разговор о смерти... Нет, не о смерти, а об убийстве не вызывал у них особенных чувств, таких чувств, какие любое убийство обычно вызывает у нормального человека, не видевшего кровь. Они говорили о войне, как о работе, где надо убивать. Потом я встречала парней, которые тоже были в Афганистане, и, когда случилось землетрясение в Армении, поехали туда со спасательными отрядами. Меня интересовало,

я уже на этом застолбилась: было ли им страшно? Что они испытывали при виде смерти? Нет, им ничего не было страшно, у них даже чувство жалости притуплено. Разорванные... Расплющенные... Черепа, кости... Похороненные под землей целый школы... Классы... Как дети сидели на уроке, так и ушли под землю. А они вспоминали и рассказывали о другом; какие богатые винные склады откапывали, какой коньяк, какое вино пили. Шутили: пусть бы еще где-нибудь тряхануло. Но чтобы в теплом месте, где виноград растет и делают хорошее вино... Они что — здоровые? У них нормальная психика?

“Я его мертвого ненавижу”. Это он мне недавно написал. Через пять лет... Что там произошло? Молчит. Знаю только, что тот парень, звали его Юра, хвастался, что заработал в Афганистане много чеков. А после выяснилось, что служил он в Эфиопии, прапорщик. Про Афганистан врал...

На суде только адвокат сказала, что мы судим больного. На скамье подсудимых — не преступник, а больной. Его надо лечить. Но тогда, это семь лет назад, тогда правды об Афганистане еще не было. Их всех называл героями. Воинами-интернационалистами. А мой сын был убийца... Потому что он сделал здесь то, что они делали там. За что им там медали и ордена давали... Почему же его одного судили? Не судили тех, кто его туда послал? Научил убивать! Я его этому не учила... *(Срывается и кричит.)*

Он убил человека моим кухонным топориком... А утром принес и положил его в шкафчик... Как обыкновенную ложку или вилку...

Я завидую матери, у которой сын вернулся без обеих ног... Пусть он ее ненавидит, когда напьется. Всех ненавидит... Пусть бросается на нее, как зверь. Она покупает ему проституток, чтобы он успокоился... Сама один раз ему любовницей стала, потому что он лез на балкон, хотел выброситься с десятого этажа. Я на все согласна... Я всем матерям завидую, даже тем, у кого сыновья в могилах лежат. Я сидела бы возле холмика и была счастлива... Носила бы цветы...

Вы слышите лай собак? Они за мной бегут... Они за нами бегут... Я их слышу...

Мать

Из записных книжек (на войне)

Июнь 1986 года

Я не хочу больше писать о войне... Опять жить среди “ философии исчезновения” вместо “ философии жизни”. Собрать бесконечный опыт не-бытия. Когда закончила “ У войны не женское лицо “, долго не могла видеть, как от обыкновенного ушиба из носа ребенка идет кровь, убегала на отдыхе от рыбаков, весело бросавших на береговой песок выхваченную из далеких глубин рыбу, меня тошнило от ее застывших выпученных глаз. У каждого есть свой запас защиты от боли — физический и психологический, мой был исчерпан до конца. Меня сводил с ума вой подбитой машиной кошки, отворачивала лицо от раздавленного дождевого червяка. Высохшей на дороге лягушки... Думалось не раз, что животные, птицы, рыбы тоже имеют право на свою историю страдания. Ее когда-нибудь напишут.

И вдруг! Если это можно назвать “вдруг”. Идет седьмой год войны... Но мы ничего о ней не знаем, кроме героических телерепортажей. Время от времени нас заставляют встрепенуться привезенные издалека цинковые гробы, не вмещающиеся в пенальные размеры “хрущевок”. Отгремят скорбные салюты — и снова тишина. Наша мифологическая ментальность незыблема — мы справедливые и великие. И всегда правы. Горят — догорают последние отблески идей мировой революции... Никто не замечает, что пожар уже дома. Загорелся собственный дом. Началась горбачевская перестройка... Рвемся навстречу новой жизни... Что нас самих ждет впереди? На что окажемся способны после стольких лет искусственного летаргического сна? А наши мальчики где-то далеко неизвестно за что погибают...

О чем говорят вокруг меня? О чем пишут? Об интернациональном долге и геополитике, о наших державных интересах и южных границах. И этому верят. Верят! Матери, еще недавно в отчаяний бившиеся над слепыми железными ящиками, в которых им вернули сыновей, выступают в школах и военных музеях, призывая других мальчиков “выполнить свой долг перед Родиной”. Цензура внимательно следит, чтобы в военных очерках не упоминалось о гибели наших солдат, нас уверяют, что “ограниченный контингент “ советских войск помогает братскому народу строить мосты, дороги, школы, развозить удобрения и муку по кишлакам, а советские врачи принимают роды у афганских женщин. Вернувшиеся солдаты приносят в школы гитары, чтобы спеть о том, о чем надо кричать...

С одним долго говорила... Я хотела услышать о мучительности этого выбора — стрелять или не стрелять? А для него как бы не существовало тут драмы. Что хорошо — что плохо? Хорошо “во имя социализма” убить? Для этих мальчиков границы нравственности очерчены военным приказом. Правда, о смерти они говорят осторожнее, чем мы здесь. Тут сразу обнаруживается расстояние между нами.

Как одновременно переживать историю и писать о ней? Но это не значит, что любой кусок жизни, всю экзистенциальную “грязь” взял за шиворот и втащил в книгу. В историю. Надо “проломить время” и “уловить дух”.

“У существующей печали сто отражений”. (В. Шекспир. Ричард III)

...На автобусной станции в полупустом зале ожидания сидел офицер с дорожным чемоданом, рядом с ним худой мальчишка, подстриженный под солдатскую нулевку,

копал вилок в ящике с засохшим фикусом. Бесхитростно подсади к ним деревенские женщины, выпросили: куда, зачем, кто? Офицер сопровождал домой солдата, сошедшего с ума: “С Кабула копает, что попадет в руки, тем и копает: лопатой, вилок, палкой, авторучкой”. Мальчишка поднял голову: “Прятаться надо... Я вырою щель... У меня быстро получается. Мы называли их братскими могилами. Большую щель для всех вас выкопаю...”

Первый раз я увидела зрачки величиной с глаз...

Я стою на городском кладбище... Вокруг сотни людей. В центре — девять гробов, обшитых красным ситцем. Выступают военные... Взял слово генерал... Женщин в черном плачут. Люди молчат. Только маленькая девочка с косичками захлебывается над гробом: “Папа! Па-а-почка!! Где ты ? Ты обещал мне куклу привезти. Красивую куклу! Я нарисовала тебе целый альбом домиков и цветочков... Я тебя жду... “ Девочку подхватывает на руки молодой офицер и уносит к черной “Волге” . Но мы еще долго слышим:”Папа! Па-а-а-почка... Любимый па-а-почка...”.

Генерал выступает... Женщины в черном плачут. Мы молчим. Почему мы молчим? Но я не хочу... Не могу больше писать о войне...

Сентябрь 1988 года

5 сентября

Ташкент. В аэропорту душно, пахнет дынями, не аэропорт, а бахча. Два часа ночи. Бесстрашно ныряют под такси толстые полудикие кошки, говорят, афганские. Среди загоревшей курортной толпы, среди ящиков, корзинок с фруктами прыгают на костылях молодые солдаты (мальчишки). На них никто не обращает внимания, уже привыкли. Они спят и едят тут же на полу, на старых газетах и журналах, неделями не могут купить билеты в Саратов, Казань, Новосибирск, Киев... Где их искалечили? Что они там защищали? Никому не интересно. Только маленький мальчик не отводит от них своих широко раскрытых глаз, и пьяная нищенка подошла к одному солдатику:

— Поди сюда... Пожалеею...

Он отмахнулся костылем. А она, не обидевшись, добавила еще что-то печальное и женское.

Рядом со мной сидят офицеры. Говорят о том, какие у нас плохие протезы. О брюшном тифе, холере, малярии и гепатите. Как в первые годы не было ни колодцев, ни кухонь, ни бань, нечем было даже мыть посуду. А еще о том, кто что привез: кто — “видик”, кто магнитофон — “Шарп” или “Сони”. Запомнилось, какими глазами они смотрели на красивых, отдохнувших женщин в открытых платьях...

Долго ждем военный самолет на Кабул. Говорят, что сначала загрузят технику, а потом людей. Ждет человек сто. Все — военные. Неожиданно много женщин.

Отрывки из разговоров:

— Теряю слух. Первыми перестал слышать высоко поющих птиц. Овсяницу, например, не слышу начисто. Записал ее на магнитофон и запускаю на полную мощность... Последствие контузии в голову...

— Сначала стреляешь, а потом выясняешь, кто это — женщина или ребенок? У каждого свой кошмар...

— Ослик во время обстрела ложится, кончится обстрел — вскакивает.

— Кто я в Союзе? Проститутка? Это мы знаем. Хотя бы на кооператив заработать. А мужики? Что мужики? Все пьют.

— Генерал говорил об интернациональном долге, о защите южных рубежей. Даже расчувствовался: “Возьмите им леденцов. Это же дети. Лучший подарок — конфеты”.

— Офицер был молодой. Узнал, что отрезали ногу: заплакал. Лицо как у девочки — румяное, белое. Я сначала боялась мертвых, особенно если без ног или без рук... А потом привыкла...

— Берут в плен. Отрезают конечности и перетягивают жгутами, чтобы не умерли от потери крови. И в таком виде оставляют, наши подбирают обрубки. Те хотят умереть, их лечат.

— На таможне увидели мой пустой саквояж: “Что везешь? — “Ничего”. — “Ничего?” Не поверили. Заставили раздеться до трусов. Все везут по два-три чемодана.

В самолете мне досталось место возле привязанного цепями бронетранспортера. К счастью, майор возле меня оказался трезвым, остальные вокруг все были пьяны. Неподдалеку кто-то спал на бюсте Маркса (портреты и бюсты социалистических вождей навалили без упаковок), везли не только оружие, но и набор всего необходимого для советских ритуалов. Лежали красные флаги, красные ленточки...

Вой сирены:

— Вставайте. А то проспите царство небесное... — Это уже над Кабулом.

Идем на посадку.

...Гул орудий. Патрули с автоматами и в бронежилетах требуют пропуска.

Я не хотела больше писать о войне. Но вот я на настоящей войне. Всюду люди войны, вещи войны. Время войны.

12 сентября.

Что-то есть безнравственное в разглядывании чужого мужества и риска. Вчера шли на завтрак в столовую, поздоровались с часовым. Через полчаса его убил случайно залетевший в гарнизон осколок мины. Целый день пыталась вспомнить лицо этого мальчика...

Журналистов здесь называют сказочниками. Писателей тоже. В нашей писательской группе одни мужчины. Рвутся на дальние заставы, хотят пойти в бой. Спрашиваю у одного:

— Зачем?

— Мне это интересно. Скажу: на Саланге был. Постреляю.

Не могу отделаться от чувства, что война — порождение мужской природы, во многом для меня непостижимое. Но будничность войны грандиозна. У Аполлинера: “Ах, как красива война”.

На войне все другое — и ты, и природа, и твои мысли. Тут я поняла, что человеческая мысль может быть очень жестока.

Спрашиваю и слушаю везде: в солдатской казарме, столовой, на футбольном поле(!), вечером на танцах. (неожиданные тут атрибуты мирной жизни):

— Я выстрелил в упор и увидел, как разлетается человеческий череп. Подумал: “Первый”. После боя — раненые и убитые. Все молчат... Мне снятся здесь трамваи. Как я на трамвае еду домой... Любимое воспоминание: мама печет пироги. В доме пахнет сладким тестом...

— Дружишь с хорошим парнем... А потом видишь, как его кишки на камнях висят... Начинаешь мстить.

— Ждем караван. В засаде два-три дня. Лежим в горячем песке, ходим под себя. К концу третьего дня сатанеешь. И с такой ненавистью выпускаешь первую очередь. После

стрельбы, когда все кончилось, обнаружили: караван шел с бананами и джемом. На всю жизнь сладкого наелись...

— Взяли в плен “духов”... Допытываемся: “Где военные склады?” Молчат. Подняли двоих на вертолетах: “Где? Покажи...” Молчат. Сбросили одного на скалы...

— Заниматься любовью на войне и после войны — это совсем другое дело... Все, как в первый раз ...

— “Град” стреляет... Мины летят... А над всем этим стоит: жить! жить! жить! Но ты ничего не знаешь и не хочешь знать о страданиях другой стороны. Жить— и все. Жить!!

Написать (рассказать) о самом себе всю правду есть, по замечанию Пушкина, невозможность физическая.

На войне человека спасает то, что сознание отвлекается, рассеивается. Но смерть вокруг нелепая, случайная. Без высших смыслов.

...На танке красной краской: “Отомстим за Малкина”.

Посреди улицы стояла на коленях молодая афганка перед убитым ребенком и кричала. Так кричат, наверное, только раненые звери.

Проезжали мимо убитых кишлаков, похожих на перепаханное поле. Мертвая глина недавнего человеческого жилища была страшнее темноты, из которой могли выстрелить.

В госпитале видела, как русская девушка положила плюшевого мишку на кровать афганского мальчика. Он взял игрушку зубами и так играл, улыбаясь, обеих рук у него не было. “Твои русские стреляли, — перевели мне слова его матери. — А у тебя есть дети? Кто? Мальчик или девочка?” Я так и не поняла, чего больше в ее словах — ужаса или прощения?

Рассказывают о жестокости, с которой моджахеды расправляются с нашими пленными. Похоже на средневековье. Здесь и в самом деле другое время, календари показывают четырнадцатый век.

У Лермонтова, в “Герое нашего времени” Максимыч, оценивая действия горца, который зарезал отца Бэлы, говорит: “Конечно, по-ихнему он был совершенно прав”, — хотя с точки зрения русского — поступок зверский. Писатель уловил эту удивительную русскую черту — умение стать на позицию другого народа, увидеть вещи и “по-ихнему”.

А сейчас...

17 сентября

Изо дня в день вижу, как человек скользит вниз. И редко – вверх.

У Достоевского Иван Карамазов замечает: “Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток”.

Да, я подозреваю: мы не хотим об этом слышать, мы не хотим об этом знать. Но на любой войне, кто бы ее и во имя чего ни вел — Юлий Цезарь или Иосиф Сталин, — люди убивают друг друга. Это убийство, но об этом у нас не принято задумываться, даже почему-то в школах мы говорим не о патриотическом, а о военно-патриотическом воспитании. Хотя почему я удивляюсь? Все понятно — военный социализм, военная страна, военное мышление. Но мы же хотим стать другими людьми?

Нельзя так испытывать человека. Человек не выдержит таких испытаний. В медицине это называется “острым опытом”. Опыт на живом.

Кто-то сегодня процитировал слова Толстого о том, что “человек текущий”. В нем есть все.

Вечером в солдатском общежитии напротив гостиницы включили магнитофон. Я тоже слушала “афганские” песни. Детские, еще не сформировавшиеся голоса хрипели под Высоцкого: “Солнце упало в кишлак, как огромная бомба”, “Мне не надо славы. Нам бы

жить — и вся награда”, “Зачем мы убиваем? Зачем нас убивают?”, “Вот уже и лица стал я забывать”, “Афганистан, ты больше, чем наш долг. Ты — наше мирозданье”, “Как большие птицы, скачут одноногие у моря”, “Мертвый, он уже ничей. Нет уже ненависти на его лице”.

Ночью мне снился сон: наши солдаты уезжают в Союз, я — среди провожающих. Подхожу к одному мальчишке, он без языка, немой. После плена. Из-под солдатского кителя торчит госпитальная пижама. Я что-то у него спрашиваю, а он только свое имя пишет: “Ванечка...Ванечка...”. Так ясно различаю его имя — Ванечка... Лицом похож на паренька, с которым днем беседовала, он все повторял: “Меня мама дома ждет”.

Проезжали по замершим улочкам Кабула, мимо знакомых плакатов в центре города: “Светлое будущее — коммунизм”, “Кабул — город мира”, “Народ и партия едины”. Наши плакаты, отпечатанные в наших типографиях. Наш Ленин стоит здесь с поднятой рукой...

Познакомилась с кинооператорами из Москвы.

Они снимали загрузку “черного тюльпана”. Не поднимая глаз, рассказывают, что мертвых одевают в старую военную форму сороковых годов, еще с галифе, иногда кладут, не одевая, бывает, что и этой формы не хватает. Старые доски, ржавые гвозди... “В холодильник привезли новых убитых. Как будто несвежим кабаном пахнет”.

Кто мне поверит, если я об этом напишу?

20 сентября

Видела бой...

Три солдата убиты... Вечером все ужинали, о бое и о мертвых не вспоминали, хотя все и я о них помнили. Они лежали где-то рядом.

Право человека не убивать. Не учиться убивать. Оно ни в одной конституции не записано.

Война – мир, а не событие...Все здесь другое: и пейзаж, и человек, и слова. Запоминается театральная часть войны: разворачивается танк, звучат команды...Светящиеся пути пуль в темноте...

Думать о смерти, как думать о будущем. Что-то происходит со временем, когда думаешь о смерти и видишь ее. Рядом со страхом смерти притягательность смерти...

Ничего не надо придумывать. Отрывки великих книг всюду... В каждом...

В рассказах (нередко!) поражает агрессивная наивность наших мальчиков. Недавних советских десятиклассников. А я хочу от них добиться диалога человека с человеком в себе.

А все-таки? На каком языке мы говорим сами с собой, с другими? Мне нравится язык разговорной речи, он ничем не обременен, выпущен на волю. Все гуляет и празднует: синтаксис, интонация, акценты, и – восстанавливается в точности чувство. А я слежу за чувством, а не за событием. Как развивались наши чувства, а не события. Может быть, то что я делаю, похоже на работу историка, но я историк бесследного. Что происходит с большими событиями? Они перекочевывают в историю, а вот маленькие, но главные для маленького человека, исчезают бесследно. Сегодня один мальчик (из-за своей хрупкости и болезненного вида мало похожий на солдата) рассказывал, как непривычно и в тоже время азартно убивать вместе. И как страшно расстреливать.

Разве это останется в истории? С отчаянием занимаюсь (от книги к книге) одной и той же работой — уменьшаю историю до человека.

Думала о невозможности писать книгу о войне на войне. Мешают жалость, ненависть, физическая боль, дружба...И письмо из дома, после которого так хочется жить...Рассказывают, что, когда убивают, стараются не смотреть даже в глаза верблюду. Тут атеистов нет. И все суеверны.

Меня упрекают (особенно офицеры, солдаты реже), что я, мол, сама не стреляла и меня не брали на мушку — как же я могу написать о войне? А, может, это и хорошо, что я не стреляла?

Где тот человек, которому сама мысль о войне приносит страдание? Я его не нахожу... Но вчера возле штаба лежала мертвая незнакомая птица. И странно...Военные подходили к ней, пытались угадать—кто это? И жалели...

Есть какое-то вдохновение на мертвых лицах...Никак не могу привыкнуть и к безумию обыкновенного на войне—вода, сигареты, хлеб... Особенно, когда мы уходим из гарнизона и поднимаемся в горы. Там человек один на один с природой и случаем. Пролетит пуля мимо или не пролетит... Кто выстрелит первым — ты или он? Но так начинаешь смотреть на человека из природы, а не из общества.

А в Союзе по телевизору показывают, как сажают аллеи дружбы, которых никто из нас здесь не встречал и не сажал...

Достоевский в “Бесах” : “Убеждение и человек— это, кажется, две вещи во многом различные... Все виноваты...если бы в этом все убедились!” И у него же такая мысль, что человечество знает о себе больше, гораздо больше, чем оно успело зафиксировать в литературе, в науке. Он говорил, что это мысль не моя, а Вл. Соловьева.

Если бы я не читала Достоевского, я была бы в большем отчаянии...

21 сентября

Где-то далеко работает установка”Град“. Жутко даже на расстоянии...

После великих войн XX века и массовых смертей, чтобы писать о современных (маленьких) войнах, таких, как афганская, нужны другие этические и метафизические позиции. Должно быть востребовано маленькое, личное и отдельное. Один человек. Для кого-то единственный. Не как государство относится к нему, а кто он — для матери, для жены. Для ребенка. Как нам вернуть себе нормальное зрение?

Мне интересно и тело, человеческое тело, как связь между природой и историей, между животным и речью. Все физические подробности важны: как меняется кровь на солнце, человек перед уходом... Жизнь невысказанна художественна сама по себе, и, как это ни жестоко! звучит — особенно художественно человеческое страдание. Темная сторона искусства. Вот вчера я видела, как собирали по кусочкам ребят, подорвавшихся на противотанковой mine. Могла не пойти смотреть, но пошла, чтобы написать. Теперь пишу...

А все-таки: надо ли было идти? Я слышала, как офицеры посмеивались за моей спиной : испугается, мол, барышня. Я пошла и ничего героического в этом не было, потому что я там упала в обморок. То ли от жары, то ли от потрясения. Хочу быть честной...

23 сентября

Поднялась на вертолете... Сверху увидела сотни заготовленных впрок цинковых гробов, красиво и страшно блестящих на солнце...

Столкнешься с чем-нибудь подобным и сразу мысль: литература задыхается в своих границах... Копированием и фактом можно выразить только видимое глазом, а кому нужен тщательный отчет о происходящем? Нужно что-то другое... Запечатленные мгновения, вырванные из жизни...

25 сентября

Я вернусь отсюда свободным человеком... Я не была им, пока не увидела нас здесь.

* * *

Не называю в книге подлинных имен. Одни просили о тайне исповеди, других сама не могу оставить беззащитными перед теми, кто поспешит упрекнуть, бросить в их сторону: "Полный рот крови, а они еще говорят".

А в дневнике я сохранила фамилии. Может, когда-нибудь мои герои захотят, чтобы их узнали:

Сергей Амирханян, капитан; Владимир Агапов, старший лейтенант, начальник расчета; Татьяна Белозерских, служащая; Виктория Владимировна Барташевич, мать погибшего рядового Юрия Барташевича; Дмитрий Бабкин, рядовой, оператор-наводчик; Сайя Емельяновна Бабук, мать погибшей медсестры Светланы Бабук; Мария Терентьевна Бобкова, мать погибшего рядового Леонида Бобкова; Олимпиада Романовна Баукова, мать погибшего рядового Александра Баукова; Таисия Николаевна Богуш, мать погибшего рядового Виктора Богуша; Виктория Семеновна Валович, мать погибшего старшего лейтенанта Валерия Валовича; Татьяна Гайсенко, медсестра; Вадим Глушков, старший лейтенант, переводчик; Геннадий Губанов, капитан, летчик; Инна Сергеевна Галовнева, мать погибшего старшего лейтенанта Юрия Галовнева; Анатолий Девятьяров, майор, пропагандист артполка; Денис Л., рядовой гранатометчик; Тамара Довнар, жена погибшего старшего лейтенанта Петра Довнара; Екатерина Никитична Платицына, мать погибшего майора Александра Платицына, Владимир Ероховец, рядовой гранатометчик; Софья Григорьевна Журавлева, мать погибшего рядового Александра Журавлева; Наталья Жестовская, медсестра; Мария Онуфриевна Зильфигарова, мать погибшего рядового Олега Зильфигарова; Вадим Иванов, старший лейтенант, командир саперного взвода; Галина Федоровна Ильченко, мать погибшего рядового Александра Ильченко; Евгений Красник, рядовой, мотострелок; Константин М., военный советник; Евгений Котельников, старшина, санинструктор разведроты; Александр Костаков, рядовой, связист; Александр Кувшинников, старший лейтенант, командир минометного взвода; Надежда Сергеевна Козлова, мать погибшего рядового Андрея Козлова; Марина Киселева, служащая; Тарас Кецмур, рядовой; Петр Курбанов, майор, командир горнострелковой роты; Василий Кубик, прапорщик; Олег Лелюшенко, рядовой, гранатометчик; Александр Лелетко, рядовой; Сергей Лоскутов, военный хирург, Валерий Лисиченок, сержант связист; Александр Лавров, рядовой, Вера Лысенко, служащая; Артур Метлицкий, рядовой, разведчик, Евгений Степанович Мухортов, майор, командир батальона, и его сын Андрей Мухортов, младший лейтенант; Лидия Ефимовна Манкевич, мать погибшего сержанта Дмитрия Манкевича; Галина Млявая, жена погибшего капитана Степана Млявого; Владимир Михолап, рядовой, минометчик; Максим Медведев, рядовой авианаводчик, Александр Николаенко, капитан, командир звена вертолетов; Олег Л., вертолетчик; Наталья Орлова, служащая; Галина Павлова, медсестра; Владимир Панкратов, рядовой,

разведчик; Виталий Руженцев, рядовой, водитель; Сергей Русак, рядовой, танкист; Михаил Сиротин, старший лейтенант, летчик; Александр Сухоруков, старший лейтенант, командир горнострелкового взвода; Тимофей Смирнов, сержант артиллерист; Валентина Кирилловна Санько, мать погибшего рядового Валентина Санько; Нина Ивановна Сидельникова, мать, Владимир Симанин, подполковник; Томас М., сержант, командир взвода пехоты; Леонид Иванович Татарченко, отец погибшего рядового Игоря Татарченко; Вадим Трубин, сержант, боец спецназа, Владимир Уланов, капитан; Тамара Фадеева, врач-бактериолог; Людмила Харитончик, жена погибшего старшего лейтенанта Юрия Харитончика; Анна Хакас, служащая; Валерий Худяков, майор; Валентина Яковлева, прапорщик, начальник секретной части...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

“Ибо многие придут под именем Моим...”

Утром длинный, как автоматная очередь, звонок:

— Послушай, — начал он, не представившись, — читал твой пасквиль, если еще хоть строчку напечатаеть...

— Кто вы?

— Один из тех, о ком ты пишешь. Нас еще позовут, нам еще дадут в руки оружие, чтобы мы навели порядок. Придется ответить за все. Только печатайте побольше своих фамилий и не скрывайтесь за псевдонимами. Ненавижу пацифистов! Ты поднималась с полной выкладкой в горы, шла на бэтээре, когда пятьдесят градусов выше нуля? Ты слышишь по ночам резкую вонь колючек? Не слышишь...Нет...Значит, не трогай! Это наше! Зачем тебе? Ты – баба, детей рожай!

— Почему не назовешь себя?

— Не трогай! Лучшего друга, он мне братом был, в целлофановом мешке с рейда принес... Отдельно голова, отдельно руки, ноги... Сдернутая кожа, как с кабана... Разделанная туша... А он на скрипке играл, стихи сочинял. Вот он бы написал, а не ты... Мать его через два дня после похорон в психушку увезли. Она на кладбище спала, на его могиле. Зимой спала на снегу. Ты! Ты... Не трогай это! Мы были солдатами, нас туда послали. Мы выполняли приказ. Я дал военную присягу. Знамя на коленях целовал.

— “Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим”. Новый завет. Евангелие от Матфея.

— Умники! Через десять лет все стали умниками. Хотите чистенькими остаться? А мы – черненькие... Ты даже не знаешь, как пуля летит. Ни разу не стреляла, автомат в руках не держала. Плевать мне на ваши Новые заветы! На вашу правду! Я свою правду в целлофановом мешке нес... Отдельно голова, отдельно руки...Другой правды нет... — И гудок в трубке, похожий на далекий взрыв.

Все-таки я жалею, что мы с ним не договорили. Может быть, это был мой главный герой...

Автор

— Ко мне пробивались только голоса... Как я ни напрягался, голоса были без лиц. Они то уходили, то возвращались. Кажется, успел подумать: “Умираю”. И открыл глаза...

Я пришел в себя в Ташкенте на шестнадцатый день после подрыва. Когда приходишь в сознание, чувствуешь себя мерзко, кажется, что лучше не быть...Уже назад не возвращаться... Было бы комфортнее. Туман и тошнота, это даже не тошнота, а захлебывание, как будто в легких полно воды. Долго выходишь из этого состояния...Туман и тошнота...Голова болит от собственного шепота, громче шепота говорить я не мог. Позади уже был кабульский госпиталь. В Кабуле мне вскрыли череп — там была каша, удалили мелкие кусочки костей, собрали на шурупы без суставов левую руку. Первое чувство: сожаление о том, что ничего не вернется, не увижу друзей, самое обидное — не смогу залезть на турник.

Провалился по госпиталям без пятнадцати дней два года. Восемнадцать операций, четыре — под общим наркозом. Про меня студенты курсовые писали: что у меня есть, чего у меня нет. Сам побриться не мог, брили ребята. Первый раз они вылили на меня бутылку одеколona, а я кричу: “Давайте другую!” Нет запаха. Я его не слышу. Вытащили

все из тумбочки: колбасу, огурцы, мед, конфеты — ничего не пахнет! Цвет есть, вкус есть, а запаха нет. Чуть с ума не сошел! Пришла весна, деревья зацвели, а я все это вижу, а не слышу. У меня вынули полтора кубических сантиметра мозга, и, видно, какой-то центр был удален, тот, с которым связаны запахи. Я и сейчас, пять лет прошло, не слышу, как пахнут цветы, табачный дым, женские духи. Одеколон могу услышать, если запах грубый и сильный, но флакон надо сунуть под самый нос. Видно, оставшаяся часть мозга взяла потерянную способность на себя. Думаю, так.

В госпитале получил письмо от друга. От него узнал, что наш бэтээр подорвался на итальянской фугасной mine. Он видел, как вместе с двигателем вылетел человек... Это был я...

Выписали меня, дали пособие — триста рублей. За легкое ранение положено сто пятьдесят, за тяжелое — триста. Дальше живи, как хочешь. Пенсия — гроши. Переходи на иждивение к родителям. У моего отца без войны — война. Поседел, гипертоником стал.

На войне я не прозрел, я стал прозревать после. И все закрутилось в обратную сторону...

Призвали меня в восемьдесят первом. Война шла уже два года, но на “гражданке” о ней знали мало и говорили мало. В нашей семье считалось: раз правительство послало туда войска, значит, надо. Так рассуждали мой отец, соседи. Не помню, чтобы кто-нибудь имел другое мнение. Даже женщины не плакали, все это было еще далеко и не страшно. Война и не война, если война, то какая-то странная, без убитых и пленных. Еще никто не видел цинковых гробов. Это потом мы узнали, что гробы уже в город привозили, но хоронили тайком, ночью, на могильных плитах писали “умер”, а не “погиб”. Но никто не задавался вопросом: с чего это вдруг у нас стали умирать в армии девятнадцатилетние парни? От водки или от гриппа, а может, апельсинами объелись. Плакали их близкие, а остальные жили, как жили, если их не коснулось. В газетах писали, что наши солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а наши врачи лечат афганских женщин и детей.

В витебской “учебке” не было секретом, что нас готовят в Афганистан. Многие старались «откосить» любой ценой. Один признался, что боится, мол, нас там всех перестреляют. Я стал его презирать. Перед самым отъездом еще один отказался ехать: сначала обманывал — потерял комсомольский билет, билет нашелся, придумал — девушка у него рожает. Я считал его ненормальным. Мы ехали делать революцию! Так нам говорили. И мы верили. Представлялось впереди что-то романтическое.

Пуля натывает на человека, ты слышишь — его не забыть, ни с чем не перепутать — характерный мокрый шлепок. Знакомый парень рядом падает лицом вниз, в едкую, как пепел, пыль. Ты переворачиваешь его на спину: в зубах зажата сигарета, которую только что ему дал... Она еще дымится... Я не готов был стрелять в человека, я еще из мирной жизни... Из мира... Первый раз действуешь как во сне: бежишь, тащишь, стреляешь, но ничего не запоминаешь, после боя не можешь рассказать. Все будто за стеклом... За стеной дождя... Как страшный сон видишь. От испуга просыпаешься, а вспомнить ничего не можешь. Чтобы испытать ужас, оказывается, надо его запомнить, привыкнуть к нему. Через две-три недели от тебя прежнего ничего не остается, только твое имя. Ты — это уже не ты, а другой человек. Думаю, так... Видно, это так... И этот другой... Этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как будет его стаскивать со скалы или тянуть по жаре на себе несколько километров. Он не представляет... А он уже знает, как пахнут на жаре вывернутые внутренности и не выстирывается запах человеческого кала и крови. Воображение? Воображение притихает. Ты видишь: в грязной луже расплавленного металла скалятся обгоревшие черепа — будто несколько часов назад тут не кричали, а смеялись, умирая. Но все вдруг обыкновенно... Просто... Появляется обостренное и волнующее возбуждение

при виде убитого: не меня! Это так быстро происходит... Вот такое превращение... Очень быстро. Я думаю со всеми.

Для людей на войне в смерти нет тайны. Убивать — это просто нажимать на спусковой крючок. Нас учили: остается живым тот, кто выстрелит первым. Таков закон войны. “Тут вы должны уметь две вещи — быстро ходить и метко стрелять. Думать буду я”, — говорил командир. Мы стреляли, куда нам прикажут. Я был приучен стрелять, куда мне прикажут. Стрелял, не жалел никого. Мог убить ребенка. Ведь с нами там воевали все: мужчины, женщины, старики, дети. Идет колонна через кишлак. В первой машине глохнет мотор. Водитель вылезает из кабины, поднимает капот... Пацан, лет десяти, ему ножом — в спину... Там, где сердце. Солдат лег на двигатель... Из мальчишки решето сделали... Дай в тот миг нам команду - превратили бы кишлак в пыль. Стерли. Каждый старался выжить. Думать было некогда. Нам же по восемнадцать-двадцать лет. К чужой смерти я привык, а собственной боялся. Видел, как от человека в одну секунду ничего не остается, словно его совсем не было. И в пустом гробу отправляли на родину парадную форму. Чужой земли насыплют, чтобы нужный вес был... Хотелось жить... Никогда так не хотелось жить, как там. Вернемся из боя, смеемся. Я никогда так не смеялся, как там. Старые анекдоты шли у нас за первый сорт. Вот хотя бы этот...

Попал фарцовщик на войну. Первым делом выяснил, сколько чеков стоит один пленный “дух”. В восемь чеков оценен. Через два дня стоит пыль возле гарнизона: ведет он двести пленных. Друг просит: “Продай одного. Семь чеков дам”. — “Что ты, дорогой. Сам за девять купил”.

Сто раз будет кто-нибудь рассказывать — сто раз будем смеяться. Хохотали до боли в животах из-за любого пустяка.

Лежит “дух” (так мы называли душманов-моджахедов) со словарем. Снайпер. Увидел три маленькие звездочки — старший лейтенант... Полистал словарь: за три звездочки — пятьдесят тысяч афгани. Щелк! Одна большая звезда — майор — двести тысяч афгани. Щелк! Две маленькие звездочки — прапорщик. Щелк! Ночью главарь расплачивается: за старшего лейтенанта — дать афгани, за майора — дать афгани. За... Что? Прапорщик? Ты же нашего кормильца убил. Кто сгущенку и консервы, кто одеяла нам продаст? Повесить!

О деньгах говорили много. Больше, чем о смерти. Я ничего не привез. Осколок, который из меня вытащили, — и все. Кто-то брал... Фарфор, драгоценные камни, украшения, ковры... Это на боевых, когда ходили в кишлаки... Кто-то покупал, менял... Рожок патронов за косметический набор: тушь, пудра, тени для любимой девушки. Патроны продавали вареные... Пуля вареная не вылетает, а выплевывается из ствола. Убить ею нельзя. Ставили ведра или тазы, бросали туда патроны и кипятили два часа. Готово! Вечером несли на продажу. Бизнесом занимались командиры и солдаты, герои и трусы. В столовых исчезали ножи, миски, ложки, вилки. В казармах недосчитывались кружек, табуреток, молотков. Пропадали штывы от автоматов, зеркала с машин, запчасти... В том числе и награды... В дуكانах брали все, даже тот мусор, который вывозился из гарнизонного городка: консервные банки, старые газеты, ржавые гвозди, куски фанеры, целлофановые мешочки... Мусор продавался машинами. Доллар и вода всегда найдут себе дорогу. Везде. Солдат мечтал... Было три... Три солдатских мечты: купить платок матери, подружке — косметический набор, а себе плавки, тогда плавков в Союзе не было. Вот такая это была война.

Нас зовут “афганцами”. Чужое имя. Как знак. Метка. Мы не такие, как все. Другие. Какие? Я не знаю, кто я: герой или дурак, на которого надо пальцем показывать? А может, преступник? Уже говорят, что это была политическая ошибка. Сегодня тихо говорят, завтра будут громче. А я там кровь оставил... Свою... И чужую... Нам давали ордена,

которые мы не носим... Мы еще будем их возвращать... Ордена, полученные честно на нечестной войне... Приглашают выступать в школы. А что рассказывать? О боевых действиях... О первом убитом... О том, как я до сих пор боюсь темноты, что-нибудь упадет — вздрагиваю? Как брали пленных, но до полка не доводили... Не всегда... (*Молчит*). За полтора года войны я не видел ни одного душмана живого, только мертвых. О коллекциях засушенных человеческих ушей? Боевые трофеи... Ими хвастались... О кишлаках после артиллерийской обработки, похожих уже не на жилье, а на разрытое поле? Об этом, что ли, хотят услышать в наших школах? Нет, там нужны герои. А я помню, как мы разрушали, убивали и тут же строили, раздавали подарки. Все это существовало так рядом, что разделить до сих пор не могу. Боюсь этих воспоминаний... Прячусь от них... Отмахиваюсь... Не знаю ни одного человека, кто бы вернулся оттуда — и не пил, не курил. Слабые сигареты меня не спасают, ищу “Охотничьи”, которые мы там курили... А курить врачи запрещают... У меня половина головы из железа. И выпить не могу...

Не пишите только о нашем афганском братстве. Его нет. Я в него не верю. На войне всех объединял страх: нас одинаково обманули, мы одинаково хотели жить и одинаково хотели домой. Здесь нас объединяет то, что у нас ничего нет, а блага в нашей стране раздают по благу и привилегиям. За кровь. У нас одна проблема: пенсии, квартиры, хорошие лекарства, протезы, мебельные гарнитуры... Решим их, и наши клубы распадутся. Вот я достану, пропихну, выгрызу себе квартиру, мебель, холодильник, стиральную машину, японский “видик” — и все! Сразу станет ясно, что мне в этом клубе больше делать нечего. Молодежь к нам не потянулась. Ей мы непонятны. Вроде приравнены к участникам Великой Отечественной войны, но те Родину защищали, а мы? Мы были в роли немцев — как мне один парень сказал. Думаю так... Так... Так они на нас смотрят... А мы на них злы. Они тут музыку слушали, с девушками танцевали, книжки читали, пока мы там кашу сырую ели и подрывались на минах. Кто там со мной не был, не видел, не пережил, не испытал — тот мне никто.

Через десять лет, когда у нас вылезут наши гепатиты, контузии, малярии, от нас будут избавляться... На работе, дома... Нас перестанут сажать в президиумы. Всем мы будем в тягость... Зачем ваша книга? Для кого? Нам, кто оттуда вернулся, все равно не понравится. Разве расскажешь все, как было? Как убитые верблюды и убитые люди лежат в одной луже крови, их кровь перемешалась. А больше кому это нужно? Мы всем чужие. Все, что у меня осталось, — это мой дом, жена, ребенок, которого она скоро родит. Несколько друзей оттуда. Больше я никому не верю.

И уже не поверю...

Рядовой, гранатометчик

— Десять лет я молчал... Молчал про все...

В газетах писали: полк совершил учебный марш... Провел учебную стрельбу... Мы читали, и было обидно. Наш взвод сопровождал машины. Машину можно отверткой пробить, для пули она — мишень. Каждый день в нас стреляли, нас убивали. Убили рядом знакомого парня... Первого на моих глазах... Мы еще мало знали друг друга... Из миномета стреляли. Умирал он долго, в нем сидело много осколков. Нас узнавал. Но звал незнакомых нам людей...

Перед отправкой в Кабул чуть не подрался с одним, а его друг от меня его оттаскивает.

— Что ты с ним ссоришься, он завтра летит в Афган!

Там у нас никогда так не было, чтобы у каждого свой котелок, своя ложка. Один котелок — все навалимся, человек восемь. Но Афган — не детективная история, не приключение... Лежит убитый крестьянин — тщедушное тело и большие руки... Во время обстрела просишь (кого просишь, не знаю, Бога просишь): пусть земля расступится и спрячет меня. Пусть камень расступится... Собаки скулят... Жалобно скулят минно-розыскные собаки. Их тоже убивали, ранили. Убитые овчарки и люди, забинтованные собаки и люди. Люди без ног, собаки без лап. Не разобрать, где на снегу собачья кровь, а где человеческая. Сбросят в одну кучу трофейное оружие — китайское, американское, пакистанское, советское, английское, — оно, я удивлялся, красивое, но это все для того, чтобы тебя убить. Страх! Мне не стыдно за этот страх. Страх человечнее смелости. Это я понял... Боишься и жалеешь, хотя бы самого себя... Оглядываешься вокруг, начинаешь замечать жизнь... Все останется жить, а ты исчезнешь. Не хочется думать, что будешь лежать невзрачный и маленький, за тысячу километров от дома. Уже в космос люди летают, а как убивали друг друга тысячи лет назад, так и убивают. Пулей, ножом, камнем... В кишлаках наших солдат вилами деревянными закалывали...

Вернулся в восемьдесят первом году... Все было на “ура”. Выполнили интернациональный долг! Священный! Герои! Приехал в Москву утром, рано утром. Приехал на поезде. Дождаться вечера, чтобы сутки терять, не мог. Добирался на попутках: до Можайска на электричке, до Гагарина — на рейсовом автобусе, потом до Смоленска уже на перекладных. И от Смоленска до Витебска — на грузовой машине. Всего шестьсот километров. Никто деньги не брал, когда узнавали, что из Афгана. Это я запомнил... Последние два километра — пешком. Бегом. Так и добежал до дома.

Дома — запах тополей, звенят трамваи, девочка ест мороженое. И тополя, тополя пахнут! А там природа — это зеленая зона, так называемая «зеленка», оттуда стреляют. Так хотелось увидеть березку и синичку нашу. Углов боялся... Зайти за угол дома... Угол впереди, все внутри сжимается — а кто там за углом? Еще год боялся выйти на улицу: бронежилета нет, каски нет, автомата нет, как голый. А ночью сны: кто-то в лоб целится и такой калибр, что полголовы снесет... Бросался на стену... Затрещит телефон, у меня испарина на лбу — стреляют! Откуда? Начинаешь шарить глазами по сторонам... Утыкаешься в книжную полку... А-а-ах! Я дома...

В газетах по-прежнему писали: вертолетчик икс совершил учебный полет... Награжден орденом Красной Звезды... В Кабуле состоялся концерт в честь Первого мая с участием советских солдат... Афган освободил меня... Излечил от иллюзии веры в то, что все у нас правильно и в газетах пишут правду, по телевизору говорят правду. “Что делать? Что делать?” — спрашивал я себя. Хотел на что-то решиться, куда-то пойти. А куда? Мать уговаривала и никто из друзей не поддержал. Мол, все молчат. Так надо.

Вот вам рассказал... Впервые попробовал говорить то, что думаю. Непривычно...

Рядовой, мотострелок

— Боюсь начинать рассказывать... Опять навалятся эти тени...

Каждый день... Каждый день я себе там говорила: “Дура я, дура. Зачем это сделала?” Особенно ночью появлялись такие мысли, когда не работала, а днем были другие: как всем помочь? Раны ужасные... Меня потрясало, зачем такие пули? Кто их придумал? Разве человек их придумал? Входное отверстие — маленькое, а внутри кишки, печень, селезенка — все посечено, разорвано. Мало убить, ранить, надо еще заставить так мучиться... Они кричали всегда: “Мама!” Когда болит... И страшно... Других имен я не слышала...

Я ведь хотела уехать из Ленинграда, на год-два, но уехать. Умер ребенок, потом умер муж. Ничего не держало меня в этом городе, наоборот, все напоминало, гнало. Там мы с ним встречались... Здесь первый раз поцеловались... В этом роддоме я родила...

Вызвал главврач:

— Поедете в Афганистан?

— Поеду.

Мне надо было видеть, что другим хуже, чем мне. И я это увидела.

Война, нам говорили, справедливая, мы помогаем афганскому народу покончить с феодализмом и построить светлое социалистическое общество. О том, что наши ребята погибают, как-то умалчивалось, мы поняли так, что там много инфекционных заболеваний: малярия, брюшной тиф, гепатит. Восьмидесятый год... Начало... Прилетели в Кабул... Под госпиталь отдали старые английские конюшни. Ничего нет... Один шприц на всех... Офицеры выпьют спирт, обрабатываем раны бензином. Раны плохо заживают... Помогало солнце. Яркое солнце убивает микробы. Первых раненых увидела в нижнем белье и сапогах. Без пижам. Пижамы не скоро появились. Тапочки тоже. И одеяла... У одного мальчика... Помню одного мальчика: у него тело во все стороны гнулось, костей как не было, ноги веревками. Из него вытащили десятка два осколков.

Весь март тут же, возле палаток, сваливали отрезанные руки, ноги... Трупы... Они лежали в отдельной палате... Полуголые, с выколотыми глазами, один раз -- с вырезанной звездой на животе... Раньше в кино о гражданской войне такое видела. Цинковых гробов еще не было, еще не заготовили.

Скоро начали понемногу задумываться: кто же мы? Наши сомнения начальству не понравились. Тапочек, пижам еще не было, а уже развешивали привезенные лозунги, призывы, плакаты. На фоне лозунгов — худые, печальные лица наших ребят. Они остались в моем сознании так навсегда... Два раза в неделю — политическая учеба. Нас учили все время: священный долг, граница должна быть на замке. Самая неприятная вещь в армии — доносительство, приказ доносить. По каждой мелочи. На каждого раненого, больного. Это называлось: знать настроение... Армия должна быть здоровой... Положено было “стучать” на всех. Жалеть нельзя было. Но мы жалели, на жалости там все держалось...

Мы ехали... Спасать, помогать, любить. За этим мы ехали... Проходит какое-то время, и я ловлю себя на мысли, что ненавижу. Ненавижу этот мягкий и легкий песок, обжигающий, как огонь. Ненавижу эти горы. Ненавижу эти низкорослые кишлаки, из которых в любой момент могут выстрелить. Ненавижу случайного афганца, несущего корзину с дынями или стоящего возле своего дома. Еще неизвестно, где он был этой ночью и что делал. Убили знакомого офицера, недавно лечившегося в госпитале, вырезали две палатки солдат... В другом месте была отравлена вода... Кто-то поднял красивую зажигалку, она разорвалась в руках... Это же все наши мальчишки гибли... Свои мальчишки... Надо это понять... Вы не видели обожженного человека? Не видели... Лица нет, глаз нет, тела нет... Что-то сморщенное, покрытое желтой коркой — лимфатической жидкостью. Не крик, а рык из-под этой корки...

Там жили ненавистью, выживали ненавистью. А чувство вины? Оно пришло не там, а здесь, когда я уже со стороны посмотрела на это. Там мне все казалось справедливостью, здесь я ужаснулась, вспомнив маленькую девочку, лежавшую в пыли без рук, без ног... Как сломанная кукла... После нашей бомбежки... А мы еще удивлялись, что они нас не любят. Они лечились в нашем госпитале... Дашь женщине лекарство, а она не поднимает на тебя глаз, она тебе никогда не улыбнется. Это даже обижало. Там обижало, здесь — нет. Здесь ты уже нормальный человек, к тебе возвратились все чувства.

Профессия у меня хорошая — спасать, она меня и спасла. Я могу оправдываться: мы там были нужны. Не всех спасли, кого могли спасти, — вот что самое страшное. Могла спасти — не было нужного лекарства. Могла спасти — поздно привезли (кто был в медротах? — плохо обученные солдаты, научившиеся только перевязывать). Могла спасти — не добудилась пьяного хирурга. Могла спасти... Мы не могли даже правду написать в похоронках. Они подрывались на минах... От человека часто оставалось полведра мяса... А мы писали: погиб в автомобильной катастрофе, упал в пропасть, пищевое отравление. Когда их уже стали тысячи, тогда нам разрешили сообщать правду родным. К трупам я привыкла. Но то, что они такие молодые, родные, маленькие, — с этим невозможно было смириться.

Привозят раненого. Как раз я дежурила. Он открыл глаза, посмотрел на меня:

— Ну, все. — И умер.

Трое суток его искали в горах. Нашли. Привезли. Он бредил: “Врача! Врача!” Увидел белый халат, подумал — спасен! А рана была несовместимая с жизнью. Я только там узнала, что это такое: ранение — в черепную коробку... У меня в памяти свое кладбище, своя портретная галерея. В черной рамке.

Даже в смерти они не были равны. Почему-то тех, кто погиб в бою, жалели больше. Умерших в госпитале — меньше. Иногда они кричали, умирая...Они...Так кричали! Помню, как умирал в реанимации майор. Военный советник. К нему пришла жена. Он умер у нее на глазах... И она начала страшно кричать... По-звериному... Хотелось закрыть все двери, чтобы никто не слышал... Потому что рядом умирали солдаты... Мальчики... И их некому было оплакивать... Умирали они одни. Она была лишняя среди нас...

— Мама! Мама!

— Я здесь, сынок, — говоришь, обманываешь.

Мы стали их мамами, сестрами. И всегда хотелось оправдать это доверие.

Привезут солдаты раненого. Сдадут и не уходят:

— Девочки, нам ничего не надо. Можно только посидеть у вас?

А здесь, дома... У них свои мамы, сестры. Жены. Здесь мы им не нужны. Там они нам доверяли то о себе, что в этой жизни никому не расскажут. Ты украл у товарища конфеты и съел. Здесь это чепуха. А там — страшное разочарование в себе. Человека те обстоятельства высвечивали. Если это трус, то скоро становилось ясно — трус, если это стукач, то сразу было видно — стукач. Если бабник, все знали — бабник. Не уверена, признается ли кто-либо здесь, а там не от одного слышала: убивать может понравиться, убивать — удовольствие. Это сильное чувство. Знакомый прапорщик уезжал в Союз и не скрывал: “Как я жить теперь буду, мне же убивать хочется?” Наверное, это тоже страсть: они говорили об этом спокойно. Мальчики — с восторгом! — как сожгли кишлак, растоптали все. Они же не сумасшедшие? Сколько их таких вернулось...Им убить человека ничего не стоит... Однажды в гости к нам пришел офицер, он приехал из-под Кандагара. Вечером надо прощаться, а он закрылся в пустой комнате и застрелился. Говорили, что пьяный был, не знаю. Тяжело. Тяжело было прожить один день. Мальчик на посту застрелился. Три часа на солнце. Мальчик домашний, не выдержал. Было много сумасшедших. Вначале они лежали в общих палатах, потом поместили их отдельно. Они стали убегать, их пугали решетки. Вместе со всеми им было легче. Одного очень запомнила:

— Садись. Я спую тебе дембельскую. — Поет-поет и заснет.

Проснется:

— Домой! Домой! К маме... Мне здесь жарко...

Все время просился домой.

Многие курили. Анашу, марихуану... Кто что достанет... Объясняли, что становишься сильным, свободным от всего. В первую очередь от своего тела. Как будто ты на цыпочках идешь, слышишь легкость в каждой клеточке, чувствуешь каждый мускул. Хочется летать. Как будто летишь! Радость неудержимая. Все нравится, смеешься над всякой ерундой. Слышишь лучше, видишь лучше. Различаешь больше запахов, больше звуков. В этом состоянии легче убивать--ты обезболится. Жалости нет. Легко умирать— страх уходит. Такое чувство, что на тебе бронжилет, что ты бронированный. Я умела их слушать... Два раза... Я сама... Я два раза сама курила... В обоих случаях, когда психика и физика не выдерживали. Работала в инфекционном отделении. Должно быть тридцать коек, а лежит триста человек. Брюшной тиф, малярия. Им выдавали простыни, одеяла, а они лежали на своих шинелях, на голой земле. В трусах. Наголо остриженные, а с них сыплются вши... Платяные... Головные... Такого количества вшей я себе не представляла... А рядом в кишлаке афганцы ходили в наших больничных пижамах, с нашими простынями на голове вместо чалмы. Да, наши мальчики все продавали. Я их не осуждаю... Нет... Чаше не осуждаю. Они умирали за три рубля в месяц — наш солдат получал восемь чеков в месяц. Три рубля... Их кормили мясом с червями, ржавой рыбой... У нас у всех была цинга, у меня выпали все передние зубы. Они продавали одеяла и покупали анашу. Что-нибудь сладкое. Безделушки... Там такие яркие лавочки, в этих лавочках так много привлекательного. У нас... В Союзе ничего этого нет, они этого не видели. И они продавали оружие, патроны, чтобы их потом этими же автоматами и патронами убивали. Покупали за это шоколад... Пирожки...

После всего там я другими глазами увидела свою страну...Зрачок стал другой, он увеличился...

Страшно было сюда возвращаться. Как-то странно. Будто с тебя сорвали всю кожу. Я все время плакала. Никого не могла видеть, кроме тех, кто там был. С ними бы проводила день и ночь. Разговоры других казались суетой, вздором каким-то. Полгода так длилось. А теперь сама в очереди за мясом ругаюсь. Стараешься жить нормальной жизнью, как жила “до”. Но этого не получается. Я стала равнодушной к себе, к своей жизни. Жизнь кончена, ничего дальше не будет. А у мужчин это переживание еще мучительнее. Женщина может зацепиться за ребенка, а им не за что зацепиться. Они возвращаются, влюбляются, у них рождаются дети, а все равно Афганистан для них выше всего. Мне самой хочется разобраться, почему так? Зачем это все было? Почему так это меня трогает? Там это загонялось внутрь, тут вылезло.

Их надо жалеть, жалеть всех, кто там был. Я взрослый человек, мне было тридцать лет, и то какая ломка. А они --- маленькие, они ничего не понимали. Их взяли из дому, дали в руки оружие. Им говорили, им обещали: идете на святое дело, Родина вас не забудет. Теперь от них отводят глаза, стараются забыть эту войну. Все! И первые те, кто нас туда послал. Даже сами мы при встречах все реже говорим о войне. Эту войну никто не любит. Хотя я до сих пор плачу, когда играют афганский гимн. Полюбила всю афганскую музыку. Это как наркотик.

Недавно в автобусе встретила солдата. Мы его лечили. Он без правой руки остался. Я его хорошо помнила, тоже ленинградец.

— Может, тебе, Сережа, чем-нибудь помочь надо?

А он зло:

— Да пошла ты!!

Я знаю, он меня найдет, попросит прощения. А у него кто просит? У всех, кто там был? Кого сломало и перекорежило? Не говорю о калеках. Как надо не любить свой народ, чтобы посылать его на такое. Я теперь не только любую войну, я мальчишеские

драки ненавижу. И не говорите мне, что война эта кончилась. Летом дохнет горячей пылью, блеснет кольцо стоячей воды, резкий запах сухих цветов... Как удар в висок...

Это будет преследовать нас всю жизнь...

Медсестра

— Уже отдохнул от войны, отошел — как передать все, что было...

Эту дрожь во всем теле, эту ярость...Как? До армии закончил автотранспортный техникум, и меня назначили возить командира батальона. На службу не жаловался. Но стали у нас настойчиво говорить об ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, ни один политчас не обходился без этой информации: наши войска надежно охраняют границы Родины, оказывают помощь дружественному народу. Мы стали волноваться — могут на войну послать. Чтобы обойти солдатский страх, нас решили, как я теперь понимаю, обмануть.

Вызывали к командиру части и спрашивали:

— Ребята, хотите работать на новеньких машинах?

Разумеется, в один голос:

— Да! Мечтаем.

Дальше следовало:

— Но сначала вы должны поехать на целину и помочь убрать хлеб.

Все согласились.

В самолете случайно услышали от летчиков, что летим в Ташкент. У меня невольно возникли сомнения: на целину ли мы летим? Сели действительно в Ташкенте. Строем отвели в огороженное проволокой место недалеко от аэродрома. Сидим. Командиры ходят какие-то возбужденные, шепчутся между собой. Подоспело время обеда, к нашей стоянке один за другим подтаскивают ящики с водкой.

— В колонну по два ста-а-а-новись!

Построили и тут же объявили, что, мол, через несколько часов за нами прилетит самолет — мы направляемся в Республику Афганистан выполнять свой воинский долг. Присягу.

Что тут началось! Страх, паника превратили людей в животных — одних в тихих, других в разъяренных. Кто-то плакал от обиды, кто-то впал в оцепенение, в транс от невероятного, гнусного обмана, совершенного над нами. Вот для чего, оказывается, приготовили водку. Чтобы легче и проще с нами поладить. После водки, когда в голову ударил еще и хмель, некоторые солдаты пытались убежать, бросились драться с офицерами. Но лагерь оцепили солдаты с автоматами, они стали теснить всех к самолету. В самолет нас грузили, как ящики, нас забрасывали в железное пустое брюхо.

Так мы оказались в Афганистане... Скоро увидели раненых, убитых, услышали слова: “разведка”, “бой”, “операция”. Мне кажется...Как я теперь понимаю, со мной случился шок...Я стал приходить в себя, осознавать ясно окружающее лишь через несколько месяцев.

Когда моя жена спросила: “Как муж попал в Афганистан?”, ей ответили: “Изявил добровольное желание”. Такие же ответы получили все наши матери и жены. Понадобись моя жизнь, моя кровь для большого дела, я сам сказал бы: “Запишите меня добровольцем!” Но меня дважды обманули: отправили на войну и не сказали правду, какая это война, — правду я узнал через восемь лет. Лежат в могилах мои друзья и не знают, как их обманули с этой подлой войной. Я иногда им даже завидую: они никогда об этом не узнают. И их больше уже не обманут...

— Очень скучала без Родины...

Муж служил долгое время в Германии, затем в Монголии... Двадцать лет моих прошли вне Родины, которую я любила безудержной любовью. И я написала в Генеральный штаб, что всю жизнь за границей, больше не могу. Прошу помочь вернуться домой...

Мы уже сели в поезд, а я все не верила. Каждую минуту спрашивала у мужа:

— Мы едем в Советский Союз? Ты меня не обманываешь?

На первой станции взяла в руку кусочек родной земли, смотрю на нее и улыбаюсь — родная! Я ее ела, поверьте. Умывала ею лицо.

Мой любимый...Мой...Наш... Юра у меня — старшенький. Нехорошо матери в этом признаваться, но я любила его больше всех на свете. Больше, чем мужа, больше, чем второго сына, я любила всех, но его как-то особенно. Он был маленький, я спала и держала его за ножку. Не могла себе представить: как это я побегу в кино, а сына оставлю с кем-то. Брала его, трехмесячного, несколько бутылочек молока, и мы отправлялись в кино. Могу сказать, что я всю жизнь была с ним. Воспитывала его только по книгам, по идеальным образам: Павка Корчагин, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская. В первом классе знал наизусть не сказки, не детские стихи, а целые страницы из “Как закалялась сталь” Николая Островского.

Учительница была в восторге:

— Кто твоя мама, Юра? Ты уже так много прочитал.

— Моя мама работает в библиотеке.

Он знал идеалы, но он не знал жизни. Я тоже, столько лет живя вдали от Родины, воображала, что жизнь состоит из идеалов. Вот случай. Мы уже вернулись в родные места, жили в Черновцах. Юра учился в военном училище. Однажды, в два часа ночи — звонок в дверь. Стоит на пороге он.

— Ты, сынок? Что так поздно? Почему в дождь? Мокрый весь...

— Мама, я приехал тебе сказать: мне трудно жить. То, чему ты учила... Ничего этого нет... Откуда ты это все взяла? А это только начало... Как я буду жить дальше?

Всю ночь мы с ним просидели на кухне. О чем я могла говорить? Все о том же: жизнь прекрасна, люди хорошие. Все правда. Тихо меня слушал. Утром уехал в училище.

Не раз я настаивала:

— Юра, бросай училище, иди в гражданский институт. Твое место там. Я же вижу, как ты мучаешься.

Он не был доволен своим выбором, потому что военным стал случайно. Из него мог бы получиться хороший историк... Ученый. Жил он книгами... “Какая прекрасная страна — Древняя Греция”. И читает все о Греции. Потом об Италии: “Мама, Леонардо да Винчи думал о полетах в космос. Когда-нибудь разгадают улыбку Джоконды...”А в десятом классе на зимних каникулах поехал в Москву. Там у меня живет брат, полковник в отставке Юра с ним поделился: “Хочу поступать в университет на философский факультет”. Тот не одобрил:

— Ты честный парень, Юра. Быть философом в наше время тяжело. Надо обманывать себя и других. Будешь говорить правду, угодишь за решетку или в сумасшедший дом.

И весной Юра решает:

— Мама, не спрашивай меня ни о чем. Я буду военным.

Я видела в военном городке цинковые гробы. Но тогда: один сын — в седьмом классе, другой — еще меньше. Надеялась: пока они вырастут, война кончится. Разве война может быть такой длинной? “А она оказалась длиной в школу, в десять лет”, — сказал кто-то на Юриных поминках.

Выпускной вечер в училище. Сын — офицер. Но я не понимала, как это Юре надо будет куда-то уезжать. Не представляла ни на миг своей жизни без него.

— Куда тебя могут послать?

— Попрошусь в Афганистан.

— Юра!!!

— Мама, ты меня воспитала таким, теперь не вздумай перевоспитывать. Ты правильно меня воспитала. Все те выродки, которых я встречал в жизни, — не мой народ и не моя Родина. Я поеду в Афганистан, чтобы доказать им, что в жизни есть высокое и не каждому хватает для счастья забитый мясом холодильник и «Жигули». Есть еще что-то... Ты так учила...

Он не один попросился в Афганистан, много мальчиков подавало рапорт. Все они — из хороших семей: у одного отец — председатель колхоза, у другого--сельский учитель...Мама медсестра...

Что я могла сказать своему сыну? Что Родине это не нужно? А те, кому он хочет что-то доказать, как считали, так и будут считать, мол, в Афганистан едут только за тряпками, за чеками. За орденами, за карьерой. Для них Зоя Космодемьянская — фанатичка, а не идеал, потому что нормальный человек на такое не способен.

Не знаю, что со мной произошло: плакала, умоляла. Призналась ему в том, в чем сама себе боялась признаться...Но о чем уже говорили... Уже потихоньку шептались на кухнях. Я его просила:

— Юрочка, жизнь совсем не такая, как я тебя учила. И если я узнаю, что ты в Афганистане, выйду на площадь... На Лобное место... Оболью себя бензином и сожгу. Тебя убьют там не за Родину, тебя убьют неизвестно за что... Просто так... Разве может Родина посылать на гибель своих лучших сыновей без великой идеи?

И он обманул меня, сказал, что поедет в Монголию. Но я знала: это же мой сын, он будет в Афганистане.

В это же время ушел в армию Гена, мой младший. Я за него была спокойна, он вырос другим. Их вечный спор с Юрой.

Юра:

— Ты, Гена, мало читаешь. Никогда не увидишь у тебя книгу на коленях. Всегда--гитара.

Гена:

— Я не хочу быть таким, как ты. Я хочу быть как все.

Они уехали, я перешла жить к ним в детскую. Потеряла интерес ко всему, кроме их книг, их вещей, их писем. Юра писал о Монголии, но так запутывался в географии, что я уже не сомневалась, где он. Днем и ночью перебирала свою жизнь... Резала себя на кусочки... Эту боль не передать никакими словами...

Я сама его туда отправила. Сама!

...Входят какие-то чужие люди, по их лицам сразу ловлю — они принесли мне беду. Отступаю в комнату. Остается последняя страшная надежда:

— Гена?!

Они отводят глаза. А я еще раз готова отдать им одного сына, чтобы спасти другого.

— Гена?!

Тихо-тихо кто-то из них произнес:

— Нет, Юра.

Дальше не могу... Не могу дальше... Два года я умираю... Я ничем не больна, но я умираю. Я не сожгла себя на площади, муж не отнес и не бросил им в лицо партбилет. Мы, наверное, уже умерли... Только никто об этом не знает...

Мы сами об этом не знаем...

Мать

— Сразу я себя убедил: “Я все забываю... Я все забываю...”

У нас в семье табу на эту тему. Жена там поседела в сорок лет, у дочери были длинные волосы, сейчас носит короткую стрижку. Во время ночных обстрелов Кабула не могли ее добудиться и тянули за косы. А через четыре года меня вдруг понесло, понесло... Хочу говорить... И вчера зашли случайные гости, не могу себя остановить... Принес альбом... Показал слайды: висают над кишлаком “вертушки”, кладут на носилки раненого, рядом — его оторванную ногу в кроссовке. Пленные, приговоренные к расстрелу, наивно смотрят в объектив, через десять минут их уже не будет... Аллах акбар! Оглянулся: мужчины на балконе курят, женщины удалились на кухню. Сидят только их дети. Подростки. Этим любопытно. Не понимаю, что со мной творится? Хочу говорить. Отчего вдруг? Чтобы ничего не забыть...

Как было тогда, что я чувствовал тогда — не передам. Я смогу рассказать о своих чувствах сейчас... Через четыре года... Через десять лет все станет звучать иначе, может быть, разобьется вдребезги.

Была какая-то злость. Досада. Почему я должен ехать? Почему на мне сошлось? Но ощутил нагрузку, не сломался — это дало удовлетворение. Начинаешь готовиться с самой мелочевки: какой ножик с собой взять, какой бритвенный прибор... Собрался... И тут уже невтерпеж: скорее встретиться с неизвестным, чтобы не прошел подъем, высота чувств. Схема получается... Это вам расскажет любой и каждый... А меня озноб или пот прошибает... И еще такой момент: когда самолет приземлился, облегчение и в то же время возбуждение — сейчас все начнется, увидим, пощупаем, проживем этим.

Стоят трое афганцев, о чем-то разговаривают, смеются. Пробежал вдоль торговых рядов грязный мальчишка, нырнул куда-то в толстые тряпки под прилавок. Уставился на меня зеленым немигающим глазом попугай. Я смотрю и не понимаю, что происходит... Они не прерывают разговора... Тот, что спиной ко мне, поворачивается... И я смотрю на дуло пистолета... Пистолет поднимается... поднимается... Вот отверстие... Я его вижу. Одновременно я слышу резкий щелчок, и одновременно меня нет... Я нахожусь в одно и то же время и по ту, и по эту сторону... Но я еще не лежу, а стою. Хочу с ними говорить, не могу: а-а-а-а...

Мир проявляется медленно, как фотография... Окно... Высокое окно... Что-то белое и что-то большое, грузное в этом белом... Кто-то... Очки мешают, не разглядеть лица... С него капает пот... И капли пота меня больно ударяют по лицу... Поднимаю неподъемные веки и слышу облегченный вздох:

— Ну все, товарищ подполковник, вернулся из “командировки”.

Но если я подниму голову, хотя бы поверну ее, у меня куда-то проваливается мозг. Сознание мерцает... Опять ныряет в толстые тряпки под прилавок мальчишка... Уставился на меня зеленым немигающим глазом попугай... Стоят трое афганцев... Тот: что спиной ко мне: поворачивается... И я упираюсь взглядом в дуло пистолета... Вот отверстие... Я его вижу... Теперь я не жду знакомого щелчка... Кричу: “Я должен тебя убить! Я должен тебя убить!...”

Какого цвета крик? Какого вкуса? А какого цвета кровь? В госпитале — она красная, на сухом песке — серая, на скале — ярко-синяя к вечеру, уже не живая. Из тяжелораненого человека кровь вытекает быстро, как из разбитой банки... И человек тухнет... тухнет... Одни глаза до конца блестят и смотрят мимо тебя... Упорно куда-то мимо...

За все заплачено! За все! Сполна. *(Начинает нервно ходить по комнате)*.

Вы смотрите на горы снизу — бесконечные, не достать, подниметесь на самолете — внизу перевернутые сфинксы лежат. Понимаете, о чем я? О времени. О расстоянии между событиями. Тогда даже мы, участники, не знали, что это за война. Не путайте меня сегодняшнего со мной вчерашним, с тем, кто в семьдесят девятом был там. Да, я этому верил! В восемьдесят третьем приехал в Москву. Тут жили так, вели себя так, как будто нас там не было. И войны никакой не было. В метро, как всегда, смеялись, целовались. Читали. Я шел по Арбату и останавливал людей:

— Сколько лет идет война в Афганистане?

— Не знаю...

— Сколько лет идет война...

— Не знаю, зачем это вам?

— Сколько лет...

— Кажется, два года...

— Сколько лет...

— А что, там война? На самом деле?

Теперь можно смеяться над нами, издеваться: мол, слепые и глупые, как овцы, были. Послушное стадо! Теперь Горбачев разрешил... Вожжи отпущены... Смейтесь! Но старая китайская мудрость гласит: достоин всяческого презрения охотник, хвастающийся у ног сдохшего льва, и достоин всяческого уважения охотник, хвастающийся у ног поверженного льва. Кто-то может говорить об ошибках. Правда, не знаю: кто? Но я — нет. Меня спросят: “Почему вы молчали тогда? Ведь вы были не мальчик. Вам было без малого пятьдесят лет”. Я должен понять...

Начну с того, что я там стрелял, и в то же время я уважаю этот народ. Я даже его люблю. Мне нравятся его песни, его молитвы: спокойные и бесконечные, как его горы. Но вот я — буду говорить только о себе — искренне верил, что юрта хуже пятиэтажного дома, что без унитаза нет культуры. И мы завалим их унитазами, и построим каменные дома. Научим водить трактор. И мы привезли им столы для кабинетов, графины для воды, и красные скатерти для официальных заседаний, и тысячи портретов Маркса, Энгельса, Ленина. Они висели во всех кабинетах, над головой каждого начальника. Мы привезли им начальственные черные “Волги”. И наши тракторы, и наших племенных бычков. Крестьяне (дехкане) не хотели брать землю, которую им дарили, потому что она принадлежит Аллаху, человек не может ее ни дать, ни взять. Как из космоса, смотрели на нас проломленные черепа мечетей...

Мы никогда не узнаем, как муравей видит мир. Найдите об этом у Энгельса. А у востоковеда Спенсера: “Афганистан нельзя купить, его можно перекупить”. Утром закуриваю сигарету: на пепельнице сидит маленькая, как майский жук, ящерица. Возвращаюсь через несколько дней: ящерица сидит на пепельнице в той же позе, даже головку еще не повернула. Понял: вот он — Восток. Я десять раз исчезну и воскресну, разобьюсь и поднимусь, а она еще не успеет своей крошечной головкой повернуть. По их календарю — тысяча триста шестьдесят первый год...

Вот сижу дома, в кресле у телевизора. Могу ли я убить человека? Да я мухи не убью! Первые дни, даже месяцы, пули срезают ветки тутовника — ощущение нереальности... Психология боя иная... Бежишь и ловишь цель... Впереди... Боковым

зрением... Я не считал, сколько я убил... Но бежал... Ловил цель... Здесь... Там... Живую движущуюся цель... И сам тоже был целью... Мишенью... Нет, с войны не возвращаются героями... Оттуда нельзя вернуться героем...

За все заплачено! За все!! Сполна.

Вы представляете себе и любите солдата сорок пятого года, которого любила вся Европа. Наивный, простоватый, с широким ремнем. Ему ничего не надо, ему нужна была только победа — и домой! А этот солдат, который вернулся в ваш подъезд, на вашу улицу, — другой. Этому солдату нужны были джинсы и магнитофон. Он увидел и запомнил другую жизнь... Многого захотел... Еще древние говорили: не будите спящую собаку. Не давайте человеку нечеловеческих испытаний. Он их не выдержит.

Своего любимого Достоевского там читать не мог. Мрачно. Таскал за собой. Брэдли. Фантастику. Кто хочет жить вечно? Никто.

Но ведь было же... Было! Помню... В тюрьме мне показали главаря, как мы тогда называли, банды. Лежит на железной кровати и читает... Знакомый книжный переплет... Ленин: “Государство и революция”... “Жаль, — сказал, — не успею прочитать. Может, мои дети прочтут...”

Сгорела школа, осталась одна стена. Каждое утро дети приходят на урок и пишут на ней угольками, оставшимися после пожара. После уроков стену белят известью. И она снова похожа на чистый лист белой бумаги...

Привезли из “зеленки” лейтенанта без рук и без ног. Без всего мужского. Первые слова, которые он произносит после шока: “Как там мои ребята?..”

За все заплачено! И мы заплатили больше всех... Больше вас...

Нам ничего не надо, мы все прошли. Выслушайте нас и поймите. А все привыкли к действию — дать лекарство, дать пенсию, дать квартиру. Дать и забыть. Это “дайте” оплачено дорогой валютой — кровью. Но мы к вам на исповедь пришли... Мы исповедуемся...

Не забудьте о тайне исповеди...

Военный советник

— Нет, все-таки хорошо, что так кончилось. Поражением. У нас глаза откроются...

Невозможно все рассказать... Это иллюзия... Было то, что было, после чего осталось то, что я увидел и запомнил, уже только часть от целого, а дальше появится то, что смогу рассказать. В слове останется десятая часть... В лучшем случае, если я постараюсь. Напрягусь. А ради кого? Ради Алешки, который умер у меня на руках — восемь осколков в живот. Мы спускали его с гор восемнадцать часов. Семнадцать часов он жил, на восемнадцатом — умер. Ради Алешки вспомнить? Но это только с точки зрения религии человеку что-нибудь нужно, особенно там-- наверху. Я больше верю, что им не больно, не страшно и не стыдно. Тогда зачем ворошить? Хотите что-то узнать у нас... Да... Мы, конечно, с клеймом... А что у нас можно узнать? Вы, наверное, принимаете нас за других? Поймите, трудно в чужой стране, воюя неизвестно за что, приобрести какие-то идеалы. Найти смысл. Там мы были одинаковыми, но не были единомышленниками. Как и здесь... В нормальном мире... Случаю ничего не стоило поменять местами тех, кто там был, на тех, кто там не был. Мы все разные, но мы везде одинаковые — и там, и здесь.

Помню, в шестом или седьмом классе учительница русской литературы вызвала к доске:

— Кто твой любимый герой: Чапаев или Павел Корчагин?

— Гек Финн.

— Почему Гек Финн?

— Гек Финн, когда решал, выдать беглого негра Джимма или гореть за него в аду, сказал себе: “Ну и черт с ним, буду гореть в аду”, но Джимма не выдал.

— А если бы Джимм был белый, а ты красный? — спросил после уроков Алешка, мой друг.

Так всю жизнь и живем — белые и красные, кто не с нами, тот против нас.

Под Баграмом... Зашли в кишлак, попросили поесть. По их законам, если человек в твоём доме и голодный, ему нельзя отказать в горячей лепешке. Женщины посадили нас за стол и покормили. Когда мы уехали, этих женщин и их детей кишлак до смерти закидал камнями и палками. Они знали, что их убьют, но все равно нас не выгнали. А мы к ним со своими законами... В шапках заходили в мечеть...

Зачем заставляю меня вспоминать? Это все очень интимное: и первый мой убитый, и моя собственная кровь на легком песке, и высокая труба верблюжьей головы, качнувшаяся надо мной прежде, чем я потерял сознание. И в то же время я там был, как все. За всю жизнь я один лишь раз отказался быть, как все... Один раз... В детском садике нас заставляли братья за руки и ходить парами, а я любил гулять один. Молодые воспитательницы какое-то время терпели мои выходы, но скоро одна из них вышла замуж, уехала, вместо нее к нам привели тетю Клаву.

— Бери за руку Сережу, — подвела ко мне другого мальчика тетя Клава.

— Не хочу.

— Почему ты не хочешь?

— Люблю гулять один.

— Делай, как делают все послушные мальчики и девочки.

— Не буду.

После прогулки тетя Клава раздела меня, даже трусики сняла и маечку, отвела и оставила на три часа в пустой темной комнате. А в детстве нет ничего страшнее остаться одному... В темноте... Кажется, что тебя все забыли. Никогда не найдут. Назавтра я шел с Сережей за руку, я стал, как все. В школе — класс решал, в институте — курс решал, на заводе — коллектив решал. Всюду за меня решали. Мне внушили, что один человек ничего не может. В какой-то книге наткнулся на слова “убийство мужества”. Когда отправлялся туда, во мне нечего было убивать: “Добровольцы, два шага вперед”. Все два шага вперед, и я — два шага вперед.

В Шинданде... Видел двух помешавшихся наших солдат, они все время “вели” переговоры с “духами”. Они им объясняли, что такое социализм по учебнику истории за десятый класс... Кто такой Ленин... “А дело в том, что идол был пустой, и саживались в нем жрецы вещать мирянам”. Дедушка Крылов... Классика... А однажды в школу, мне лет одиннадцать было, пришла “тетя Снайпер”, которая убила семьдесят восемь “дядей фрицев”. Вернулся домой, заикался, ночью поднялась температура. Родители решили: грипп. Неделю дома просидел. Любимого своего “Овода” читал.

Зачем заставляю меня вспоминать? Я, когда вернулся... Я свои довоенные джинсы и рубашки не смог носить, это была одежда чужого, незнакомого мне человека, хотя она сохранила мой запах, как уверяла мать. Того человека уже нет, он не существует. Этот другой, который теперь я, носит только ту же фамилию. Я встречался до армии с девушкой, был влюблен. Приехал и не позвонил ей. Она случайно узнала, что я уже в городе, нашла меня. Зря искала... Не надо было встречаться... «Того человека, которого ты любила, и он тебя любил — нет, — сказал я ей. — Я — другой. Ну, другой я!». Она плакала. Приходила много раз. Звонила. Зачем? Я — другой! Другой! *(Помолчал.*

Успокоился.) Мне все-таки нравился тот первый человек... Я о нем тоскую... Я его вспоминаю... “Падре, — спросил Овод у Монтанелли, — теперь ваш Бог удовлетворен?”
Кому мне бросить эти слова? Как гранату...

Рядовой, артиллерист

— Как я сюда попала? Очень просто... Верила всему, что писали в газетах...

Я себе говорила: “Раньше подвиги совершали, были способны на самопожертвование, а теперь наша молодежь никуда не годится. И я такая же. Там война, а я себе платье шью, прическу новую придумываю”. Мама плакала: “Умирать буду — не прощу. Я не для того вас рожала, чтобы хоронить отдельно руки, ноги”.

Из первых впечатлений? Пересылка в Кабуле... Колючая проволока, солдаты с автоматами... Собаки лают... Одни женщины. Сотни женщин. Приходят офицеры, выбирают, кто посимпатичнее, помоложе. Откровенно. Меня подозвал майор:

— Давай отвезу в свой батальон, если тебя не смущает моя машина.

— Какая машина?

— Из-под груза “двести”... — Я уже знала, что “груз двести” — это убитые, это гробы.

— Гробы есть?

— Сейчас выгрузят.

Обыкновенный КамАЗ с брезентом. Гробы бросали, как ящики с патронами. Я ужаснулась. Солдаты поняли: “Новенькая”. Приехала в часть. Жара шестьдесят градусов. В туалете мух столько, что могут поднять тебя на крыльях. Душа — нет. Вода на вес золота. Я — единственная женщина.

Через две недели вызвал комбат:

— Ты будешь со мной жить...

Два месяца отбивалась. Один раз чуть гранатой не бросила, в другой — за нож ухватилась. Наслушалась: “Выбираешь выше звездами... Чай с маслом захочешь — сама придешь...” Никогда раньше не материлась, а тут:

— Да вали ты отсюда!!

У меня мат-перемат, огрубела. Перевели в Кабул, дежурной в гостиницу. Первое время на всех зверем кидалась. Смотрели как на ненормальную.

— Чего ты бросаешься? Мы кусаться не собираемся.

А я по-другому не могла, привыкла защищаться. Позовет кто-нибудь:

— Зайди чаю попить.

— Ты меня зовешь на чашку чая или на палку чая?

Пока у меня не появился мой... Любовь? Таких слов здесь не говорят. Вот знакомит он меня со своими друзьями:

— Моя жена.

А я ему на ухо:

— Афганская?

Ехали на бэтээре... Я его собой прикрыла, но, к счастью, пуля — в люк. А он сидел спиной. Вернулись, написал жене обо мне. Два месяца не получает из дому писем.

Люблю пойти пострелять. Полностью весь магазин выпускаю одной очередью. Мне становится легче.

Одного “духа” сама убила. Выехали в горы, подышать, полюбоваться. Шорох за камнем, меня током назад, и я — очередь. Первая. Подошла посмотреть: сильный, красивый мужчина лежал...

— С тобой можно в разведку, — сказали ребята.

Я нос задрала. Им еще понравилось, что я не полезла к нему в сумку за вещами, я взяла только пистолет. Потом они всю дорогу меня сторожили — вдруг замутит, тошнить начнет. Ничего... Тело легкое вдруг стало... Пришла, открыла холодильник и много съела, так много, что в другой раз мне бы этого на неделю хватило. Нервное расстройство. Принесли бутылку водки. Пила и не пьянела. Жуть брала: промажь я, и моя мама получила бы “груз двести”.

Я хотела быть на войне, но не на этой, а на Великой Отечественной.

Откуда бралась ненависть? Очень просто. Убили товарища, а ты с ним был рядом, ел из одного котелка. Он тебе про подружку, про маму рассказывал. И вот лежит весь обгоревший... Сразу все понятно... Тут будешь стрелять до сумасшествия. Мы не привыкли думать о больших вопросах: кто это затеял? Кто виноват? Любимый наш анекдот на эту тему... Про политику... У армянского радио спрашивают: что такое политика? Армянское радио отвечает: вы слышали, как писает комар? Так политика — это еще тоньше. Пусть правительство этим занимается, а тут люди видят кровь и звереют... Чумеют... Один раз увидишь, как обгоревшая кожа сворачивается в трубочку... Точно лопнул капроновый чулок... И тебе хватит... Жуть, когда животных убивают... Расстреливали караван, он вез оружие. Людей расстреляли отдельно, ишаков — отдельно. Они одинаково молчали и ждали смерти. Раненый ишак кричал, как будто по железу тянули чем-то железным. Скрипуче так...

У меня здесь другое лицо, другой голос. Можете представить, какие мы здесь, если мы, девчонки, сидим и говорим такое:

— Ну и дурак! Поссорился с сержантом и ушел к “духам”. Стрельнул бы — и все. Точка. Списали бы на боевые потери.

Откровенный разговор... Ведь многие офицеры думали, что тут, как в Союзе: можно ударить солдата, оскорбить... Их находили убитыми... В бою в спину выстрелят... Найди — кто? Пойди — докажи.

На заставах в горах ребята никого годами не видят. Вертолет три раза в неделю. Я приехала. Подошел лейтенант:

— Девушка, снимите косынку. Распустите волосы. — А у меня были длинные волосы. — Я уже два года только стриженные солдатские головы вижу.

Все солдаты высыпали из траншей...

А в бою меня закрыл собой один солдат. Сколько я буду жива, буду его помнить, за него свечку в церкви ставить. Он меня не знал, он это сделал только потому, что я — женщина. Такое запоминается. И где ты в обычной жизни проверишь, сможет ли тебя закрыть собою человек? Тут лучшее еще лучше, плохое — еще хуже. Обстреливают... Это уже другой случай... И солдат крикнул мне какую-то пошлость. Гадость! Что-то грязное. «Будь ты проклят!» — подумала. И его убило, отрезало половину головы, половину туловища. На моих глазах... Меня затрясло, как в малярии. Хотя я до этого видела большие целлофановые мешки с трупами... Трупы, завернутые в фольгу... Как... Сравнение не подберу... Я не могла бы писать, искала и искала бы слова. Пробовала бы их и пробовала на вкус. Ну, как большие игрушки... Но чтобы меня трясло, такого не было... А тут я не могла успокоиться...

Не встречала, чтобы девчонки у нас носили боевые награды, даже если они у них есть. Одна надела медаль “За боевые заслуги”, все смеялись — “За половые заслуги”. Потому что известно: медаль можно получить за ночь с комбатом... Почему сюда женщин

берут? Без них нельзя обойтись...Понимаете? Некоторые господа офицеры с ума бы сошли. А почему женщины на войну рвутся? Деньги...Хорошие деньги...Купишь магнитофон, вещи. Вернешься домой — продашь. В Союзе столько не заработаешь...Не накопишь...Нет одной правды, она разная, эта правда. У нас же честный разговор... Некоторые девчонки путались с дуканщиками за шмотки. Зайдешь в дуکان, бачата... Дети...Кричат: “Ханум, джик-джик...” — и показывают на подсобку. Свои офицеры расплачиваются чеками, так и говорят: “Пойду к “чекистке”... Слышали анекдот? В Кабуле на пересыльном пункте встретились: Змей Горыныч, Кощей Бессмертный и Баба Яга. Все едут защищать революцию. Через два года увидели друг друга по дороге домой: у Змея Горыныча только одна голова уцелела, остальные снесли, Кощей Бессмертный чуть живым остался, потому что бессмертный, а Баба Яга — вся в “монтане” и «варенка» на ней. Веселая.

— А я на третий год оформляюсь.

— Ты с ума сошла, Баба Яга!

— Это я в Союзе Баба Яга, а тут — Василиса Прекрасная.

Солдаты... Мальчишки...Они сломленные отсюда выходят, им по восемнадцать-девятнадцать лет. Дети. Много тут увидели... Много... Как женщина продается за ящик, да где там ящик, за две банки тушенки. Потом этими глазами он будет смотреть на жену. На всех... Им тут испортили зрение. Не надо удивляться, что они себя потом как-то не так ведут в Союзе. Один мой знакомый уже в тюрьме сидит...У них другой опыт. Они привыкли все решать автоматом, силой... Дуканщик продавал арбузы, один арбуз — сто афгашек. Наши солдаты хотели дешевле. Он отказывался. Ах, так! — один взял и расстрелял из автомата все арбузы, целую гору арбузов. Попробуй такому в троллейбусе наступить на ногу или не пропустить в очереди...Попробуй...

Мечтала: вернусь домой, вынесу раскладушку в сад и засну под яблоней... Под яблоками... А теперь боюсь. От многих можно услышать, особенно сейчас, перед выводом наших войск: “Я боюсь возвращаться в Союз”. Почему? Очень просто. Мы приедем, там все изменилось: другая мода за эти два года, другая музыка, другие улицы. Другое отношение к этой войне... Мы будем как белые вороны...

Разыщите меня через год. Дома. Я вам свой адрес оставлю...

Служащая

— Я настолько верил, что сейчас не могу с этим расстаться...

И сейчас...Что бы мне ни говорили, что бы я ни читал, каждый раз оставляю себе маленькую лазейку. Срабатывает инстинкт самосохранения... Защита... Перед армией окончил институт физкультуры. Последнюю, дипломную практику проходил в “Артеке”, работал вожатым. Там столько раз произносил высокие слова: пионерское слово, пионерское дело... Сейчас глупо звучит... А тогда слезы на глазах...

В военкомате попросился: “Отправьте меня в Афганистан...” Замполит нам читал лекции о международном положении, это он сказал, что мы всего лишь на один час опередили американские “зеленые береты”, они уже находились в воздухе. Обидно за свою доверчивость. Нам вдалбливали, вдалбливали и, наконец, вдолбили, что это — “интернациональный долг”. До конца дойти никогда не могу... Поставить в своих размышлениях точку... “Сними, — говорю себе, — розовые очки”. Уезжал я не в восьмидесятом и не в восемьдесят первом году, а в восемьдесят шестом. Но еще все молчали. В восемьдесят седьмом я уже был в Хосте. Мы взяли одну горку... Семь наших ребят положили... Приехали московские журналисты... Им привезли “зеленых”

(Афганская народная армия), якобы это они отбили горку... Афганцы позировали, а наши солдаты в морге лежали...

В Афганистан в “учебке” отбирали самых лучших. Страшно было попасть в Тулу, в Псков или в Кировабад — грязно и душно, а в Афган просились, добивались. Майор Здобин начал нас с Сашей Кривцовым, моим другом, уговаривать, чтобы мы забрали свои рапорты:

— Пусть лучше Синицын погибнет, чем кто-нибудь из вас. На вас государство столько затратило.

Синицын — простой крестьянский парень, тракторист. Я уже с дипломом, Саша учился на факультете германо-романской филологии Кемеровского университета. Он исключительно пел. Играл на фортепиано, скрипке, флейте, гитаре. Музыка сочинял. Рисовал хорошо. Мы жили с ним, как братья. На политчасах нам о подвигах рассказывали, о героизме. Афганистан, утверждали, та же Испания. И вдруг: “Лучше пусть Синицын погибнет, чем кто-нибудь из вас”.

Увидеть войну было интересно с психологической точки зрения. Прежде всего изучить себя. Меня это привлекало. Расспрашивал знакомых ребят, кто там был. Один, как я теперь соображаю, лапшу нам на уши вешал. У него на груди виднелось крупное пятно, как бы от ожога, буквой “р”, он специально носил открытые рубашки, показывал. Сочинял, как они ночью с “вертушек” на горы садились, еще я запомнил, что десантник три секунды — ангел, до раскрытия парашюта, три минуты — орел, пока летит, остальное время — ломовая лошадь. Мы принимали все за чистую монету. Повстречался бы мне сейчас этот Гомер! Таких потом раскусывал с ходу: “Если бы были мозги, то была бы контузия”. Другой парень, наоборот, отговаривал:

— Не нужно тебе туда ехать. Это грязь, а не романтика.

Мне не нравилось:

— Ты пробовал? Я тоже хочу попробовать.

Он учил, как остаться живым. Десять заповедей:

— Выстрелил — откатись на два метра от места, с которого стрелял. Прячь за дувал или за скалу ствол автомата, чтобы не увидели пламя, не засекли. Когда идешь, не пей, не пойдешь. В карауле — не засни, царапай себе лицо, кусай за руку. Десантник бежит сначала, сколько может, а потом, сколько надо.

Отец у меня ученый, мама — инженер. Они с детства воспитывали во мне личность. Я хотел быть личностью... За это... (*Смеется*). Меня исключили из октябрят, долго не принимали в пионеры. Дрался за честь. Повязали галстук, я его не снимал, спал с ним. На уроках литературы учительница обрывала:

— Не говори сам, а говори, как в книге.

— Я неправильно рассказываю?

— Не так, как в книге...

Как в сказке, где царь все краски не любил, кроме серых. И все в этом царстве-государстве было мышинного цвета.

Сейчас я призываю своих учеников (работаю в школе):

— Учитесь думать, чтобы из вас не сделали очередных дураков. Оловянных солдатиков.

До армии меня учили жить Достоевский и Толстой, в армии — сержанты. Власть сержантов неограниченная, три сержанта на взвод.

— Слушай мою команду! Что должен иметь десантник? Повторить!

— Десантник должен иметь наглую морду, железный кулак и ни грамма совести.

--- Совесть — это роскошь для десантника. Повторить!

— Совесть — это роскошь для десантника.

— Вы — медсанбат. Медсанбат — белая кость ВДВ (воздушно-десантных войск).
Повторить!

Из солдатского письма: “Мама, купи барана и назови Сержантом, приеду домой, убью”.

Сам режим забивает сознание, нет сил сопротивляться... С тобой можно сделать все...

В шесть часов утра — подъем. Три раза: подъем — отбой. Встать — лечь.

Три секунды, чтобы построиться на “взлетке” — белый линолеум, белый, чтобы чаще мыть, драить. Сто шестьдесят человек должны соскочить с кровати и за три секунды построиться. За сорок пять секунд одеться по форме номер три — полная форма, но без ремня и шапки. Как-то один не успел накрутить портянки.

— Разойтись и повторить!

Опять не успел.

— Разойтись и повторить!

Физзарядка. Рукопашный бой: сочетание каратэ, бокса, самбо и боевых приемов против ножа, палки, саперной лопатки, пистолета, автомата. Он — с автоматом, ты — с голыми руками. Ты — с саперной лопаткой, он — с голыми руками. Сто метров “зайчиком” проскакать... На одной ноге... Десять кирпичей сломать кулаком. Заводили на стройку: “Не уйдете, пока не научитесь”. Самое трудное — преодолеть себя, не бояться бить.

Пять минут на умывание. Двенадцать краников на сто шестьдесят человек.

— Построились! Разбежались! — Через минуту опять. — Построились!
Разбежались!

Утренний осмотр: проверка блях — они должны блестеть, как у кота одно место, белых воротничков, наличия в шапке двух иголок с ниткой.

— Вперед! Шагом марш! На исходную позицию!

За весь день — полчаса свободного времени. После обеда — для письма.

— Рядовой Кривцов, почему сидите и не пишете?

— Я думаю, товарищ сержант.

— Почему тихо отвечаете?

— Я думаю, товарищ сержант.

— Почему не орете, как вас учили орать? Придется потренироваться “на очке”.

Тренировать “на очке” — орать в унитаз, отрабатывать командный голос. Сзади сержант, следит, чтобы было гулкое эхо.

Из солдатского словаря:

Отбой — я люблю тебя, жизнь. Утренний осмотр — верьте мне, люди. Вечерняя поверка — их знали в лицо. На губе — вдали от Родины. Демобилизация — свет далекой звезды. Поле для тактических занятий — поле дураков. Посудомойка — дискотека (тарелки крутятся, как диски). Замполит — Золушка (на флоте — Пассажир).

— Медсанбат — белая кость ВДВ. Повторить!

Вечное чувство голода. Заветное место — военторг, там можно купить кекс, конфеты, шоколад. Отстреляешься на “пятерку”, получаешь разрешение сходить в магазин. Не хватает денег, продаем несколько кирпичей. Берем один кирпич, подходим -- два здоровых типа к новенькому, у которого есть деньги:

— Купи кирпич.

— А зачем он мне?

Берем в кольцо:

— Купи кирпич...

— Сколько?

— Три рубля.

Даем нам три рубля, заходит за угол и выбрасывает кирпич. А мы за три рубля наедаемся. Один кирпич равен десяти кексам.

— Совесть — это роскошь для десантника. Медсанбат — белая кость ВДВ.

Я, наверное, неплохой актер, потому что быстро научился играть отведенную мне роль. Хуже всего прослыть “чадос”, от слова “чадо”, что-то слабое, не мужского рода. Через три месяца попал в увольнение. Как все забылось! Еще недавно целовался с девушкой, сидел в кафе, танцевал. Как будто не три месяца прошло, а три года, и ты вернулся в цивилизацию.

Вечером:

— Обезьяны, построиться! Что главное для десантника? Главное для десантника — не пролететь мимо земли.

Перед самым отъездом праздновали Новый год. Я был Дедом Морозом, Сашка — Снегурочкой. Это напомнило школу.

Шли двенадцать суток... Хуже гор могут быть только горы... Уходили от банды... Держались на допинге...

— Санинструктор, давай свой “озверин”. — А это был сиднокарб. Переели все таблетки.

Нет сил попробовать улыбнуться.

— На что жалуетесь? — спрашивает врач у кота Леопольда. Начинает кто-то первый.

— На мышей.

— Мышите — не мышите... Все ясно. Вы очень добрый. Вам нужно разозлиться. Вот таблетки “озверин”. Принимать по одной таблетке три раза в день после еды.

— Ну и что?

— Озвереете.

На пятые сутки взял и застрелился солдат, пропустил всех вперед и приставил автомат к горлу. Нам пришлось тащить его труп, его рюкзак, его бронежилет, его каску. Жалости не было. Он знал, что у нас не бросают трупы — уносят.

Вспомнили и пожалели мы его, когда уже уезжали домой, демобилизовались.

— Принимать по одной таблетке три раза в день...

— Ну и что?

— Озвереете.

Подрывные ранения — самые страшные... Оторвана нога до колена... Кость торчит... От второй ноги оторвана пятка... Срезан член... Выбит глаз... Оторвано ухо... Первый раз внутри бил колотун, в горле щекотало... Сам себе приговаривал: “Не сделаешь сейчас, никогда не станешь санинструктором”. Отрыв двух ног... Перетянул жгутом, остановил кровь, обезболит, усыпил... Разрывная пуля в живот... Кишки вывалились... Перевязал, остановил кровь, обезболит, усыпил... Четыре часа держал... Умер...

Не хватало медикаментов. Зеленки обыкновенной не было. То не успели подвезти, то лимиты кончились — наша плановая экономика. Добывали трофейное, импортное. У меня всегда в сумке лежало двадцать японских разовых шприцев. Они в мягкой полиэтиленовой упаковке, снимешь чехол — делаешь укол. У наших “Рекордов” протирались бумажные прокладки, становились нестерильными. Половина не всасывалась, не качала — брак. Наши кровезаменители в бутылках по пол-литра. Для оказания помощи одному тяжелораненому нужно два литра — четыре бутылки. Как на поле боя ухитриться держать около часа на вытянутой руке резиновый воздуховод? Практически невозможно. А сколько бутылок ты на себе унесешь? Что предлагают итальянцы? Полиэтиленовый пакет на один литр, ты прыгаешь на него в сапогах — не

лопается. Дальше: бинт обыкновенный, советский бинт стерильный. Упаковка дубовая, весит больше, чем сам бинт. Импортные... Таиландские, австрийские... Тоньше, белее почему-то... Эластичного бинта вообще не было. Тоже брал трофейный... Французский, немецкий... А наши отечественные шины?! Это же лыжи, а не медицинские приспособления. Сколько их с собой возьмешь? У меня были английские: отдельные — на предплечье, голень, бедро. На “молнии”, надувные. Всунул руку, застегнул. Кость сломанная не двигается, защищена от ударов при транспортировке.

За девять лет ничего нового не поставили у нас на производство. Бинт — тот же, шина — та же. Советский солдат — самый дешевый солдат. Самый терпеливый, неприхотливый. Не снабжен, не защищен. Расходуемый материал. Так было в сорок первом году... И через пятьдесят лет так... Почему?..

Страшно, когда в тебя лупят, а не самому стрелять. Чтобы выжить, надо постоянно думать об этом. Я думал... Я никогда не садился в первую и последнюю машины. Никогда не спускал ноги в люк, пусть лучше с брони свисают, чтобы не отрезало при подрыве. Держал в запасе немецкие таблетки для подавления чувства страха. Но никто больше их не пил. У меня был бронежилет... Опять же! Наш бронежилет не поднять, в нем невозможно двигаться, американский — ни одной железной части, из какого-то пуленепробиваемого материала. В нем, как в спортивном костюме. Пистолет Макарова в упор его не берет, а из автомата только со ста метров пуля достает. У нас шлемы тридцатых годов, каски дурацкие. Еще с той войны... (*Задумывается*). За это... За многое там было стыдно... Почему мы такие? Американские спальные мешки образца сорок девятого года, лебяжий пух, легкие. Японские спальные отличные, но короткие. А наш ватник килограммов семь весит, не меньше. У убитых наемников мы забирали куртки, кепки с длинными козырьками, китайские брюки, в которых пах не натирает. Все брали. Трусы брали, так как трусы — дефицит, носки, кроссовки тоже. Приобрел я маленький фонарик, ножик-кинжальчик. Еще есть всегда хотелось... Голод! Стреляли диких баранов. Диким считался баран, отставший на пять метров от стада. Или меняли: два килограмма чая за одного барана. Чай трофейный. Деньги с боевых приносили, афгани. У нас их, кто чином повыше, отнимали. Тут же на наших глазах между собой делили. В патрон забьешь, сверху порохом присыплешь пару бумажек — спасешь.

Одни хотели напиться, другие выжить, третьи мечтали о наградах. Я тоже хотел награду. В Союзе встретят:

— Ну, что у тебя? Что, старшина, каптеркой заведовал?

Обидно за свою доверчивость. Замполиты нас убеждали в том, во что сами не верили. В чем уже давно разобрались.

Напутствие замполита перед возвращением домой: о чем можно говорить, о чем нет. О погибших нельзя, потому что мы большая и сильная армия. О неуставных отношениях не распространяться, потому что мы большая, сильная и морально здоровая армия. Фотографии порвать. Пленки уничтожить. Мы здесь не стреляли, не бомбили, не отравляли, не взрывали. Мы — большая, сильная и лучшая армия в мире...

На таможне забрал подарки, которые мы везли домой: парфюмерию, платки, часы.

— Не положено, ребята.

Никакой описи не составлялось. Просто это был их бизнес. Но так пахло зелеными весенними листьями... Шли девушки в легких платьях... Мелькнула в памяти и исчезла Светка Афошка (фамилии не помню — Афошка и Афошка). В первый день своего приезда в Кабул она переспала с солдатом за сто ашошек, пока не разобралась. Через пару недель брала по три тысячи. Солдату не по карману. А Пашка Корчагин где? Настоящее его имя Андрей, но звали Пашкой из-за фамилии.

— Пашка, посмотри, какие девушки!!

У Пашки-Андрея была девушка, она прислала фотографию своей свадьбы. Мы дежурили возле него ночами — боялись. Однажды утром он повесил на скале фотографию — и расстрелял из пулемета. Но еще долго, слышали ночами, плакал.

— Пашка, посмотри, какие девушки!

В поезде приснилось: готовимся к выходу на боевые, Сашка Кривцов спрашивает:

— Почему у тебя триста пятьдесят патронов, а не четыреста?

— Потому что у меня медикаменты.

Он помолчал и спросил:

— А ты мог бы расстрелять ту афганку?

— Какую?

— Ту, что навела нас на засаду. Помнишь, четверо погибли?

— Не знаю... Я, наверное, нет. В детском садике и в школе меня дразнили “бабником”, девчонок защищал. А ты?

— Мне стыдно...

Он не успевает договорить, за что ему стыдно, я просыпаюсь.

Дома меня ждет телеграмма от Сашиной мамы: “Приезжай, Саша погиб”.

Я стоял возле его могилы:

— Сашка, мне стыдно за то, что на выпускном экзамене по научному коммунизму я получил пятерку за критику буржуазной демократии. Провел сравнительный анализ... Ты меня понимаешь... Мы поехали в Афган слепые... Сейчас уже все говорят, что эта война — позор, а нам недавно вручили новенькие значки “Воин-интернационалист». Я молчал... Даже сказал: «Спасибо!» Сашка, ты там, а я здесь.

Мне надо с ним разговаривать...

Старшина, санинструктор разведроты

— Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, вес — два килограмма, рост тридцать сантиметров. Боялась в руках держать...

Прижму к себе:

— Мое ты солнышко...

Ничего не боялся, только паука. Приходит с улицы... Мы ему новое пальто купили... Это ему исполнилось четыре года... Повесила я это пальто на вешалку и слышу из кухни: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп... Выбегаю: полная прихожая лягушек, они из карманов его пальто выскакивают. Он их собирает:

— Mamочка, ты не бойся. Они добрые. — И назад в карман запихивает.

— Мое ты солнышко.

Игрушки любил военные. Дарила ему танк, автомат, пистолет. Нацепит на себя и марширует по дому.

— Я солдат... Я солдат...

— Мое ты солнышко... Поиграй во что-нибудь мирное.

— Я — солдат...

Идти в первый класс, не можем нигде купить костюм, какой не примеряем — он в нем тонет.

— Мое ты солнышко...

Забрали в армию. Я молила не о том, чтобы его не убили, а чтобы не били. Я боялась, что будут издеваться ребята посильнее, он такой маленький. Рассказывал, что и

туалет зубной щеткой могут заставить чистить, и трусы чужие стирать. Я этого боялась. Попросил: “Пришлите все свои фото: мама, папа, сестренка. Я уезжаю...”

Куда уезжает, не написал. Через два месяца пришло письмо из Афганистана: “Ты, мама, не плачь, наша броня надежная”.

— Мое ты солнышко... Наша броня надежная...

Уже домой ждала, ему месяц остался до конца службы. Рубашечки купила, шарфик, туфли. И сейчас они в шкафу. Одеда бы в могилку... Сама бы его одеда, так не разрешили гроб открыть... Поглядеть на сыночка, дотронуться... Нашли ли они ему форму по росту? В чем он там лежит?

Первым пришел капитан из военкомата:

— Крепитесь, мать...

— Где мой сын?

— Здесь, в Минске. Сейчас привезут.

Я осела на пол:

— Мое ты солнышко!!! — Поднялась и набросилась с кулаками на капитана:

— Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой здоровый, такой сильный... А он маленький... Ты — мужчина, а он — мальчик. Почему ты живой?!

Привезли гроб, я стучалась в гроб:

— Мое ты солнышко! Мое ты солнышко!

А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камни, обниму:

— Мое ты солнышко...

Мать

— Положил в карман кусочек своей земли — родилось такое чувство в поезде...

У-ух! Война! Я буду воевать. Были, конечно, среди нас и трусы. Один парень не прошел комиссию по зрению, выскочил радостный: “Повезло!” За ним шел другой по очереди, и его тоже не взяли, он чуть не плакал: “Как я вернусь в свою часть? Меня две недели провожали. Хотя бы язва желудка была, а то зубы болят” В одних трусах прорвался к генералу: из-за каких-то больших зубов не берут, так пусть вырвут эти два зуба!

У меня по географии в школе было “пять”. Закрываю глаза и представляю: горы, обезьяны, мы где-то загораем, едим бананы... А было так. Нас посадили на танки: в шинелях, пулемет — вправо, пулемет — влево, задняя машина, которая замыкает, — пулемет назад, все бойницы открыты, автоматы высунуты. Железный еж какой-то. Встречаем два наших бэтэра — ребята на броне сидят, в тельняшках, в панамах, смотрят на нас, со смеху давятся. Увидел убитого наемника, был потрясен. Как тренирован! — атлет. А я попал в горы и не знал, как ступить на камень, что начинать надо с левой ноги. Десять метров по отвесной скале нес телефон... Когда взрыв, закрывал рот, а надо открывать — перепонки лопаются. Нам выдали противогазы. В первый же день мы их выбросили, химоружия у “духов” нет. Каски свои в дукане продали. Лишний груз на башке, нагреваются, как сковородки. У меня была одна проблема: где украсть дополнительный рожок с патронами? Выдали четыре рожка, пятый купил в первую получку у товарища, шестой подарили. В бою достаешь последний рожок и последний патрон — в зубы. Это для себя.

Мы приехали социализм строить, а нас оградили колючей проволокой: “Ребята, туда нельзя. За социализм агитировать не надо, для этого специальные люди есть”. Обидно, конечно, что не доверяют. Говорю с дуканщиком:

— Ты неправильно жил. Мы сейчас тебя научим. Будем социализм строить.

Он улыбается:

— Я до революции торговал и сейчас торгую. Поезжай домой. Это наши горы. Сами разберемся...

Едем по Кабулу, женщины бросают в наши танки палками, камнями. Бачата ругаются матом без акцента, кричат: “Русский, уезжай домой”.

Зачем мы здесь?

...Стреляли из гранатомета. Я успел развернуть пулемет, это меня спасло. Снаряд в грудь летел, а так — одну руку прошило, в другую ушли все осколки. Помню: такое мягкое, приятное ощущение... И никакой боли... И крик где-то надо мной: “Стреляй! Стреляй!” Нажимаю, а пулемет молчит, потом смотрю — рука висит, вся обгорела, было чувство, что я пальцем нажимаю, а пальцев нет...

Сознание не потерял, выполз вместе со всеми из машины, мне наложили жгут. Надо идти, ступил два шага и упал. Потерял где-то полтора литра крови. Слышу:

— Нас окружают...

Кто-то сказал:

— Надо его бросать, а то все погибнем.

Я просил:

— Пристрелите меня...

Один парень сразу отошел, второй автомат передернул, но медленно. А когда медленно, патрон может стать на перекокс. И вот патрон стал на перекокс, он автомат бросает:

— Не могу! На, сам...

Я подтянул автомат к себе, но одной рукой ничего не сделаешь.

Мне повезло: там был овражек маленький, я в нем за камнями лежал. Меня прикрывал гладкий большой валун. Душманы ходят рядом и не видят. Мысль: как только они меня обнаружат, надо чем-то себя убить. Нашупал один камень, подтянул к себе, примерился...

Утром меня нашли наши. Те двое, что ночью сбежали, несли меня на бушлате. Понял: боятся, чтобы я не рассказал правду. А мне уже было все равно. В госпитале положили сразу на стол. Подошел хирург: “Ампутация...” Проснулся, почувствовал, что руки у меня нет... Там разные лежали: без одной руки, без обеих рук, без ноги. Плакали втихаря. И в пьянку ударялись. Я стал учиться держать карандаш левой рукой.

Приехал домой к деду, больше никого у меня нет. Бабка в плач: внук любимый без руки остался. Дед на нее прикрикнул: “Не понимаешь политики партии”. Знакомые встречают:

— Дубленку привез? Магнитофон японский привез? Ничего не привез... Разве ты был в Афганистане?

Мне бы автомат привезти!

Стал своих ребят искать. Он был там, я был там — у нас один язык. Свой язык. Мы понимаем друг друга. Вызывает меня ректор: “Мы тебя в институт с тройками приняли, стипендию дали. Не ходи к ним... Зачем вы на кладбище собираетесь? Беспорядок”. Нам первое время не разрешали собираться вместе. Нас боялись, мол, слухи нездоровые распространяем. Шумок. Ну, и если мы организуемся, мы будем воевать за свои права. Нам надо давать квартиры, мы заставили помогать матерям тех ребят, которые лежат в могилах. Потребуем поставить памятники, ограды на этих могилах. А кому это, скажите, надо? Нас уговаривали ребята, вы не очень распространяйтесь о том, что было, что видели. Государственная тайна! Сто тысяч солдат в чужой стране — тайна. Даже какая жара в Кабуле — тайна...

Война не делает человека лучше. Только хуже. Это однозначно. Я никогда не вернусь в тот день, когда ушел на войну. Не стану тем, кем был до войны. Как я могу стать лучше, если я видел... как за чеки покупают у медиков два стакана мочи желтушника. Выпил. Заболел. Комиссовали. Как отстреливают себе пальцы. Как уродуют себя затворами пулеметов. Как... Как... Как в одном самолете возвращаются домой цинковые гробы и чемоданы с кожихами, джинсами, женскими трусиками... Китайским чаем...

Раньше у меня дрожали губы при слове Родина. Теперь я такой клятвы не дам. Бороться за что... За что бороться? Кому все это сказать? Воевали — воевали. Ну и нормально. А, может, и за дело воевали? У нас каждое поколение получает свою войну. Газеты напишут, что все правильно. И будет правильно. А с другой стороны, начинают писать, что мы убийцы. Кому верить? Я не знаю. Я никому не верю уже. Газеты? Я их не читаю. И даже их не выписываю. Сегодня мы одно пишем, завтра другое. Время такое... Перестройка... Много правд... А где одна, моя правда? Вот есть друзья. Одному, двум, трем — верю. Могу во всем положиться. А больше — никому. Я уже шесть лет здесь, я все это вижу...

Дали мне инвалидную книжечку — положены льготы! Подхожу к кассе для участников войны:

— Ты куда, пацан? Перепутал.

Зубы стисну, молчу. За спиной:

— Я Родину защищал, а этот...

Незнакомый кто спросит:

— Где рука?

— По пьянке под электричку попал. Отрезало.

Тогда понимают. Жалеют.

У Валентина Пикуля в романе: “Честь имею (Исповедь офицера российского Генштаба)” недавно прочел: “Сейчас (имеются в виду позорные последствия русско-японской войны 1905 года) многие офицеры подают в отставку, ибо везде, где ни появятся, их подвергают презрению и насмешке. Дело доходит до того, что офицер стыдится носить свой мундир, стараясь появляться в штатском. Даже израненные калеки не вызывают сочувствия, а безногим нищим подают намного больше, если они говорят, что ногу отрезало на углу Невского и Литейного трамваем, а к Мукдену и Ляояну они никакого отношения не имеют”. Скоро о нас так напишут...

Мне кажется, что теперь я могу даже Родину поменять... Уехать...

Рядовой, связист

— Сам просился... Мечтал попасть на эту войну... Было интересно...

Представлял себе, как там. Хотел узнать, что это такое, когда у тебя одно яблоко и двое друзей, ты голодный и они голодные, и ты это яблоко отдаешь. Я думал, что там все дружат, что там все братья. За этим туда ехал.

Вышел из самолета, тарашусь на горы, а дембель (в Союз уже парень летел) в бок толкает:

— Давай ремень.

— Чего?! — Ремень у меня был свой, фарцовый.

— Дурак, все равно заберут.

Забрали в первый же день. А я думал: “Афганистан — это все дружат”. Идиот! Молодой солдат — это вещь. Его можно поднять ночью и бить, колотить стульями,

палками, кулаками, ногами. Его можно ударить, избить в туалете днем, забрать рюкзак, вещи, тушенку, печенье (у кого есть, кто привез). Телевизора нет, радио нет, газет нет. Развлекались по закону слабого и сильного. “Постирай, чижик, мне носки”, — это еще ничего, а вот другое: “А ну-ка, чижик, оближи мне носки. Оближи хорошенько, да так, чтобы все видели”. Жара под семьдесят градусов, ходишь и шатаешься... Тебя носит в разные стороны... Но во время боевых операций “деды” шли впереди, прикрывали нас. Спасали. Это правда. Вернемся в казарму: “А ну-ка, чижик оближи мне носки...”

А это страшнее, чем первый бой... Первый бой — интересно! Смотришь как художественное кино. Сотни раз в кино видел, как в атаку идут, а оказалось — выдумка. Не идут, а бегут, бегут не трусцой, красиво пригнувшись, а изо всех сил, а сил тогда у человека как у сумасшедшего, и петляешь, как бешеный заяц. Раньше любил парады на Красной площади, как идет военная техника. Любил это... Теперь знаю: восхищаться этим нельзя, такое чувство, что скорее бы эти танки, бронетранспортеры, автоматы поставили на место, зачехлили. Скорее бы. Потому что это все для того, чтобы человека уничтожить... В пыль его! В глину! Такого, как ты... Еще лучше — пройти по Красной площади всем афганским “протезникам”... Я бы пошел... Смотрите! У меня обе ноги выше колена отрезаны... Если б ниже колен... Удача! Я счастливый человек был бы... Я завидую тем, у кого ниже колен... После перевязок дергаешься час-полтора, такой маленький вдруг становишься без протезов. Лежишь в плавающих и в тельняшке десантника, тельняшка получается с тебя ростом. Первое время никого к себе не подпускал. Молчал. Ну, хотя бы одна нога осталась, а то ни одной. Самое трудное забыть, что у тебя были две ноги... Из четырех стен можно выбрать одну, ту, где окно...

Матери поставил ультиматум: “Если будешь плакать, ехать не надо”. Я и там больше всего боялся: убьют меня, привезут домой — мать будет плакать. После боя раненого жалко, а убитого нет, только маму его жалко. В госпитале хочу сказать нянечке спасибо, а не могу, даже слова забыл.

— В Афганистан опять пошел бы?

— Да.

— Почему?

— Там друг — друг, а враг — враг. А тут — постоянный вопрос: за что погибли мои друзья? За этих сытых спекулянтов? Чиновников? Или молодых пофигистов, которым все до лампочки. Была бы банка пива с утра. Здесь все не так. Чувствую себя посторонним. Чужаком.

Учусь ходить. Сзади меня подсекут. Упал. “Спокойствие, — говорю себе. — Команда первая — поворачивайся и выжимайся на руках, команда вторая — вставай и иди”. Первые месяцы больше подходило-- не иди, а ползи. Полз. Самая яркая картинка оттуда: черный мальчишка с русским лицом... Там их много. Ведь мы там с семьдесят девятого года... Семь лет... Я туда поехал бы... Обязательно! Если бы не две ноги выше колена... Хотя бы ниже колена...

Я туда поехал бы...

Рядовой, минометчик

— Я сам себя спрашивал: почему я оказался там?

Ответов сто... Но главный вот в этих стихах, не запомнил только, чьи они... Может, кто-то из наших ребят сочинил?

Две вещи на свете, словно одно:
Во-первых, женщины, во-вторых, вино.
Но слаще женщин, вкуснее вина
Есть для мужчины — война.

Завидовал коллегам, побывавшим в Афганистане: у них накопился колоссальный опыт. Где в мирной жизни его приобретешь? Я –хирург... Позади было уже десять лет работы хирургом в городской больнице большого города, но пришел первый транспорт с ранеными, и я чуть с ума не сошел. Рук нет, ног нет, лежит обрубок, который дышит. В садистских фильмах такое не увидишь. Делал там операции, о которых в Союзе только мечтать можно. Молодые медсестры не выдерживали. То плачет так, что заикаться начинает, то хохочет. Одна стояла и все время улыбалась. Их отправляли домой.

Человек умирает совсем не так, как в кино. Не по Станиславскому человек умирает. Попала пуля в голову — взмахнул руками и упал. А на самом деле: попала пуля в голову, мозги летят, а он за ними бежит, может полкилометра бежать, и их ловит. Это за пределом. Он бежит, пока не наступит физиологическая смерть. Легче было бы застрелить, чем смотреть и слышать, как он всхлипывает или лежит и просит смерти, как избавления. Если у него остались еще какие-то силы. Другой лежит, к нему подкрадывается страх... Сердце начинает тарыхтеть... Кричит, зовет... Проверишь... Успокоишь... А мозг ждет момента, когда человек расслабится... Не успеешь отойти от кровати, мальчишки — нет. А только что был...

Эти воспоминания... Они забудутся не скоро... Подрастут эти мальчишки-солдаты, они все переживут заново. Поменяются их взгляды, что-то забудется, а что-то всплывет из запасников. Мой отец во Вторую мировую войну был летчиком, но он ничего не рассказывал... Всегда на эту тему молчал... Тогда я его не понимал, а сейчас понимаю. Уважаю за его молчание. Вспоминать... Как в костер руку сунуть... Достаточно слова, намек... Читаю вчера в газете: защищался до последнего патрона, последним патроном — застрелил себя. Что такое — застрелить себя? В бою вопрос ребром: ты — или он? Ясно, что ты должен остаться. Но все ушли, а ты их прикрываешь, тебе приказали или ты сам решил, почти наверняка зная, что выбрал смерть. Я уверен, что психологически в ту минуту это нетрудно. В той обстановке самоубийство воспринимается как нормальное явление, на него многие способны. Их называют потом героями. Это...Тут...В обычной жизни самоубийцы — ненормальные люди. А там? Там все наоборот... Другие законы... Всего две газетные строки, а ночь глаз не сомкнешь, все в тебе поднимается. Возвращается.

Тем, кто там был, не захочется второй раз воевать. Нас не обманешь, что мясо растет на деревьях. Какими бы мы ни были — наивные, жестокие, любящие жену и детей, не любящие жену и детей, — мы все равно убивали. Я понял свое место в иностранном легионе, но ни о чем не жалею. Сейчас все заговорили о чувстве вины. У меня его нет. Виноваты те, кто нас туда послал. С удовольствием ношу афганскую форму, чувствую себя в ней мужиком. Женщины в восторге! Однажды надел и пошел в ресторан. Администратор остановила на мне свой взор, а я этого ждал:

— Что, одет не по форме? А ну, дорогу — обожженному сердцу...

Пусть кто-нибудь мне скажет, что моя полевая военная форма ему не нравится, пусть пикнет. Почему-то я ищу этого человека...

Военврач

— Первую я родила девочку...

Перед ее рождением муж говорил, мол, все равно, кто будет, но лучше девочка, потом у нее появится братик, а она будет ему шнурочки на ботиночках завязывать. Так и получилось...

Муж позвонил в больницу. Ответили:

— Дочка.

— Хорошо. Две девочки будут.

Тут ему сказали правду:

— Да сын у вас... Сын!

— Ну, спасибо! Ну спасибо вам!

За сына стал благодарить.

Первый день... Второй... Всем приносят нянечки детей, а мне нет. Никто ничего не говорит. Стала я плакать, поднялась температура. Пришла врач. “Что вы, мамочка, расстраиваетесь? У вас настоящий богатырь. Он еще спит, не просыпается. Еще не проголодался. Вы не волнуйтесь”. Принесли, развернули его, он спит. Тогда я успокоилась.

Как назвать сына? Выбирали из трех имен--Саша, Алеша, Миша. Все нравятся. Приходят ко мне дочка с отцом, и Танечка сообщает: “Я зебий тянула...” Что за “зебий”? Оказывается, они набросали бумажки в шапку и жребий тянули. Два раза вытянули “Сашу”. Это у нас Танечка решила. Родился он тяжелый — четыре килограмма пятьсот граммов. Большой — шестьдесят сантиметров. Пошел, помню, в десять месяцев. В полтора года уже хорошо говорил, но до трех лет не ладилось у него с буквами “р” и “с”. Вместо “я сам” получалось “я шам”. Своего друга звал Тиглей” вместо Сергей. Воспитательница детского сада Кира Николаевна была у него “Килой Калавной”. Увидел первый раз море, закричал: “Я не родился, меня морской волной на берег выбросило.”

В пять лет я подарила ему первый альбом. Их у него четыре — детский, школьный, военный (когда он в военном училище учился) и “афганский” --из тех фотографий, что он присылал. У дочки свои альбомы, я каждому дарила. Я любила дом, детей. Стихи им писала:

Пробился сквозь весенний снег
Подснежника росток.
Когда весна взяла разбег,
Родился мой сынок...

В школе меня ученики раньше любили. Я была радостная...

Долго любил играть в казаки-разбойники: “Я смелый”. Ему было пять лет, Танечке девять, мы поехали на Волгу. Сошли с парохода, от пристани до дома бабушки полкилометра. Саша встал, как гвоздик:

— Не пойду. Бери меня на руки.

— Такого большого, да на руках?!

— Не пойду, и все.

И не пошел. Это мы ему все время вспоминали.

В детском саду любил танцевать. Были у него такие красные штанишки, шаровары. Он в них сфотографировался. Фотографии эти есть. Собирал марки до восьмого класса — остались альбомы с марками. Потом стал собирать значки — осталась коробка со значками. Увлекался музыкой. Остались кассеты с его любимыми песнями...

Все детство мечтал стать музыкантом. Но, видно, вросло, впиталось в него то, что отец — военный, что жили мы всю жизнь в военном городке: он с солдатами кашу ел,

машины с ними чистил. Никто не сказал ему “нет”, когда он отослал документы в военное училище, наоборот: “Будешь, сынок, Родину защищать”. Он хорошо учился, в школе всегда активистом был. Училище тоже закончил отлично. Нам благодарности командование присылало.

Восемьдесят пятый год... Саша в Афганистане... Мы им гордимся, восхищаемся — он на войне. Я рассказываю своим ученикам о Саше, о его друзьях. Ждем, когда приедет в отпуск. Почему-то о плохом не думается...

До Минска мы жили в военных городках, и осталась привычка: когда дома, не закрывать дверь на ключ. Он входит без звонка и говорит: “Вы телемастера не вызывали?” Из Кабула они с друзьями прилетели в Ташкент, оттуда смогли взять билеты до Донецка, ближе не было. А из Донецка (Минск не принимал) вылетели в Вильнюс. В Вильнюсе поезд надо было ждать три часа, это им долго, когда дом рядом, каких-то двести километров. Они взяли такси.

Загорелый, худой, только зубы светятся:

— Сыночек, — плачу, — какой ты худющий!

— Мапочка, — поднял и кружит меня по комнате, — я живой! Я жив, мамочка! Понимаешь, жив!

Через два дня — Новый год. Под елку он спрятал нам подарки. Мне платок большой. Черный.

— Зачем ты, сыночек, черный выбрал?

— Мапочка, там были разные. Но пока моя очередь подошла, только черные остались. Посмотри, он тебе идет...

В этом платке я его хоронила, два года не снимала.

Он всегда любил делать подарки, называл их “сюрпризиками”. Были они еще маленькие, приходим с отцом домой — нет детей. Я к соседям, я на улицу, нет детей и никто их не видел. Как я закричу, как я заплачу! Открывается коробка из-под телевизора (купили телевизор и коробку не успели выбросить), вылезают оттуда мои дети: “Ты чего плачешь, мамочка?” Они накрыли стол, заварили чай, ждали нас, а нас нет. Саша придумал “сюрпризик” — спрятаться в коробку. Спрятались и заснули там.

Был ласковый, мальчики редко бывают такими ласковыми. Всегда поцелует, обнимет: “Мамочка... Мамулечка...” После Афганистана еще нежнее стал. Все ему дома нравилось. Но были минуты, когда сядет и молчит, никого не видит. По ночам вскакивал, ходил по комнате. Один раз просыпаюсь от крика: “Вспышки! Вспышки! Мамочка, стреляют...” Другой раз слышу ночью: кто-то плачет. Кто может у нас плакать? Маленьких детей нет. Открываю его комнату: он обхватил голову двумя руками и плачет...

— Сыночек, что ты плачешь?

— Страшно, мамочка. — И больше ни слова. Ни отцу, ни мне.

Уезжал как обычно. Напекла ему целый чемодан орешков — печенье такое. Его любимое. Целый чемодан, чтобы на всех хватило. Они там скучали по-домашнему. По своему.

Второй раз он тоже приехал на Новый год. Сначала ждали его летом. Писал: “Мамочка, заготовливай побольше компотов, вари варенье, приеду, все поем и выпью”. С августа перенес отпуск на сентябрь, хотел в лес пойти, лисички собирать. Не приехал. На ноябрьские праздники его тоже нет. Получаем письмо, мол, как вы думаете, может, мне лучше опять приехать на Новый год: уже елка будет, у папы день рождения в декабре, а у мамы — в январе?

Тридцатое декабря... Целый день дома, никуда не выхожу. Перед этим было письмо: “Мамочка, заказываю тебе заранее вареники с черникой, вареники с вишней и

вареники с творогом”. Вернулся муж с работы, решили: теперь он ждет, а я в магазин съезжу, гитару куплю. Утром как раз открытку получили, что гитары поступили в продажу. Саша просил: не надо дорогую, купите обычную, дворовую.

Вернулась из магазина, а он дома.

— Ой, сыночек, прокараулила!

Увидел гитару:

— Какая гитара красивая, — и танцует по комнате. — Я дома. Как у нас хорошо! В нашем подъезде даже запах особенный.

Говорил, что у нас самый красивый город, самая красивая улица, самый красивый дом, самые красивые акации во дворе. Он любил этот дом. Теперь нам жить здесь тяжело — все напоминает о Саше, и уехать трудно — он тут все любил.

Приехал он на этот раз другой. Это не только мы, дома, но и все его друзья заметили. Он им говорил:

— Какие вы все счастливые! Вы даже себе не представляете, какие вы все счастливые! У вас праздник каждый день.

Я пришла с новой прической из парикмахерской. Ему понравилось:

— Мамочка, ты всегда делай эту прическу. Ты такая красивая.

— Денег, сыночек, много надо, если каждый день.

— Я привез деньги. Берите все. Деньги мне не нужны.

У друга родился сын. Помню, с каким лицом он попросил: “Дай подержать”. Взял на руки — и замер. К концу отпуска у него разболелся зуб, а зубного врача он боялся с детства. За руку потащила в поликлинику. Сидим, ждем, когда вызовут. Смотрю — у него на лице пот от страха.

Если по телевизору шла передача об Афганистане, он уходил в другую комнату. За неделю до отъезда у него тоска в глазах появилась, она из них выплескивалась. Может, это мне сейчас так кажется? А тогда я была счастливая: сын в тридцать лет майор с орденом Красной Звезды приехал. В аэропорту смотрела на него и не верила: неужели этот красивый молодой офицер — мой сын? Я им гордилась.

Через месяц пришло письмо. Он поздравил отца с Днем Советской Армии, а меня благодарил за пироги с грибами. После этого письма со мной что-то случилось... Не могу спать... Вот лягу... Лежу... До пяти утра лежу с открытыми глазами...

Четвертого марта вижу сон... Большое поле, и по всему полю белые разрывы... Что-то вспыхивает... И тянутся длинные белые ленты... Саша мой бежит, бежит... Мечется... Негде ему спрятаться... И там вспыхнуло... И там... Я бегу за ним... Хочу его обогнать... Хочу, чтобы я впереди, а он за мной... Как когда-то с ним маленьким в деревне попали мы в грозу... Я его прикрыла собой, он подо мной тихонько скребется, как мышонок: “Мамочка, спаси меня!” Но я его не догнала... Он такой высокий, и шаги у него длинные-длинные... Бегу из всех сил... Вот-вот сердце разорвется... А догнать его не могу...

...Стукнула входная дверь. Заходит муж. Мы с дочкой сидим на диване. Он идет к нам через всю комнату в ботинках, пальто, шапке. Такого никогда не было, он у меня аккуратный, потому что всю жизнь в армии, везде у него дисциплина. Подошел и опустился перед нами на колени:

— Девочки, у нас беда...

Тут я вижу, что в прихожей еще люди есть. Заходят медсестра, военком, учителя из моей школы, знакомые мужа...

— Сашенька! Сыночек!!!

Уже три года... А мы до сих пор не можем открыть чемодан... Там Сашины вещи... Привезли вместе с гробом... Мне кажется, что они Сашей пахнут.

Его сразу ранило пятнадцатью осколками. Он только успел сказать: “Больно, мамочка”.

За что? Почему он? Такой ласковый. Добрый. Как это его нет? Медленно убивают меня эти мысли. Я знаю, что умираю, — нет больше смысла жить. Иду к людям, тащу себя к людям... Иду с Сашей, с его именем, рассказываю о нем... Выступала в Политехническом институте, подходит ко мне одна студентка и говорит: “Меньше бы этого патриотизма в него напихали, был бы жив”. Мне плохо стало после ее слов. Я там упала.

Я ради Саша ходила...Ради его памяти...Я им гордилась... А теперь говорят, что роковая ошибка, никому это не надо было: ни нам, ни афганскому народу. Раньше я ненавидела тех, кто Сашу убил... Теперь ненавижу государство, которое его туда послало. Не называйте имени... Он теперь только наш... Никому его не отдам...Даже память о нем...

(Через несколько лет она мне позвонит.)

Я хочу продолжить свой рассказ...В нем не было концовки...Я тогда не закончила...Еще была не готова... Но... Я, конечно, не молода...Но полгода назад мы взяли из детдома мальчика. Зовут его Саша... Он очень похож на нашего Сашу маленького. Вместо «я сам» говорит «я шам». И с буквами «р» и «с» у него не ладится. Мы вернули себе сына... Вы меня понимаете? Но я поклялась и взяла клятву с мужа, что военным он у нас никогда не будет...

Никогда!!

Мать

— Я стрелял... Стрелял, как все. Не знаю, как это устроено, как устроен этот мир... Я стрелял...

Наша часть стояла в Кабуле... *(Вдруг смеется)*. У нас была изба-читальня – это огромный туалет, мама не горюй, яма двадцать метров на пять и туда в глубину метров шесть, там эти сорок очков, перегородки из досок и на каждой перегородке на гвозде висели «Правда», «Комсомольская Правда», «Известия». Штаны спускаешь, сигарету в зубы, прикурил и сидишь, читаешь. Находишь про Афган... Правительственные афганские войска вошли туда-то... Взяли то-то... О нас ни слова, бля... А наших пацанов вчера сорок человек полностью искромсало, с одним я два дня назад сидел тут на очке и эти газеты читал. Ржали. Ё-моё!!! Взять ствол в рот – и мозги навывлет! Депрессуха жесткая. Всюду враньё... Казарма обрыдла...Жратва такая, что блевать хочется, радость одна — на войну поехать. В рейд, на задание. Убьют или не убьют, мы рвались на боевые не потому, что родина, долг, а не хватало впечатлений. Месяцами сидели за проволокой. Четыре месяца жрали одну гречку, завтрак, обед, ужин — одна гречка. А на боевых выдают сухпаёк, там тушёнка, иногда даже шоколад «Алёнка». После боя пошманаешь убитых духов, и, глядишь, разжился: банка джема, хорошие консервы и сигареты с фильтром, Боже мой! — «Мальборо», а у нас – «Охотничьи». Наверное, уже слышали? На пачке мужик с палкой идет по болоту, называли их «Смерть на болоте». Еще были сигареты «Памир» — это «Смерть в горах». Я в Афгане впервые попробовал крабов, американскую тушёнку... Дорогую сигару выкурил... Можно было по пути и в дукачик зайти, что-то свистнуть, не от того, что мы такие мародёры, а человек всегда хочет послаще пожрать и побольше поспать. А нас от мамки взяли и сказали, мол, вперед, пацаны, священный долг, вы обязаны, вам по восемнадцать лет. Ё-моё!

Привезли сначала в Ташкент... Вышел замполит, с таким пузом... и, мол, пишите, кто хочет в Афган, пишите рапорт. Пацаны строчили: «Прошу направить...», а я не писал, но на следующий день нам всем выдали паёк, финансовое довольствие, погрузили в машины и привезли на пересыльный пункт. Вечером на пересылке старослужащие подходят и говорят: «Так, мужики, давайте деньги советские сюда, там куда вас посылают, афгани». Что за херня? Везут, как баранов... Кто-то рад, он сам попросился, другой не хочет, у него истерика, плачет, кто-то одеколона нахлебался. Бля...! На меня опустошение нашло, мне стало все равно. «Ну, черт, — думаю, — а почему специальную подготовку не прошли? Ё-моё! Везут же на настоящую войну». Стрелять и то не научили... Сколько стрелял на занятиях? Три одиночных и шесть очередью... Мама не горюй! Первые впечатления от Кабула... Песок, полный рот песка... И в день приезда в караулке меня отдубасили дембеля... И пошло с утра: «Бегом сюда! Посуду помыл? Бегом! Стоять! Фамилия?» Били не по лицу, чтобы офицеры не заметили, били в грудь, в солдатскую пуговичку, она, как грибочек, легко вминалась в кожу. Когда попадал на пост, я был счастлив: ни «дедов», ни дембелей, меня два часа никто не трогал. За четыре дня до нашего прибытия «молодой» подошел к палатке дембелей, бросил туда гранату, семь дембелей просто так, чирк! — как не было. А сам потом себе ствол в рот — и мозги навывлет. Списали на боевые потери... Война-матушка, она все спишет... Ё-моё! После ужина «деды» подзывают: «Так, Москва (я из Подмосковья) – картошечки. Засаекаем время — сорок минут. Пошел!» — И пинка под зад. Вопрос: «А где я ее возьму?» Ответ: «Жить хочешь?» Картошечка должна быть с лучком, перчиком и подсолнечным маслом, называлась она «гражданочка». И еще с лавровым листочком сверху. Я опоздал на двадцать минут, меня отхерачили... Мама не горюй! Нашел я эту картошку у вертолетчиков, там сидели “молодые” и чистили картошку для офицеров, я просто попросил: «Мужики, дайте, а то убьют нахер.» Дали полведра. «За маслицем, — под-сказали, — подойди к нашему повару. Узбеку. Напой про дружбу народов, он любит». Узбек дал мне масло и лучка с барского плеча. В овраге на костре я это дело жарил, а потом бежал, чтобы холодную сковородку не принести... Сейчас, когда читаю про афганское братство, ржать охота. Когда-нибудь снимут про это братство фильм и все поверят, а я, если пойду на него, то только, чтобы увидеть афганские пейзажи. Поднимешь голову — горы! Фиолетовые горы. Небо! А ты, как в тюрьме. Духи не убьют, так свои прибьют. Я зэку в Союзе потом рассказывал, он не верил, чтобы свои так издевались над своими: «Не может быть!!!» А он десять лет отсидел. Навидался! Бля...! Чтобы крыша не съехала. Не скурвиться! Одни пили, другие курили... Травку... Пили самогон... Самогон гнали из того, что достанешь: изюм, сахар, шелковица, дрожжи, хлебушка набросаешь. Когда сигарет не хватало, вместо табака пользовались чаем, в газету его заворачивали, вкус – гавно! Но дым есть. Чарс, конечно... Чарс – это пыльца конопля... Один попробует, будет смеяться, ходит и сам себе смеётся, другой под стол залезет и сидит там до утра. Без этого... Без наркотиков и самогонки чердак бы съехал... Тебя ставят на пост и дают два магазина патронов, если что-то начнется, то шестьдесят патронов это полминуты хорошего боя. Снайперы у духов были такие обученные, что они стреляли на дым сигареты, на вспышку спички.

Я понял... Я вам больше не про войну, а про человека рассказываю. Про того человека, про которого в наших книжках мало пишут. Боятся его... Прячут... Про человека биологического... Без идеи... От слов «героизм» и «духовность» меня мутит. Выворачивает. (*Молчит*).

Так... Продолжим... Я больше страдал от своих, «духи» делали из тебя мужчину, а свои делали из тебя гавно. Только в армии я понял, что любого человека можно сломать, разница только в средствах и в отпущенном времени. Лежит «дед», он полгода отслужил,

пузо вверх, в сапогах лежит и зовет меня: «Оближи сапоги, дочиста оближи языком. Пять минут времени.» Я стою... Он: «Рыжего – сюда», а Рыжий – тот пацан, с которым мы вместе приехали, дружим. И вот стоят два козла и Рыжего метелят со страшной силой, я вижу — они ему позвонки перебьют. Он смотрит на меня... И начинаешь лизать сапоги, чтобы он жив остался, не искалечили. До армии я не знал: человеку так можно дать по почкам, что он задохнется. Это, когда ты один, за тобой никого нет... Тогда тебя хрен сломаешь.

У меня был друг... Кличка – Медведь, амбал под два метра ростом. Он вернулся из Афгана и через год повесился. Я не знаю... И никому он не доверился, никто не знает, от чего он повесился: от войны или от того, что убедился, какая человек скотина. На войне он вопросы эти не задавал себе, а после войны стал думать. Мозги съехали... Другой мой друг спился... Он писал мне, я два письма от него получил...Вроде того, что там, брат, была настоящая жизнь, а здесь полное гавно, там мы боролись и выживали, а здесь хрен что поймешь. Я один раз позвонил ему, он был в задницу пьяный... И второй раз пьяный... *(Закуривает)*. Помню, как приехали мы с Медведем в Москву на Казанский вокзал, четыре дня из Ташкента ехали, день и ночь пили. Телеграммы, чтобы нас встретили, забыли дать. Вышли на перрон в пять часов утра...В глаза ударили краски! Все в разное одеты – в красное, желтое, синее, бабы молодые, красивые. Бля...! Совершенно другой мир. Обалдели мы! Я вернулся восьмого ноября... А через месяц пошел учиться в университет, восстановился на второй курс. Мне повезло...Я забил свою голову... У меня не было времени копать в себе, надо было сессию сдавать от нуля. За два года все забыл, помнил только «Курс молодого бойца» — чистка картошки и бег на восемнадцать километров. Ноги стирались до колен. А он? Медведь приехал, а у него ничего. Ни специальности, ни работы. Мышление вокруг колбасное — главное, чтобы докторская колбаса была два рубля двадцать копеек и бутылка водки три шестьдесят две. Кого волнует, что парни возвращаются – у них мозги набекрень или с культей десять-двенадцать сантиметров, на жопе прыгают в двадцать лет. Не мой сын, ну и ладно. Система у нас такая: тебя в армии ломают и на гражданке. Ты попал в систему, как только тебя захватили зубья, ты будешь распилен, какой бы ты хороший не был, какие бы у тебя не грелись в душе мечты.*(Замолкает)*. У меня мало нужных слов... Очень мало... Хочу донести свою мысль: главное – не попасть в систему... А как мимо нее проскочить? Родине служить надо, комсомольский билет в кармане — это свято. В уставе написано: солдат обязан стойко и мужественно переносить все тяготы военной службы. Стойко и мужественно! Мама не горюй, одним словом. *(Замолчал. Потянулся к столу за новой сигаретой, но пачка уже была пустая)*. Блин! Уже на день пачки не хватает...

Надо исходить из того, что мы звери, и это звериное прикрыто тоненьким налетом культуры, сюси-пуси. Ах, Рильке! Ах, Пушкин! Скотина из человека выползает мгновенно... Глазом моргнуть не успеешь... Пусть только ему станет страшно за себя, за свою жизнь или у него появится власть. Маленькая власть. Малюсенькая! Армейская система рангов: до присяги — дух, после присяги — чижара, через полгода – черпак, от черпака до полутора лет – «дед», а от двух лет — дембель. А в самом начале ты дух бесплотный и жизнь твоя полная параша...

Но я стрелял... Стрелял, как все...Все равно это главное...Но думать про это не хочется...Я не умею про это думать...

Героин лежал у нас под ногами... Ночью маленькие пацанята спускались с гор и разбрасывали. А потом их, как ветром сдувало. Но мы травкой баловались, героин редко кто брал, там чистейший героин, один-два раза попробуешь и тебе – конец. Ты — на игле. Я себя держал. Ну, и второе условие выживания— ни о чем не думать!! Поел, поспал, сходил на задание. Увидел и тут же забыл, загнал в подполье. На потом... Я видел, как у

человека зрачки становятся величиной с глаз, из человека уходит жизнь... Зрачки расширяются... Темнеют... Увидел и тут же забыл. А сейчас с вами вспомнил...

Стрелял! Конечно, я стрелял. Ловил человека в прицел и... нажимал... Теперь я надеюсь, что много я не убил, я хотел бы так думать, потому что они... Они... родину защищали... Одного... Я хорошо его помню... Как я выстрелил, и он упал. Руки поднял вверх и упал... Одного запомнил... Боялся в рукопашную попасть, мне только рассказывали, как человека насаживаешь на железо и смотришь ему в глаза... Бля...! Мне Медведь по пьянке раскрылся, когда четыре дня из Ташкента в Москву ехали, он говорил: «Ты не представляешь, как человек хрипит, когда у него горлом идет кровь. Убивать надо научиться...» Человека, который ни кого не убивал, даже на охоту не ходил, надо научить убивать другого человека. Медведь рассказывал... Лежит “дух”, тяжело раненый, в живот раненый, но он живой, и командир берет нож десантника и дает ему: бери и добей, причем смотри ему в глаза. А знаете, почему это нужно? Чтобы ты потом убивал, не задумываясь, когда надо будет спасти своих товарищей. И первый раз тебе нужно все это пережить... Перешагнуть через это... Медведь... Он берет нож, ставит его к горлу... Раненому на грудь...И не может зарезать человека... Как это взять и проткнуть живую грудную клетку? Где сердце бьется...«Дух» водит глазами за ножом...Долго ничего не получается...Убивает долго. Первый раз плакал Медведь пьяный, он убивал долго...Забронировал себе место в аду...

Когда я учился в университете, я жил в общежитии, там много пьют, орут. На гитаре играют. Кто-нибудь постучит в дверь, я, как чумной, вскакиваю и за дверь становлюсь. В защите. Гром грянет или дождь забарабанит по подоконнику, у меня сердце скачет. Бутылку выпьешь, вроде нормально, скоро одной бутылки стало не хватать. Печень скрутило, печень начала вываливаться. Попал в больницу, там сказали: «Хочешь, парень, дожить хотя бы до сорока лет, бросай пить.» Я подумал: я женщину еще не знал, столько красивых девчонок ходит, а я тут возьму и загнусь. Так бросил пить. У меня появилась девушка...

Любовь...Категория не земная... Я не могу сказать, что я люблю. Сейчас я уже женат, у меня есть маленькая дочь, но я не знаю, что это – любовь или что-то другое, хотя я за них горло перегрызу, в асфальт вкопаю. Жизнь отдам!! Но что такое любовь? Люди признаются, что они любят, так они себе это представляют, но любовь — это дикая, кровавая и ежедневная работа. Любил ли я? Я честно скажу, не понял. Какие-то чувства я испытывал, внутренний подъём у меня был, какую-то работу, чисто духовную, не связанную с этой гавёной жизнью я проделывал, но любовь ли это или хрен знает что? На войне нас учили: «Надо любить родину». Родина приняла нас с широко распростертыми объятиями и в каждом кулаке у нее было по нокауту. Лучше задайте мне вопрос: был ли я счастлив? И я отвечу, что я был счастлив, когда шел по родной улице к дому после Афгана... Был ноябрь... Это был ноябрь, и мне в нос, в череп ударял и отдавался в пятках запах земли, которую я два года не видел, у меня ком в горле стоял, я не мог идти, потому что хотел плакать. После этого могу сказать: я в этой жизни был счастлив. Но любил ли я? Что это такое после того, когда ты видел смерть...А смерть всегда некрасивая... Что это такое--любовь? Я присутствовал при родах, когда моя жена рожала. В такие минуты необходим рядом близкий человек, и чтобы он держал руку. Теперь я каждую скотину мужского пола заставил бы стоять у бабы в голове, когда она рождает, когда у неё ноги рогаткой, и она вся в кровище, в дерьме. Поглядите, сукины дети, как ребенок на свет появляется. А вы так просто убиваете. Убить легко. Просто. Я думал, что сам в обморок упаду. Люди с войны приходят, а там в обморок падают. Женщина — не дверь, в которую можно войти и выйти. Два мира мою жизнь перевернули — война и женщина. Заставили задуматься, зачем я, сраный кусок мяса, пришел на эту землю.

Человек меняется не на войне, человек меняется после войны. Меняется он, когда смотрит теми же глазами, которыми видел то, что было там, на то, что есть здесь. В первые месяцы зрение двойное — ты и там, и здесь. Ломка происходит здесь. Теперь я готов подумать, что со мной там происходило... Охранники в банках, телохранители у богатых бизнесменов, киллеры, — все это наши ребята. Встречал, разговаривал и понял: они не захотели возвращаться с войны... Сюда возвращаться... Там им понравилось больше. Оттуда... После той жизни... Остаются непередаваемые ощущения... Самое первое-презрение к смерти, что-то выше смерти... “Духи” не боялись смерти, они, к примеру, знали что их завтра расстреляют — смеялись, как ни в чем не бывало, разговаривали между собой. Даже, казалось были рады. Веселы и спокойны. Смерть — это великий переход, её, как невесту, надо ждать. Так написано у них в Коране...

Лучше анекдот... А то застрашал писательницу. (*Смеется*). Ну, так... Мужик умирает и попадает в ад, оглядывается: людей в котле варят, пилят на столе... Идет дальше. А дальше стоит столик, за столиком сидят мужики и пиво пьют, в карты играют, в домино лупятся. Подходит к ним:

— Что это у вас — пиво?

— Пиво.

— Можно попробовать. — Пробует. И вправду пиво. Холодное. — А это что — сигареты?

— Сигареты. Хочешь закурить? Закуривает.

— Так что здесь у вас — ад или не ад?

— Конечно, ад. Расслабься. — Смеются. — Там, где варят и пилят — это ад для тех, кто его таким представляет.

По вере вашей воздастся. По вере... И внутренним молитвам... Если ждешь смерть, как невесту, она и придет к тебе невестою.

Один раз искал среди убитых знакомого парня... В морге солдаты, которые принимали убитых, их звали мародёрками, они из карманов все вытаскивали. Лежит парень с дыркой в груди или у него все кишки наружу, а они по карманам у него шарят. Всё подбирали: зажигалку, красивую авторучку, ножницы для ногтей, потом в Союзе девушке своей подарит. Мама не горюй!

Я столько видел разрушенных кишлаков, но ни одного детского сада, ни одной построенной школы или посаженного дерева, о которых писали в наших газетах. (*Молчит*).

Ждешь, ждешь письма из дома... Подруга прислала фото — по пояс в цветах стоит — лучше бы в купальнике! В бикини. Или хотя бы во весь рост, чтобы на ноги посмотреть... В юбке короткой... А политнасосы, это наши замполиты, нам про родину, про солдатский долг плели. На политзанятиях... А мы ночью лежим и тема номер один — про баб... У кого какая и что у кого было... Наслушаешься! У всех руки в одном месте... Мама не горюй! Там это... У афганцев... У них мужеложство — это нормально. Зайдешь один в дуكان: «Товарищ, иди... Иди сюда... Я тебя трахну в задницу и за это, что хочешь возьми. Платок матери возьми...» Фильмов мало привозили, единственное, что регулярно доставляли — газету «Фрунзенец» в большом количестве. Гарнизонная газета. Мы ее сразу несли в избу-читальню... Ну... Туда... Иногда удавалось поймать музыкальную программу, и когда мы слушали Людмилу Зыкину «Из далека долго течет река Волга», все плакали. Сидели и плакали.

Дома не мог построить нормальную фразу, тут же бля...! Мат-перемат... Мать первое время: «Сыночек, что же ты ничего не рассказываешь?» Что-то вспомнил... Мать меня перебивает: «А соседи наши устроили своего сына на альтернативную службу в больницу. Я бы от стыда сгорела, если бы мой сын за старухами горшки таскал. Разве это

мужик?» — «Знаешь, мать, — ответил я, — когда у меня будут дети, я сделаю все, чтобы они не служили в нашей армии.» Отец и мать посмотрели на меня, как на контуженного, и уже разговоров о войне со мной не заводили, особенно при знакомых. Я быстро сбежал из дома... Поехал учиться... Девушка меня ждала: "Ну — думаю, — завалю в первый день... В первый день трахну..." А она руку мою убирает с плеча: «Она вся у тебя в крови.» Так либидо мне и отрезала на три года, три года я боялся к женщине подойти. Ё-моё! Нас же воспитывали: ты должен родину защищать, девушку свою защищать... Ты – мужчина... Мне нравилась скандинавская мифология, я любил читать про викингов. У них позором считалось, если мужчина умирал в постели. Умирали в бою. С пяти лет мальчика приучали к оружию. К смерти. Война не время для вопросов: человек ты или тварь дрожащая? Назначение солдата — убивать, ты — инструмент для убийства. У тебя такое же предназначение, как у снаряда или у автомата. Это я сейчас философствую... Хочу понять себя...

Один раз пошел в афганский клуб на встречу... Больше не хожу. Всего один раз... Встреча была с американцами, с ветеранами вьетнамской войны. Сидели в кафе, за каждым столиком — один американец и трое русских. Тому, кто с нами сидел, один из наших пацанов выдает: «Я злой на американцев, потому что подорвался на американкой мине. У меня одной ноги нет.» А тот ему отвечает: «А в меня в Сайгоне попал осколок советского снаряда». Нормально! Мама не горюй! Выпили – обнялись, типа братья по оружию. И дальше пошло... Бухали по-русски: на брудершафт, на посошок... До меня там дошла одна простая вещь: солдат — он везде солдат, одинаковый, мясо оно и есть мясо. Мясной отдел. С одной только разницей: у них на завтрак – два вида мороженого, а у нас завтрак, обед, ужин – одна гречка. Фруктов вообще не видели, мечтали о яйцах и свежей рыбе. Луковую головку ели, как яблоко. Вернулся я из армии без зубов. Был декабрь, тридцатиградусный мороз. Парень этот из Калифорнии... Пошли мы его провожать в гостиницу. На нем пуховик, дутые перчатки, идет весь такой закутанный по Москве, а навстречу нам Ваня русский — тулуп расстегнут, тельняшка задралась до пупа, он без шапки и без варежек. «Привет, ребята!» — «Привет!» — «А это кто?» – «Американец.» О! мол, американец и пожал ему руку, по плечу похлопал. И пошел дальше. Поднялись мы в номер, американец молчит. «Шеф! Ты чего?» — Спрашиваем.--«Я в пуховике, в перчатках, а он голый. И рука у него теплая. С этой страной воевать нельзя.» Я отвечаю: «Конечно, нельзя. Трупам забросаем!» Мама не горюй! Пьем все, что горит, трахаем все, что шевелится, а не шевелится – расшевелим и все равно трахнем.

Я уже давно не говорю об Афгане... Эти разговоры мне неинтересны... Но если бы мне дали выбрать: ты узнаешь на войне вот это и вот это переживешь, но есть и другие варианты — можешь остаться мальчиком и не попасть туда – твой выбор? Все равно захотел бы пройти все заново и стать тем, кем я стал сейчас. Заново пережить, заново испытать. Благодаря Афгану, я нашел друзей... Встретился с женой и у меня такая великолепная маленькая дочь. Там я узнал, какое дерьмо во мне сидит и как оно глубоко запрятано. Вернулся и Библию прочел с карандашом и все время перечитываю. Хорошо поёт Галич, что бойся того, который скажет: я знаю – как? Я не знаю – как? Я сам ищу... Мне снятся фиолетовые горы. И столбы колючего песка...

Тут я родился... Родину, как любимую женщину, не выбирают, она даётся, если ты родился в этой стране, то сумей в ней и умереть. Подохнуть можно и погибнуть можно, но ты сумей умереть. Я хочу жить в этой стране, пусть она нищая, несчастная, но тут живет Левша, способный блоху подковать и мужики возле пивларька решают мировые проблемы. Она нас обманула... Но я ее люблю...

Я видел... Я теперь знаю, что дети рождаются светлыми... Они – ангелы...

— Вспышка... Фонтан света... И все...

Дальше ночь... Мрак... Открыл один глаз и ползаю по стене: где я? В госпитале... Дальше проверяю: руки на месте? На месте. Ниже... Трогаю себя руками... А где ноги? Мои ноги!!!

(Отворачивается к стенке и долго не хочет говорить).

Я забыл все, что было раньше... Тяжелейшая контузия... Всю свою жизнь забыл... Открыл паспорт и прочитал свою фамилию... Где родился. В Воронеже... Тридцать лет... Женат... Двое детей... Мальчики...

Ни одного лица не помнил...

(Еще раз надолго замолчал. Смотрит в потолок.)

Первая приехала мама... Говорит: “Я — твоя мама”. Я рассматривал ее... Я не мог ее вспомнить, но в то же время эта женщина не была мне чужая... Я понимал — она не чужая... Она рассказала про мое детство... Школу... Даже такие мелочи, какое у меня было хорошее пальто в восьмом классе, и как я его на заборе порвал... . Какие получал оценки... Четверки и были пятерки, но тройка по поведению. Хулиганил. Что больше всего любил гороховый суп... Я ее слушал и как будто сам себя видел со стороны...

Дежурная в столовой зовет:

— Садись в коляску... Повезу... К тебе жена приехала...

Стоит возле палаты красивая женщина... Глянул: стоит, пусть себе стоит. Где жена? А это была моя жена... Вроде знакомое мне лицо — но я его не узнаю...

Она рассказала про нашу любовь... Как познакомились... Как первые раз ее поцеловал... Привезла фотографии с нашей свадьбы... Как мальчики у нас родились... Двое мальчиков... Я слушал и не вспоминал, а запоминал... От напряжения... Начинались сильные головные боли... А кольцо... Где обручальное кольцо? Я вспомнил про кольцо... Посмотрел на левую руку — а пальцев нет...

Сынишек вспомнил по фотографии... Приехали другие... Мои и не мои... Беленький стал темненьким, маленький стал большим. Глянул на себя в зеркало: похожи!

Врачи обещают, что память может вернуться... Тогда у меня будет две жизни... Та, что мне рассказали... И та, что была... Тогда приезжайте, расскажу про войну...

Капитан, вертолетчик

— Огонь перемещался... Долго бродил по склону горы...

К вечеру к нам навстречу выскочило стадо овец. Ур-р-ра!! Подарок Аллаха. Аллах акбар! Мы голодные и уставшие после двух дней перехода, сухпаек давно съели. Остались одни сухари. А тут — потерянное стадо. Без хозяина. Не надо покупать или менять на чай и мыло (одна овца — килограмм чая или десять кусков мыла), не надо мародерствовать. Первым мы схватили большого барана, привязали его к дереву, тогда овцы никуда не уйдут. Этому мы уже научились... Запомнили.. Даже под бомбежкой овцы разбегутся, а потом прибьются назад. К вожаку. Дальше... Дальше мы выбрали самую жирную овцу... Повели...

Я много раз наблюдал, как безропотно это животное принимает смерть. Когда убивают свинью, теленка... Там другое... Они не хотят умирать. Вырываются, визжат. А овца не убегает, не кричит, не бьется в истерике, а молча идет... С открытыми глазами... Идет за человеком с ножом...

Это никогда не было похоже на убийство, а всегда напоминало ритуал.
Жертвенный ритуал...

Рядовой, разведчик

ДЕНЬ ВТОРОЙ

“А другой умирает с душою огорченной...”

Он снова позвонил. К счастью, я была дома...

--Я не думал звонить... Но зашел сегодня в автобус и услышал, как две женщины обсуждали: “Какие они герои? Они там детей, женщин убивали... Разве они нормальные? А их в школы приглашают, к нашим детям... Им еще льготы...” Выскочил на первой остановке... Мы были солдаты и выполняли приказ. За невыполнение приказа в условиях военного времени — расстрел! Под трибунал пойдешь! Конечно, генералы не расстреливают женщин и детей, но они отдают приказы. А сейчас мы во всем виноваты! Солдаты виноваты! Теперь нас убеждают: преступный приказ выполнять преступление. А я верил тем, кто отдавал приказы! Верил! Сколько я себя помню, меня все время учили верить. Только верить! Никто не учил меня: думай — верить или не верить, стрелять или не стрелять? Мне твердили: только крепче верь! Мы отсюда такими уехали, а не вернулись оттуда такими.

— Мы можем встретиться... Поговорить...

— Я могу говорить только с такими, как я. С теми, кто оттуда... Ты понимаешь? Да, я убивал, я весь в крови... Но он лежал... Мой друг, он мне братом был... Отдельно голова, отдельно руки... Кожа... Я попросился сразу опять в рейд... Увидел в кишлаке похороны... Было много людей... Тело несли в чем-то белом... Я в бинокль за ними наблюдал... И я приказал: “Стрелять!”

— Я думаю, как ты с этим живешь? Как тебе страшно?

— Да, я убивал... Потому что я хотел жить... Хотел вернуться домой... А теперь... Я вернулся живой и не хочу жить. Завидую мертвым... Мертвым не больно...

Разговор опять оборвался...

Автор

— Как во сне... Как будто я где-то это смотрел... В каком-то фильме... Такое теперь ощущение, что никого не убивал...

Сам поехал. Попросился... Спросите у меня: ради идеи или ради представления о самом себе? Конечно, второе. Хотел испытать себя, на что я способен. У меня большое “я”. Учился в институте, там себя не покажешь, не узнаешь, кто ты. Хотел стать героем, искал случая стать героем. Ушел со второго курса. Говорят... Я слышал... Мол, мальчишеская война... Воевали мальчики, недавние десятиклассники. На войне так всегда. И в Великую Отечественную было так. Для нас это как игра. Очень важным было твое самолюбие, твоя гордость. Смогу или не смогу. Он смог. А я? Этим были заняты, а не политикой. Я с детства готовил себя к каким-то испытаниям. Джек Лондон — мой любимый писатель. Настоящий мужчина должен быть сильный. Сильными становятся на войне. Моя девушка отговаривала: “Представь себе, чтобы что-нибудь подобное сказал Бунин или Мандельштам?” Из друзей никто меня не понял. Кто женился, кто восточной философией увлекся, кто йогой. Один я — на войну.

Вверху выгоревшие на солнце горы... Внизу девочка покрикивает на коз, женщина вешает белье... Как у нас на Кавказе... Даже разочаровался... Ночью — выстрел в наш костер: поднял чайник, под чайником пуля лежит. Война!! В переходах — жажда, мучительная, унижительная. Рот сушит, нельзя собрать слюну, чтобы проглотить. Кажется,

у тебя полный рот песка. Лизали росу, лизали собственный пот... Мне жить надо. Я жить хочу! Поймал черепаху. Острым камешком проткнул горло. Пил кровь черепахи. Другие не могли. Никто не мог. Пили свою мочу...

Понял, что способен убить... В руках оружие... В первом бою видел, как у некоторых бывает шок. Теряют сознание. Некоторых рвет даже при воспоминании, как они убивали. После боя висит на дереве ухо... По человеческому лицу течет человеческий глаз... Я выдерживал! Был среди нас охотник, хвастался, что до армии убивал зайцев, валил диких кабанов. Так вот его всегда рвало. Животное убить одно, человека — другое. В бою становишься деревянным... Холодный рассудок... Расчет... Мой автомат — моя жизнь... Автомат прирастает к телу... Как еще одна рука...

Велась партизанская война, большие бои — редкость. Всегда: ты и он. Становишься чутким, как рысенок. Пустил очередь — он сел. Ждешь. Кто теперь? Еще не услышал выстрела, а уже чувствуешь, как пролетела пуля. От камня к камню ползешь... Таишься... Гонишься за ним... Как охотник... Весь пружина... Не дышишь... Ловишь какой-то миг... Если бы сошлись, мог бы убить прикладом. Убил — острая мысль, что на этот раз остался жив. Я снова жив! Радости убить человека нету. Убиваешь, чтобы тебя не убили. Война — не только смерть, но и еще что-то. У войны даже свой запах... Свой звук...

Убитые разные... Одинаковых нет... Лежат в воде... В воде что-то происходит с мертвым лицом, какая-то улыбка у них у всех. После дождя они лежат чистые. Без воды, в пыли, смерть откровеннее. Форма на нем новенькая, а вместо головы сухой красный лист... Расплющило, как ящерицу, под колесом... Но я-то жив! Сидит у стенки... Возле дома... Рядом орехи наколоты... Сидит... С открытыми глазами... Некому было закрыть... После смерти... Десять-пятнадцать минут... Можно закрыть глаза... Потом нет... Глаза не закрываются... Но я-то жив! Другой нагнулся... Ширинка расстегнута... По нужде вышел... Даже еще... Капает... Как жили в тот момент, чем занимались, так и остались... Еще в этом мире, но уже там... Уже наверху... Но я-то жив! Готов потрогать себя, удостовериться. Птицы не боятся смерти. Сидят, смотрят. Дети не боятся смерти. Тоже сидят, смотрят спокойно, с любопытством. Как птицы. Я однажды видел, как орел наблюдал за боем... Как маленький сфинкс... В столовой ешь суп, глянешь на соседа и представляешь его мертвым. Одно время на фотографии близких не мог смотреть. Вернешься с задания — детей, женщин видеть невыносимо. Отворачиваешься. Потом проходит. Бежишь утром на физзарядку, штангой много занимался. Думал о форме, каким вернуться. Не высыпался, правда. Вши, особенно зимой. Матрацы дустом обсыпали.

Страх смерти я узнал дома. Вернулся, у меня родился сын. Страх: если я умру, мой сын будет расти без меня. Семь пуль своих запомнил... Могли, как у нас говорили, отправить к “верхним людям”... Но пролетели мимо... Даже такое чувство, что не доиграл... Недовоевал...

Вины на мне нет, кошмаров не боюсь. Всегда выбирал честный поединок: он и я. Когда увидел, как бьют пленного... Бьют вдвоем, а он связанный... Лежит, как тряпка... Я их разогнал, не дал бить... Таких презирал... Берет автомат и стреляет в орла... В морду одному заехал... Птицу — за что?

Родные спрашивали:

— Как там?

— Ладно. Извините. Потом расскажу.

Окончил институт, работаю инженером. Я хочу быть просто инженером, а не ветераном афганской войны. Вспоминать не люблю. Хотя я не знаю, что будет с нами, с поколением, которое выжило. Выжило на войне, которая никому была не нужна. Никому!! Ни... Ни... Наконец, выговорился... Как в поезде... Сошлись незнакомые люди,

поговорили и вышли на разных станциях. Руки дрожат... Почему-то волнуясь... А мне казалось, что я легко вышел из игры. Будете писать, моей фамилии не называйте...

Я ничего не боюсь, но я не хочу больше во всей этой истории находиться...

Командир взвода пехоты

— В декабре у меня намечалась свадьба... За месяц до свадьбы... В ноябре я уехала в Афганистан. Призналась жениху — рассмеялся: “Защищать южные рубежи нашей Родины?” А когда поверил, что не шучу: “Тебе что, здесь спать не с кем?”

Ехала сюда, думала: “Не успела на БАМ, на целину, повезло — есть Афган!” Я поверила песням, которые привозили ребята, целыми днями крутила:

На афганской земле
За прошедшие годы немало
Разбросала по скалам
Россия своих сыновей...

Была книжная московская девочка. Мне казалось, что настоящая жизнь где-то далеко. И там мужчины все сильные, женщины красивые. Много приключений. Хотелось вырваться из привычного...

Три ночи добиралась до Кабула, не спала. На таможне решили: нанюхалась. Помню, со слезами кому-то доказывала:

— Я не наркоманка. Я спать хочу.

Тащу тяжелый чемодан — мамино варенье, печенье, — и никто из мужчин не поможет. И это не просто мужчины, это молодые офицеры, красивые, сильные. А за мной всегда ухаживали мальчики, боготворили. Искренне удивилась:

— Помогите кто-нибудь?!

Они так на меня посмотрели...

Еще три ночи сидела на пересылке. В первый же день подошел прапорщик:

— Хочешь остаться в Кабуле, приходи ночью...

Толстенький, упитанный. Кличка- Баллон.

Взяли меня в часть машинисткой. Работали на старых армейских машинках. В первые же недели в кровь разбила пальцы. Стучала в бинтах — ногти отделялись от пальцев.

Через пару недель стучит ночью в комнату солдат:

— Командир зовет.

— Не пойду.

— Чего ломаешься? Не знала, куда ехала?

Утром командир пригрозил сослать в Кандагар. Ну и разное...

Что такое Кандагар?
Мухи, “духи” и кошмар...

Боялась в эти дни попасть под машину... Выстрела в спину... Что побьют...

По соседству в общежитии жили две девчонки: одна отвечала за электричество, прозвали ее Электричкой, вторая занималась химводоочисткой — Хлорка. На все у них одно объяснение:

— Это жизнь...

Как раз в это время в “Правде” напечатали очерк “Афганские мадонны”. Из Союза девочки писали: он всем понравился, некоторые даже пошли в военкомат проситься в Афганистан. В школах на уроках читали. А мы не могли спокойно пройти мимо солдат, те ржали: “Бочкаревки”, вы, оказывается, героини?! Выполняете интернациональный долг в кровати!” Что такое “бочкаревки”? В бочках (такие вагончики) живут большие звезды, не ниже майора. Женщин, с которыми они... зовут “бочкаревками”. Мальчишки, кто служит здесь, не скрывают: “Если я услышу, что девчонка была в Афгане, для меня она исчезает...” Мы пережили те же болезни, у всех девчонок гепатит был, малярия... Нас так же обстреливали... Но вот мы встретимся в Союзе, и я не смогу этому мальчишке броситься на шею. Мы для них все б... или чокнутые. Не спать с женщиной — не пачкаться... “А с кем я сплю? А сплю я с автоматом...” Попробуй после этого кому-нибудь улыбнись...

Моя мама с гордостью объявляет знакомым: “Моя дочь в Афганистане”. Наивная моя мама! Мне хочется написать ей: “Мама, молчи, а то услышишь такое!” Может, вернусь, все осмыслю — и отойду, потеплею. А сейчас внутри сломано, смято. Чему я здесь научилась? Разве тут можно научиться добру или милосердию? Или радости?

Бачата бегут за машиной:

— Ханум покажи...

Могут и деньги совать. Значит, кто-то у них берет.

Была у меня мысль, что не доживу до дома. Сейчас я это перешагнула. Два сна у меня здесь меняются и повторяются...

Первый сон.

Заходим в богатый дуكان... На стенах ковры, драгоценности. И меня наши ребята продают. Им приносят мешок с деньгами... Они считают афошки... А два “духа” накручивают себе на руки мои волосы... Звенит будильник... В испуге кричу и просыпаюсь. Всех страхов ни разу не досмотрела.

Второй сон.

Летим из Ташкента в Кабул в военном самолете ИЛ-65. Появляются в иллюминаторе горы, и яркий свет тухнет. Начинаем проваливаться в бездну какую-то, нас накрывает пластом афганской тяжелой земли. Рою ее, как крот, и не могу выбраться на свет... Задыхаюсь... И копаю, копаю...

Если я себя не остановлю, моему рассказу не будет конца. Тут каждый день случается что-то такое, что трясет переворачивает твою душу. Вчера знакомый парень получил письмо из Союза, от своей девушки: “Я не хочу с тобой дружить, у тебя руки запачканные...” Прибежал ко мне — я пойму.

О доме мы все думаем, но говорим мало. Из суеверия. Очень хочется вернуться. Куда мы вернемся? Об этом тоже молчим. Только травим анекдоты:

— Дети, расскажите, кто ваши папы?

Все тянут руки вверх:

— Мой папа — врач.

— Мой папа — сантехник.

— Мой папа... в цирке работает.

Маленький Вова молчит.

— Вова, ты не знаешь, кто твой папа?

— Раньше он был летчиком, а сейчас работает фашистом в Афганистане.

Дома я любила книжки о войне, здесь таскаю с собой Дюма. На войне не хочется говорить о войне. Читать про войну. Девочки ходили смотреть убитых... Говорили: лежат в носочках... Не пойду... Не люблю выезжать в город, в дуканы за покупками... Там на улицах много одноногих мужчин... Дети на самодельных костылях... Я не могу

привыкнуть... У меня была мечта стать журналистом, а теперь не знаю, мне теперь трудно во что-то верить. Что-то любить.

Вернусь домой, никогда не поеду на юг. Нет сил больше видеть горы. Когда я вижу горы, мне кажется, что сейчас начнется обстрел. Однажды нас обстреливали, а одна наша девочка стояла на коленях, плакала и молилась... Крестилась... Интересно, о чем она просила небо? Мы все здесь немножко скрытные, никто до конца не раскрывается. Каждый пережил какое-то разочарование...

А я все время плачу и молюсь о себе... О той книжной московской девочке...

Служащая

— Что я там понял? Добро никогда не выигрывает... Зло в мире не уменьшается... Человек страшный... А природа красивая... И пыль. Все время полный рот песка. Не можешь говорить...

Прочесываем кишлак... Идем с парнем рядом. Он открывает ногой дверь в дувал и в него — из пулемета, расстреливают в упор... Девять пуль... Сознание заливают ненависть... Мы расстреляли всех, вплоть до домашних животных, в животное, правда, стрелять страшнее. Жалко. Я не давал расстреливать осликов... В чем же они виновны? У них на шее висели амулеты, такие же, какие у детей... С именами... Когда подожгли пшеничное поле, мне стало не по себе, потому что я деревенский. Там вспоминалось из прежней жизни только хорошее, больше детство, Как лежал в траве среди колокольчиков и ромашек... Как жарили на костре пшеничные колоски и ели...

Вокруг была жизнь, которую мы не понимали. Чужая. Убивать поэтому было легче, чем... (*Молчит*). Чем если бы оказались в знакомых местах. Похожих на наши... Если точно... Сказать о своих чувствах... Отвращение и гордость — я убил! Жара стояла такая, что железо лопалось на крышах дуканов. Поле загоралось сразу, взрывалось огнем. Оно пахло хлебом... Огонь поднимал вверх и детский запах хлеба...

Там ночь не наступает, а падает на тебя. Вот был день, и уже — ночь. Рассвет красивый... Вот ты был мальчик, и уже — мужчина. Это делает война. Там идет дождь, ты его видишь, но до земли он не долетает. Смотришь через спутник передачи о Союзе, вспоминаешь, что есть та, другая, жизнь, но в тебя она уже не проникает... Все это можно рассказать... Все это можно напечатать... Но что-то обидное для меня происходит... Не могу передать сути...

Что такое жить с войною, вспоминать? Это значит, что ты никогда не бываешь один. Всегда вас двое, ты и она - война... У нас небольшой выбор: забыть и молчать или стать сумасшедшим и кричать. Второе... Это никому не нужно... Не только власти, но и близким. Родным людям. Вот вы пришли... Зачем вы пришли? Не человеческое это... (*Нервно закуривает*).

Иногда мне самому хочется написать все, что видел... Все... Я — филолог по образованию. В госпитале... Безрукий, а у него на кровати сидит безногий и пишет письмо матери. Маленькая афганская девочка... Она взяла у советского солдата конфету. Утром ей отрубили обе руки... Написать все, как было, и никаких размышлений. Шел дождь... И только об этом — шел дождь... Никаких размышлений — хорошо или плохо, что шел дождь. Дождь... Любая вода там не просто вода. Из фляжки почти горячая вода. Горькая на вкус... Прятаться от солнца негде...

О чем бы я еще написал?

Кровь... Увидел первую кровь, мне стало холодно, очень холодно. Зябко. Холод среди жарыщи за сорок градусов... В пекле...

Привели двух пленных... Одного надо убить, потому что в вертолете нет места для двоих, а один нам нужен, как «язык». И я не мог принять решение: которого?

В госпитале... Живые и мертвые сменяли друг друга... И я их уже не различал, один раз полчаса разговаривал с мертвым...

Хватит!! (*Стучит кулаком по столу. Потом успокаивается.*)

Думал... Мечтал, как первый раз буду ночевать дома. После всего... Возвращались мы с надеждой, что дома нас ждут с распростертыми объятиями. И вдруг открытие: никому не интересно, что мы пережили. Во дворе стоят знакомые ребята: “А, прибыл? Хорошо, что прибыл”. Пошел на встречу выпускников в школу. Учителя тоже ни о чем не расспрашивают. Мой разговор с директором школы:

Я:

— Надо увековечить память тех, то погиб, выполняя интернациональный долг.

Она:

— Это были двоечники, хулиганы. Как мы можем повесить на школе мемориальную табличку в их честь?

Мол, что вы такого героического совершили? Проиграли войну? А кому она нужна была - Брежневу и военным генералам? Фанатикам мировой революции... Получается, что мои друзья погибли зря... И я мог погибнуть зря... А моя мама увидела меня из окна и бежала через всю улицу, кричала от радости. “Нет, — говорю я себе, — пусть свет перевернется, но это не перевернется: герои в земле лежат. Герои!”

В институте старый преподаватель меня убеждал:

— Вы стали жертвой политической ошибки... Вас сделали соучастниками преступления...

— Мне было тогда восемнадцать лет. А вам сколько? Когда у нас там шкура лопалась от жары — вы молчали? Когда нас привозили в “черных тюльпанах” — вы молчали? Слушали, как гремели на кладбищах салюты и играли военные оркестры... Когда мы там убивали — вы молчали? Теперь вдруг заговорили: бессмысленные жертвы... ошибка...

А я не хочу быть жертвой политической ошибки. И я буду за это драться! Пусть свет перевернется, но это не перевернется: герои в земле лежат. Герои! Я сам об этом когда-нибудь напишу...(Повторяет после того, как посидел и успокоился). Человек страшный... А природа красивая...

Странно, что запомнилась красота...Смерть и красота...

Рядовой, гранатометчик

— Мне повезло...

Я возвратился домой с руками, ногами, глазами, не обожженный и не сумасшедший. Мы уже там поняли, что война не та, на которую ехали. Решили: давай довоюем, останемся живыми, вернемся домой и там разберемся...

Мы — первая замена тем, кто входил в Афганистан. У нас не было идеи, у нас был приказ. Приказы не обсуждают, начини обсуждать — это уже не армия. Читайте Энгельса: “Солдат должен быть как патрон, в любое время готовый к выстрелу”. Хорошо запомнил. На войну едут убивать. Моя профессия — убивать. Я этому учился. Личный страх? Другого могут убить, а меня нет. Этого убили, а меня не убьют. Сознание не воспринимает самой возможности собственного исчезновения. А ехал туда не мальчишкой — тридцати лет.

Я там почувствовал, что такое жизнь. Те годы — одни из лучших, — так я вам скажу. Здесь наша жизнь серенькая, маленькая: служба — дом, дом — служба. Там мы все испробовали, узнали. Испытали истинную мужскую дружбу. Увидели экзотику: как клубится утренний туман в узких ущельях, будто дымовая завеса, бурубахайки — разукрашенные, с высоченными бортами афганские грузовики, красные автобусы, внутри которых едут люди вперемешку с овцами и коровами, желтые такси. Там есть места, похожие на лунный пейзаж, что-то фантастическое, космическое. Одни вечные горы, кажется, человека на этой земле нет, только камень живет. И этот камень в тебя стреляет. Просто чувствуешь враждебность природы, даже ей ты чужой. Мы жили между жизнью и смертью, и в наших руках тоже была чья-то жизнь и чья-то смерть. Есть ли что-нибудь сильнее этого чувства? Как там погуляли, мы нигде больше не погуляем. Как там нас любили женщины, они нигде больше так нас не будут любить. Все обострялось близостью смерти, мы все время крутились, мельтешили возле смерти. Много было разных приключений, мне кажется, я знаю запах опасности, как она пахнет, когда видишь свой затылок третьим глазом... Открывается третий глаз... Я все там испробовал и вышел сухим из воды. Там была мужская жизнь. У меня ностальгия... Афганский синдром...

Правое было дело или неправое было дело, никто тогда не задумывался. Мы делали то, что нам приказывали. Воспитание, привычка. Теперь, конечно, все переосмыслено, взвешено временем, памятью, информацией и правдой, которую нам открыли. Но это же почти через десять лет! А тогда существовал образ врага, знакомый из книжек, из школы, из фильмов о басмачах. Кинокартину “Белое солнце пустыни” я раз пять смотрел. И вот он, враг! И тебе хватило, досталось... У нас... У всех... Духовный опыт или войны, или революции, других примеров не внушили.

Мы заменили первых и стали весело забивать колышки будущих казарм, столовых, армейских клубов. Выдали пистолеты ТТ-44, времен войны, политруки с ними ходили. Ими только застрелиться или продать в дуکان. Ходили, как партизаны, кто в чем, большая часть в спортивных трико, кроссовках. Я был похож на бравого солдата Швейка. Пятьдесят градусов жара, а начальство требует галстук и полную форму... Как положено по уставу от Камчатки до Кабула...

В морге — мешки с человеческим мясом... Шок! Через полгода... Смотрим кино... Трассеры на экран летят... Продолжаем смотреть кино... Играем в волейбол, начинается обстрел... Глянули, куда летят мины, играем дальше... Фильмы привозили про войну, про Ленина или как жена изменяет... А всем хотелось комедий... Комедий совсем не привозили... Он уехал — она с другим... Взял бы автомат и разрядил в экран! Экран — три-четыре сшитые вместе простыни под открытым небом, зрители сидят на песке. Раз в неделю банно-стаканный день. Бутылка водки — тридцать чеков. Золотая! Везли из Союза... По таможенной инструкции одному человеку разрешено везти две бутылки водки и четыре вина, а пиво в неограниченном количестве. Пиво сливаешь, заливаешь бутылки водкой. Этикетка “Боржоми”, попробуешь — сорок градусов. Закатанная банка с вареньем, рукой жены химическим карандашом написаны этикетки “Черничное”, “Клубничное”, открываешь — сорок градусов. У нас собаку звали “Вермут”. Красный глаз, не желтеет. Пили “шпагу” — отработанный спирт с самолетов, антифриз — жидкость для машинного охлаждения. Предупреждаешь солдат:

— Пейте все, но антифриз не пейте.

Через день-два после того, как они прибыли, зовут врача:

— Что?

— Новенькие антифризом отравились...

Наркотики курил...Эффект разный...То “шубняк” напал, ходишь замороченный, то любая пуля летит, а кажется, что в тебя целятся. На ночь выкуришь... Начинаются

галлюцинации... Всю ночь семью вижу, жену обнимаю... У некоторых были цветные видения... Как кино смотрит... Первое время наркотики нам продавали в дуканах, потом давали бесплатно:

— Кури, русский! На, кури... — Бачата бегают и суют солдатам.

Хочется посмеяться... (*Улыбается, но глаза грустные*). Я не только страшное, но и смешное помню. Любимые анекдоты...

— Товарищ подполковник, как пишется ваше звание — вместе или отдельно?

— Конечно, отдельно. Проверочное слово “под столом”.

— Товарищ полковник, где копать?

— От забора и до обеда.

Умирать неохота... Непонятно и неохота... Паршивенькие мысли... Зачем пошел в военное училище, а не в строительное? Каждый день с кем-то прощались... Зацепил растяжку каблук, услышал щелчок взрывателя и, как всегда в этом случае, не упал, не прижался к земле, а удивленно оглянулся на звук и принял на себя десятки осколков... Разорвало танк: днище вскрыло как консервную банку, повырывало катки, гусеницу. Механик-водитель пытался выбраться через люк, показались только его руки — дальше не смог, сгорел вместе с машиной. На кровать убитого в казарме никто не хотел ложиться. Появлялся новенький, по-нашему “заменщик”:

— Спи пока здесь... На этой кровати... Ты все равно его не знал...

Вспоминали чаще тех, у кого остались дети. Сиротами будут расти... Безотцовщина... Ну, а тех, кто никого не оставил? Девчонки новых женихов найдут, а матери новых сыновей вырастят. Все еще не раз повторится.

За войну нам удивительно дешево платили: каких-то два оклада, из которых один переводился в двести семьдесят чеков, из него высчитывали еще взносы, подписку на газеты, налог и прочее. В то время, как обычному вольнонаемному рабочему на Саланге платили по тысяче пятьсот чеков. Сравните с офицерским окладом. Военные советники получали в пять-десять раз больше. Неравенство обнаруживалось на таможне... Когда везли колониальный товар... У кого-то магнитофон и пара джинсов, а у кого-то видеосистема и к ней пять-семь чемоданов длиной с матрац, называли их “мечта оккупанта”, солдаты чуть волокут. Колесики не выдерживали... Плющились...

В Ташкенте:

— Из Афгана? Девочку хочешь... Девочка как персик, дорогой, — зазывают в частный бардак.

— Нет, дорогой, спасибо. Домой хочу. К жене. Билет нужен.

— За билет бакшиш давай. Итальянские очки будут?

— Будут.

Пока долетел до Свердловска, заплатил сто рублей и отдал итальянские очки, японский платок с люрексом и французский косметический набор. В очереди научили:

— Чего стоишь? Сорок чеков в служебный паспорт — и через день дома.

Беру на вооружение:

— Девушка, мне до Свердловска.

— Билетов нет. Очки надень и посмотри на табло.

Сорок чеков в служебный паспорт...

— Девушка, мне до Свердловска...

— Сейчас проверю. Хорошо, что вы подошли, тут один отказался.

Приезжаешь домой в отпуск — попадаешь в совершенно другой мир — в семью. Первые дни никого не слышишь, только видишь. Трогаешь их. Как вам рассказать, что такое провести рукой по головке своего ребенка... Утром на кухне запах кофе и блинчиков. Жена зовет завтракать...

Через месяц уезжать. Куда, зачем — непонятно. Об этом не думаешь, об этом просто нельзя думать. Знаешь одно: едешь, потому что надо. Служба такая. Ночью на зубах скрипит афганский песок, мягкий как пудра или мука. Только что ты лежал в красной пыли... Или в сухой глине... Рядом рычали БМП... Опомнился, вскочил — нет, ты еще дома... Уезжаешь завтра... Отец попросил заколоть поросенка... Раньше он режет поросенка, я не подойду, затыкаю уши, чтобы не слышать этот визг. Убегал из дому.

Отец:

— Давай поддержи...

— Не так берешь... — Показываю. — В сердце ему, сюда... — Взял и проколол.

Каждый сам занимался своим собственным спасением. Сам! Я помню...

Сидят солдаты... Внизу идут старик и ослик... Они из гранатомета: шар-р-рах! Ни старика, ни ослика...

— Ребята, вы что, с ума сошли? Шли старик и ослик... Что они вам сделали?

— Вчера тоже шли старик и ослик... Шел солдат... Старик и ослик прошли, солдат остался лежать...

— А может, это другой старик и другой ослик?

Нельзя пролить первую кровь... Все время будешь стрелять во вчерашнего старика и вчерашнего ослика...

Довоевали. Остались живыми, вернулись домой. Теперь разбираемся...

Капитан, артиллерист

— Никогда раньше не молилась, теперь молюсь... В церковь на службу хожу...

Я сидела у гроба и спрашивала: “Кто там? Ты ли там, сынок?” Только это и повторяла: “Кто там? Отзовись, сынок... Ты у меня вырос большой, а гроб такой маленький...”

Прошло время. Я хотела узнать, как погиб мой сын. Обратилась в военкомат:

— Расскажите, как погиб мой сын? Где? Я не верю, что его убили. Мне кажется, что я похоронила железный ящик, а сын где-то живой.

Военком разозлился и даже прикрикнул:

— Это разглашению не подлежит. А вы ходите и всем говорите, что у вас погиб сын. Приказ — не разглашать!!

...Сутки я мучилась, пока родила. Узнала — сын! — боли прошли: не зря мучилась. С первых дней боялась за него, больше никого у меня не было. Жили мы в бараке, жили так: в комнате стояла моя кровать и детская коляска, и еще два стула. Работала я на железной дороге стрелочницей, зарплата шестьдесят рублей. Вернулась из больницы — и сразу в ночную смену. С коляской на работу ездила. Возьму плитку, накормлю его, он спит, а я поезда встречаю и провожаю. Подрос, стала одного дома оставлять. Привяжу за ножку к кровати и ухожу. Он вырос у меня хороший.

Проступил в строительное училище в Петрозаводске. Я приехала его навещать, он поцеловал меня и куда-то убежал. Обиделась даже. Заходит в комнату, улыбается:

— Сейчас девочки придут.

— Какие девочки?

А это он сбегал к девочкам похвастаться, что к нему мама приехала, чтобы они пришли и посмотрели, какая у него мама.

Кто мне подарки дарил? Никто. Приезжает на Восьмое марта. Встречаю на вокзале:

— Давай, сынок, помогу.

— Сумка, мама, тяжелая. Ты возьми мою трубку чертежную. Но неси осторожно, там чертежи.

Я так и несу, а он проверяет, как я несу. Что там за чертежи?! Дома он раздевается, я быстрее на кухню: как мои пирожки? Поднимаю голову: стоит и держит в руке три красных тюльпана. Где он их взял на Севере? В Карелии? В тряпочку завернул и в трубку чертежную, чтобы не замерзли. А мне никто никогда цвета не дарил.

Летом поехал в стройотряд. Вернулся как раз перед моим днем рождения:

— Мама, извини, что не поздравил. Но я тебе привез... — И показывает извещение на денежный перевод.

Читаю:

— Двенадцать рублей пятьдесят копеек.

— Ты, мама, забыла большие цифры. Тысяча двести пятьдесят рублей...

— Таких сумасшедших денег сроду в руках не держала и не знаю, как они пишутся.

Он такой довольный:

— Теперь ты отдохнешь, а я буду работать. Буду много зарабатывать. Ты помнишь, когда я был маленький, я обещал, что вырасту и буду носить тебя на руках?

Правда, такое было. И вырос он метр девяносто шесть ростом. Поднимал и носил меня, как девочку. Наверное, потому мы так любили друг друга, что у нас никого больше не было. Как бы я его жене отдала, не знаю. Не перенесла бы.

Прислали повестку идти в армию. Он хотел, чтобы его взяли в десантники:

— Мама, набирают в десантные войска. Но меня, сказали, не возьмут, потому что я своей силищей им все стропы пообрываю. А у десантников такие красивые береты...

И все-таки он попал в Витебскую десантную дивизию. Приехала к нему на присягу. Даже не узнала: выпрямился, перестал стесняться своего роста.

— Мама, почему ты у меня такая маленькая?

— Потому что я скучаю и не расту, — еще пробовала шутить.

— Мама, нас посылают в Афганистан, а меня опять не берут. Почему ты не родила еще девочку, тогда бы меня взяли?

Когда они принимали присягу, присутствовало много родителей. Слышу:

— Мама Журавлева здесь? Мама, идите поздравьте сына.

Я подошла и хочу его поздравить, а он же метр девяносто шесть, никак не дотянусь до него.

Командир приказывает:

— Рядовой Журавлев, нагнитесь, пусть мама вас поцелует.

Он нагнулся и поцеловал, и кто-то нас в эту минуту сфотографировал. Единственный военный снимок, который у меня есть.

После присяги его отпустили на несколько часов, и мы пошли в парк. Сели на траву. Снял он сапоги — ноги стертые в кровь. У них был марш-бросок на пятьдесят километров, а сапог сорок шестого размера не было, и ему дали сорок четвертый. Не жаловался, наоборот:

— Мы бежали с рюкзаками, груженными песком. Как ты думаешь, каким я прибежал?

— Наверное, последним из-за этих сапог.

— Нет, мама, я был первым. Я снял сапоги и бежал, и песок не высыпал, как другие.

Мне хотелось что-нибудь сделать для него особенное:

— Может, сынок, в ресторан пойдём? Мы никогда с тобой не были в ресторане.

— Мама, купи лучше мне килограмм леденцов. Вот это будет подарок!

Перед отбоем мы расстались. Он помахал мне вслед кульком с леденцами.

Нас, родителей, разместили на территории части в спортзале на матах. Но мы только под утро легли, всю ночь ходили вокруг казармы, где спали наши ребята. Заиграл горн, я подхватила: поведут на физзарядку, вдруг еще раз его увижу, хотя бы издалека. Бегут, все в одинаковых полосатых маечках — пропустила, не углядела. А они ходили строем в туалет, строем на физзарядку, строем в столовую. По одному им не разрешали, потому что, когда ребята узнали, что их посылают в Афганистан, один в туалете повесился, еще двое себе вены перерезали. Их караулили.

Садилась в автобус, я одна из родителей плакала. Как будто что-то мне подсказывало, что видела его в последний раз. Скоро он написал: “Мама, я видел ваш автобус, я так бежал, чтобы увидеть тебя еще раз”. Когда мы сидели с ним в парке, по радио пели: “Как родная меня мать провожала”. Услышу теперь эту песню...*(Еле сдерживает слезы)*.

Второе письмо начиналось: “Привет из Кабула...” Прочитала и так начала кричать, что прибежали соседи. “Где закон? Где защита? — Билась головой о стол. — Он у меня единственный, даже в царское время единственных кормильцев в армию не брали. А тут на войну послали”. Впервые после рождения Саши пожалела, что не вышла замуж, что некому меня защитить. Саша, бывало, дразнится:

— Мама, почему не выходишь замуж?

— Потому что ты меня ревнуешь.

Засмеется и промолчит. Мы собирались жить вместе долго-долго.

Еще несколько писем и молчание, такое длинное молчание, что я обратилась к командиру части. И Саша тут же пишет: “Мама, не пиши больше командиру части, знаешь, как мне попало? А я не мог тебе написать, руку оса укусила. Просить кого-нибудь не хотел, ты испугалась бы чужого почерка”. Жалел меня, придумывал сказки, как будто я не смотрела каждый день телевизор и не могла сразу догадаться, что он был ранен. Теперь, если один день не было письма, у меня отказывали ноги. Он оправдывался: “Ну как могут приходиться каждый день письма если нам даже водичку раз в десять дней возят?” Одно письмо было радостное: “Ура-ура! Сопровождали колонну в Союз. Дошли до границы, дальше не пустили, но мы хоть издалека посмотрели на свою Родину. Нигде лучше земли нет”. В последнем письме: “Если я проживу лето, я вернусь”.

Двадцать девятого августа я решила, что лето кончилось, купила ему костюм, туфли. Висят в шкафу...

Тридцатое августа... Перед тем как идти на работу, сняла с себя сережки и кольцо. Почему-то не могла носить.

Тридцатого августа он погиб.

За то, что осталась жива после смерти сына, я должна благодарить своего брата. Он неделю лежал ночью возле моего дивана, как собака... Сторожил меня... А у меня в голове было одно: добежать до балкона и прыгнуть с седьмого этажа... Помню, внесли в комнату гроб, я легла на него и меряю, меряю... Один метр, второй метр... Сын у меня двухметровый был... Руками мерила, по росту ли гроб... Как сумасшедшая говорила с гробом: “Кто там? Ты ли там, сынок?..” Привезли в закрытом гробу: вот, мать, твой сын... Отдаем тебе... Я не могла его поцеловать последний раз... Погладить... Я даже не видела, во что он одет...

Сказала, что место на кладбище сама ему выберу. Сделали мне два укола, и мы пошли с братом. На главной аллее уже были “афганские” могилы.

— И моего сыночка сюда. Тут, со своими ребятами, ему будет веселее.

Кто с нами был, не помню, какой-то начальник, качает головой:

— Не разрешено их хоронить вместе. Раскидываем по всему кладбищу.

Ой, недобрая я стала! Ой, недобрая я теперь стала... “Не обозлись, Соня. Ты только, Соня, не обозлись”, — умолял брат. А как мне доброй стать? По телевизору показывают ихний Кабул... А я бы взяла пулемет и всех перестреляла, сяду у телевизора и “стреляю”... Это они моего Сашу убили... А один раз показали старую женщину, наверное, афганскую мать... Она прямо на меня смотрела... Я подумала: “А там же ее сын, может, его тоже убили?” Вот после нее я перестала “стрелять”.

Я не сумасшедшая, но я его жду... Рассказывают случай: привезли матери гроб, она его похоронила. А через год сын возвращается...И я жду... Я не сумасшедшая...

Мать

— С самого начала... Я начну с того, когда все для меня рухнуло... Все рассыпалось...

Ходили на Джелалабад... Стоит у дороги девочка, лет семи... У нее перебита рука висит, как у разорванной тряпичной игрушки, на какой-то ниточке. Глаза-маслины неотрывно смотрят на меня... В шоке от боли... Я соскакиваю с машины, чтобы взять ее на руки и отнести к нашим медсестрам... Она в диком ужасе, как зверек, отскакивает от меня и кричит, она удирает и кричит. Ручонка болтается, вот-вот совсем отлетит... Я тоже бегу и кричу... Догоняю, прижимаю к себе, глажу. Она кусается, царапается, вся дрожит. Словно ее какое-то дикое животное схватило, а не человек. И меня, как громом, поражает мысль: она не верит, что я хочу ее спасти, она думает-- я хочу ее убить... Русские ничего другого не могут, они только убивают...

Мимо проносят носилки: на них сидит старая афганка и улыбается.

Кто-то спрашивает.

— Куда ее ранили?

— В сердце, — говорит медсестра.

А ехал туда, глаза были, как у всех, горели-- я там кому-то нужен. Я мог жизнь ради этого отдать! Как она от меня убегала... Как дрожала... Не забуду...

Там сны о войне не видел. А здесь ночью воюю. Догоняю эту маленькую девочку... Глаза-маслины...

— Надо мне к психиатру? — спросил у своих ребят.

— Чего?

— Воюю.

— Мы все воюем.

Не думайте, что это были супермены... С сигаретой в зубах сидели на убитых и банку тушенки открывали... Арбузы ели... Чушь! Обыкновенные ребята. На нашем месте мог оказаться любой. И тот, кто сегодня судит: “Вы там убивали...” Мне вмазать в эту морду охота! Не был там... Не суди! Вы никогда не сможете стать с нами рядом. И никто не имеет права нас судить. Хотя бы поймите... Попробуйте... Оставили нас с этой войной один на один. Сами, мол, разгребайтесь. Мы ходим виноватые, должны оправдываться... Молчать... Перед кем оправдываться? Нас послали, мы поверили. И с этим там погибали. Не надо ставить рядом тех, кто туда посылал, и тех, кто там был. У меня погиб друг... Майор Саша Кравец... Скажите его маме, что он виноват... Скажите его жене... Его детям... Вы нас туда послали... “У вас все нормально”, — сказал мне врач. Какие же мы нормальные?! Мы столько в себе принесли...

Там совсем по-другому чувствовалась Родина. Звали — Союз. Дембелей провожали:

— Вы уж там поклонитесь Союзу.

Казалось: за нашей спиной что-то большое и сильное, и оно нас всегда защитит. Но помню: вышли из боя, с потерями — убитые, тяжелораненые... Вечером врубили телевизор — отвлечься: что там в Союзе? В Сибири построен новый завод-гигант, английская королева дала обед в честь высокого гостя... В Воронеже подростки изнасиловали двух девочек-школьниц, от скуки. В Африке принца убили... Наше чувство: мы никому не нужны, страна живет своим...

Первым не выдержал Саша Кучинский:

— Выключи! Или я расстреляю сейчас телевизор.

После боя по рации докладываешь:

— Запишите: “трехсотых” — шесть, “ноль — двадцать первых” — четыре.

“Трехсотые” — раненые, “ноль — двадцать первые” — убитые. Глядишь на убитого и думаешь о его матери: я вот знаю, что ее сын погиб, а она еще нет. Передалось ли ей? Еще хуже — упал в речку или в пропасть, тело не нашли. Матери сообщают: пропал без вести. Чья это была война? Война матерей, они воевали. И до слез будут воевать. Выхаживать, вымалывать нас. Наши души. А весь народ не страдал. Народ не знает. Ему говорили, что мы воюем с “бандами”. Стотысячная регулярная армия девять лет не может победить разрозненные кучки “бандитов”? Армия с новейшей техникой... Не дай Бог попасть под обстрел нашей артиллерии, когда цель обрабатывают реактивные установки “Град” или “Ураган”... Телеграфные столбы летят... Готов залезть в землю, как дождевой червяк... А у “бандитов” — пулеметы-“максимы”, которые мы только в кино видели. “Стингеры”, японские безоткатки... Это уже потом у них появились... Приведут пленных, худые, изможденные люди с натруженными крестьянскими руками... Какие же это бандиты! Это — народ!

Мы там поняли: им это не надо... Если им не надо, то зачем это нам? Проезжаешь мимо брошенных кишлаков... Еще дымок костра вьется, едой пахнет... Идет верблюд и кишки за собой тянет, как будто горбы свои разматывает... Надо достреливать... А сознание все-таки запрограммировано на мирную жизнь--добить не можешь. Рука не сразу поднимается. Другой возьмет и пальнет в верблюда. А просто так! С охотки, с дури. В Союзе бы за это посадили, а тут — герой! Бандитам мстит. Почему восемнадцатилетние--девятнадцатилетние убивают легче, чем, например, тридцатилетние? Им не жалко. После войны я вдруг обнаружил, какие страшные детские сказки. Все время в них кто-то кого-то убивает, Баба Яга, вообще, в печке людей жарит, а детям не страшно. Они плачут очень редко.

Но хотелось остаться нормальным. Приехала к нам певица. Красивая женщина, песни у нее душевные. А там так скучаешь по женщине, ждешь ее, как близкого человека. Она вышла на сцену:

— Когда летела к вам, мне дали пострелять из пулемета. С какой радостью я стреляла...

Запела, а к припеву просит:

— Ребята, ну хлопайте! Хлопайте, ребята!

Никто не хлопает. Молчат. И она ушла, концерт сорвался. Супердевочка приехала к супермальчикам. А у этих мальчиков в казармах каждый месяц восемь-десять пустых коек... Те, кто на них спал, уже в холодильнике... В морге... Только письма по диагонали на простынях... От мамы, от девочки: “Лети с приветом, вернись с ответом...”

Выжить на этой войне было главным. Не подорваться на mine, не сгореть в бронетранспортере, не стать мишенью для снайпера. А для некоторых: выжить и что-нибудь из вещей привезти — телевизор, дубленку... Магнитофон покруче... Ходила шутка, что о войне в Союзе узнают в комиссионных магазинах. По новому товару. Зимой едешь по нашему Смоленску — девушки в афганских шубах. Мода!

У каждого солдата на шее висел амулетик.

— Что у тебя? — спросишь.

— Молитовку мама дала.

Когда я вернулся, мама открылась:

— Толя, ты не знаешь, я тебя заговорила, потому ты живой и целый.

Уходили в рейд: одну записку кладешь в верхнюю часть одежды, другую — в нижнюю. Подорвешься — какая-нибудь часть останется: верхняя или нижняя. Или носили браслеты с гравировкой: фамилия, группа крови, резус и личный номер офицера. Никогда не говорили: “Я пойду” — “Послали”. Не произносили слово “последний”.

— Давай зайдем в последний раз...

- Ты что, сдурел? Нет такого слова... Крайний... ну, четвертый, пятый... А этим здесь не пользуются.

У войны подлые законы: сфотографировался перед тем, как идти на боевые, — убили, побрился — убили. Первыми погибали те, кто приехал нацеленный на героизм, с голубыми глазами. Встречал такого: “Буду героем!” Погиб с ходу. Извините, на операции — тут же лежим, тут же нужду справляем. Солдатская поговорка: лучше топтаться в собственном дерьме, чем самому стать дерьмом на минах. Родился у нас свой жаргон: борт — самолет, броник — бронезилет, “зеленка” — кусты и заросли камыша, “вертушка” — вертолет, глюки видел — галлюцинации после наркотика, подпрыгнул на mine — подорвался, заменщик — кто домой уезжает. Столько сочинили, что “афганский” словарь можно составить. А погибали больше всего в первые месяцы и в последние. В первые — много любопытства, в последние — сторожевые центры отключаются, наступает оцепенение, ночью не можешь понять: где я, что я, зачем? Со мной ли это? Заменщики не спят полтора-два месяца. У них свое исчисление: сорок третье марта или пятьдесят шестое февраля, это значит — должен был заменяться в конце марта или в конце февраля. Очень сильно ждешь. Меню в столовой: красная рыба — килька в томате, белая рыба — килька в масле, — раздражает, цветочные клумбы в центре гарнизона — раздражают, анекдоты, над которыми еще недавно надрывался от хохота, — не нравятся. Странно, что еще вчера и позавчера было смешно. А что тут смешного?

Приехал офицер в Союз в командировку. Зашел в парикмахерскую. Девушка посадила его в кресло:

— Как обстановка в Афганистане?

— Нормализуется...

Через несколько минут:

— Как обстановка в Афганистане?

— Нормализуется...

Пройдет какое-то время:

— Как обстановка в Афганистане?

— Нормализуется...

Постригся, ушел. В парикмахерской недоумевают:

— Зачем мучила человека?

— Как спрошу об Афганистане, у него волосы дыбом становятся — легче стричь.

Я анекдоты люблю... Пустяки всякие... А задуматься серьезно страшно...

Советского летчика сбили над Вьетнамом, можно поменять — над Афганистаном... Американские «цэрушники» показывают ему детали сбитого самолета: скажи, что за деталь? Эта... И эта... Он молчит. Его бьют, он молчит. А потом состоялся обмен пленными, он возвращается в родную часть — его спрашивают: «Как там в плену? Тяжело?» Отвечает: «Нет, вообще-то не очень тяжело, но материальную часть надо учить. Сильно за это бьют».

Тянет обратно не на войну, а к тем людям. Ждешь-ждешь, а уезжать в последний день жалко, кажется, у всех бы взял адреса. У всех!

У Лютика... Так звали Валерку Широкова, хрупкий, изящный. Нет-нет да и напоеет кто-нибудь: “Руки словно лютики...” А характер железный, лишнего слова не скажет. Был у нас жмот, все копил, покупал, менял. Валерка стал перед ним, вытащил из своего бумажника двести чеков, показал и тут же на глазах... У того одуревшего... Разорвал на мелкие кусочки. Молча вышел.

У Саши Рудика... Мы с ним в рейде встречали Новый год. Елка — автоматы поставили пирамидой, игрушки — повесили гранаты. А на машине-установке “Град” зубной пастой написали: “С Новым годом!!!” Почему-то три восклицательных знака. Саша хорошо рисовал. Я привез домой простыню с его пейзажем: собака, девочка и клены. Горы он не рисовал, горы мы там разлюбили. Любого спроси: “О чем тоска?” — “В лес хочу... В реке искупаться... Молока большую кружку выпить...” В Ташкенте в ресторане подходит официантка:

— Миленькие, молоко берете?

— По два стакана обыкновенной воды. А молоко завтра будем пить. Только приехали...

Из Союза каждый вез чемодан варенья и березовый веник. Там же эвкалиптовые продаются — мечта! Нет, везли свои, березовые...

У Сашика Лащука... Парень чистый. Часто писал домой. “У меня родители старенькие. Они не знают, что я тут. Я им сочиняю о Монголии”. Приехал с гитарой и уехал с гитарой. Там разные люди были. Не представляйте нас одинаковыми. А то сначала о нас молчали, потом стали воображать всех героями, теперь ниспровергают, чтобы следом забыть. Там же один мог лечь рывком на мину и спасти даже незнакомых ему ребят, другой подойти к тебе и просить: “Хотите, стирать вам буду, только не посылайте на боевые”.

Идут КамАЗы, и на козырьках крупными буквами: Кострома, Дубна, Ленинград, Набережные Челны... Или “Хочу в Алма-Ату!”, Ленинградец находил ленинградца, костромич — костромича... Обнимались, как братья. И в Союзе мы, как братья. Ну, кто еще из молодых может сегодня идти по улице с костылем и новеньким орденом? Только свой. Мой брат... Наш брат... Обнимемся, другой раз только на скамейке посидим и выкурим по сигарете, а будто проговорили весь день. У нас у всех дистрофия... Там это было несоответствие веса росту... Здесь — несоответствие чувств возможности вылиться, выплеснуться в словах, в поступках. Мы—дистрофики в этой жизни.

Ехали уже из аэропорта в гостиницу. Первые часы дома. Молчим, притихли. В один миг у всех нервы не выдержали, и разом выдохнули водителю:

— Колея! Колея! Держи колею!

Потом хохот. Потом — счастье: да мы же в Союзе! Можем по обочине ехать... По колее... По всей земле... Пьянеешь от этой мысли...

Через несколько дней обнаружили:

— Ребята!! Мы все сутулые.

Не могли ходить прямо, разучились. Я себя полгода на ночь к кровати привязывал, чтобы распрямиться.

Встреча в Доме офицеров. Вопросы: “Расскажите о романтике службы в Афганистане”, “Убивали ли вы лично?” Особенно девочкам нравятся кровожадные вопросы. Жизнь вокруг серенькая, щекочут себе нервы. Но вот же ни у кого не повернется язык завести разговор о романтике Великой Отечественной войны? Там воевали отцы и деды. А тут — перед ними мальчишки. Слепые и восторженные. Насмотрелся, как им всего хотелось попробовать. Попробовать убить. Страх попробовать. Гашиш. Один попробует

— летает, а у другого «шубняк»: куст становится деревом, камень — бугром, идет и в два раза выше ноги поднимает. Ему еще страшнее.

Был и такой вопрос: “А вы могли не поехать в Афганистан?” Я? Я... У нас отказался лишь один — командир батареи, майор Бондаренко:

— Родину пойду защищать. В Афганистан не поеду.

Сразу суд офицерской чести — презрение за трусость! Пройти через это мужскому самолюбию? Петля на шею, пистолет — к виску. Второе — понизили в должности, как мы говорим, рассыпали звезду: из майора стал капитаном. И в стройбат. Через это пройти? Выгнали из партии. И через это? Выгнали из армии. И через это? Еще страшнее, чем на войну попасть. Сорок пять лет... Из них тридцать пять в армии: суворовское училище, военная академия... Что ему делать в мирной жизни? С нуля начинать?

— Что ты можешь? — спрашивают у офицера.

— Могу командовать ротой. Могу командовать взводом и батареей.

— Что еще можешь?

— Могу копать.

— Что еще?

— Могу не копать...

И через это пройти?

На таможне у меня размагнитили кассеты с концертом Розенбаума.

— Ребята, песни классные!

— А у нас, — показывают мне, — есть список, какие песни можно везти, а какие нет.

Приехал в Смоленск: из окошек всех студенческих общежитий несется Розенбаум...

А сейчас — надо рэкетиров напугать, приходит милиция:

— Давайте, ребятки, помогите.

Неформалов разогнать:

— Позовем “афганцев”.

Дескать, “афганцу” привычно, ему все нипочем: крепкие кулаки, слабая голова. Все боятся. Все не любят.

Когда у вас болит рука, вы не отсекаете себе руку. Вы ее нянчите, чтобы вылечить. Вы ее лечите.

Почему мы собираемся? Спасаемся вместе... Но домой возвращаешься один...

Майор, пропагандист артполка

— Каждую ночь ...Я вижу один и тот же сон, все прокручивается заново. Все стреляют, и я стреляю... Все бегут, и я бегу... Падаю, просыпаюсь...

Я—на больничной койке... Я просыпаюсь... Рывком хочу сбросить себя с кровати, чтобы выйти в коридор покурить. И тут вспоминаю: ног нет... Тут возвращаюсь в действительность...

Я не хочу слышать о политической ошибке! Не хочу знать! Если это ошибка, тогда верните мне мои ноги... *(В отчаянии отивыривает от себя костыли).*

— Извините... Извините... *(Посидел молча и остыл).*

Вы? Вынимали когда-нибудь из кармана убитого неотправленные письма: “Дорогая...”, “Дорогие...”, “Любимая...” Вы видели солдата, простреленного одновременно кремниевой пищалью и китайским автоматом?

Нас туда послали, мы выполняли приказ. В армии ты сначала должен выполнить приказ, а потом можешь его обжаловать. Тебе сказали: вперед! Значит, вперед. А нет — партбилет отдай. Звание отдай. Присягу давал?! Давал. Поздно пить боржом, когда почки отказали. “Мы вас не посылали туда”. — “А кто посылал?”

Там у меня был друг. Я уходил в бой, он со мной прощался. Я приходил, он обнимал меня — живой! Такого друга у меня здесь не будет...

На улицу редко выхожу... Стесняюсь...

Вы когда-нибудь пристегивали или видели вблизи наши протезы? На них ходишь и боишься шею сломать. Говорят, в других странах “протезники” на горных лыжах катаются, играют в теннис, танцуют. Купите их на валюту вместо французской косметики... Вместо кубинского сахара... Марокканских апельсинов и итальянской мебели...

Мне двадцать два года, вся жизнь впереди. Надо жену искать. Была девушка. Сказал ей: “Я тебя ненавижу”, — чтобы она ушла. Жалела. Хочу, чтобы любила.

Снится мне ночами дом родной
И в рябинах тихая опушка.
Тридцать, девяносто, сто...
Что-то ты расщедрилась, кукушка...

Из наших песен... Любимая... А иногда даже день неохота прожить...

Но даже сейчас мечтаю: хоть бы краешком глаза глянуть на тот кусочек земли. Библейской пустыни... Нас всех тянет туда... Так тянет, когда стоишь у пропасти или высоко над водой. Так тянет, что голова кружится...

Война закончилась... Теперь постараются нас забыть, запрятать куда-нибудь подальше... Задвинуть. Так уже было в финскую... Сколько книг написано о Великой Отечественной — и ничего о финской... Никто не любит вспоминать проигранную войну. И я через десять лет привыкну, мне будет наплевать...

Убивал ли я там? Убивал!! А вы что хотите, чтобы мы там остались ангелами? Вы ждали — ангелы возвратятся...

Старший лейтенант, командир минометного взвода

— Служил на Дальнем Востоке...

Вызвали к командиру части. Дежурный телефонист принес телеграмму: “Направить старшего лейтенанта Иванова в штаб армии для рассмотрения вопроса о переводе его в Туркестанский военный округ для дальнейшего прохождения службы”. Дата и время. Ожидал, что пошлют на Кубу, потому что, когда проходил медкомиссию, речь шла о стране с жарким климатом.

Спросили:

— Не возражаете, если мы вас пошлем в заграничную командировку?

— Нет, не возражаю.

— Поедете в Афганистан.

— Так точно.

— Вы знаете: там стреляют, убивают...

— Так точно...

В Союзе у саперов какая жизнь? Копают лопатой, долбают киркой. А хотелось использовать то, чему учили в училище. Саперы на войне всегда нужны. Я ехал учиться воевать.

Из всех, кого вызывали, отказался один. Его вызывали три раза:

— Не возражаете, если мы вас пошлем в заграникомандировку?

— Возражаю.

Ему не позавидуешь. Тут же получил выговор, его офицерское имя теперь замарано, и продвижения по службе не будет. Отказывался он из-за состояния здоровья, у него то ли гастрит был, тот ли язвенная болезнь. Но на это не смотрели: жаркий ли климат или не жаркий, предложили — должен ехать. Уже печатались списки...

Из Хабаровска шесть дней до Москвы ехал поездом. Через всю Россию, через сибирские реки, по берегу Байкала. Через сутки у проводницы кончилась заварка, на вторые сутки — сломался титан. Родные встретили. Поплакали. Но коль надо, то надо.

...Открылся люк — синее-синее небо, у нас только над рекой бывает такое синее небо, как там. Шум, крик, но все свои. Кто встречает заменщика, кто друзей, кто передачу от родных из Союза ждет. Загоревшие все, веселые. Уже не верилось, что где-то есть тридцать пять градусов мороза, броня замерзает. Первого афганца увидел на пересылке через забор из колючей проволоки. Кроме как интереса, никаких других чувств не испытал. Обыкновенный человек.

Получил бумаги в Баграм на должность командира инженерно-дорожного взвода в саперном батальоне...

Вставали рано утром и отправлялись как на работу: танк с тралом, группа снайперов, собака минно-розыскная и два бээмпэшки для боевого прикрытия. Первые километры — на броне. Там хорошо видны следы, дорога пыльная, пыль лежит пудрой, как снег. Птица сядет — знак остается. Если вчера прошел танк, смотри в оба: в след от гусеницы танка могут мину закопать. Пальцами изобразят гусеницу, а следы свои заметут мешком или чалмой. Дорога крутилась мимо двух мертвых кишлаков, людей там не было, одна обгоревшая глина. Отличное укрытие! Всегда будь начеку. Остались кишлаки позади, слезаем с брони. Теперь так: впереди собака бежит, виляет туда-сюда, и за ней идут саперы со щупом. Идут и прокалывают землю. Тут уже с тобой Бог, твоя интуиция, твой опыт, чутье. Там ветка сломана, там железка какая-то лежит, вчера ее не было, там камень. Они же и для себя знаки оставляли, чтобы самим не подорваться.

Одна железка, другая... Какой-нибудь болт... Вроде в пыли валяются... А под землей батарейки... Проводок к бомбе или к ящику с тротилом... Противотанковая мина человека не слышит... Она срабатывает при нагрузке двести пятьдесят — триста килограммов. Первый подрыв... Я один остался сидеть на танке, мое место было возле дула, башня защитила, остальных волной снесло. Сразу обшарил себя, проверил: голова на месте? Руки, ноги на месте? На месте — поехали дальше.

Впереди еще один подрыв... Легкий бронированный тягач напоролся на мощный фугас... Тягач раскололся пополам, воронка три метра длиной, а глубина в человеческий рост. Тягач вез мины, около двухсот мин для миномета... Мины в кустах, на обочине... Веером лежат... Ехали пять солдат и старший лейтенант, мы с ним несколько раз вечером вдвоем сидели, курили, разговаривали. Никого в живых не осталось.

Очень помогали собаки, они как люди. Одаренные и неударенные, с интуицией и без интуиции. Часовой заснет, а собака нет. Я любил Арса. К нашим солдатам ластился, а на афганских лаял. У них форма была более зеленая, чем наша желтоватая. Но как он различал? Мины слышал за несколько шагов... Упрется в землю, хвост трубой: не подходи! Минные ловушки разные... Самые опасные — самодельные мины, они не повторялись, в них нельзя было уловить закономерность. Технический закон! Стоит ржавый чайник, в нем взрывчатка... В магнитофоне, в часах... В консервной банке... Тех, кто шел без саперов, называли “смертниками”. На дороге мины, на тропе в горах мины, в доме мины... Саперы идут первыми, как разведчики...

Топтались в окопчике... Уже подрыв в нем был, уже пограбили, уже два дня топтались все... А я спрыгнул сверху — взрыв! Сознание не терял... На небо посмотрел... Небо светится... У саперов при подрыве всегда первая реакция: посмотреть на небо. Целы ли глаза? На прикладе автомата носил жгут, этим жгутом меня перевязали. Выше колен... А я уже знал: где жгут накладывают, там потом и отрезают три-пять сантиметров выше отрыва.

— Куда ты жгут кладешь? — кричу солдату.

— У вас до колена, товарищ старший лейтенант.

Пятнадцать километров меня еще везли в медсанбат. Полтора часа ушло. Там промыли, сделали новокаиновую блокаду. В первый день ногу резали, пила зажужжала, как циркулярка, — потерял сознание. На второй день глаза оперировали. При подрыве пламя ударило в лицо. Глаза, можно сказать, соштопали, двадцать два шва было. Снимали по два-три в день, чтобы глазное яблоко не рассыпалось. Подойдут, фонариком посветят слева, справа: если ли светоощущение, на месте сетчатка?

Цвет у фонарика красный... Должен быть самый сильный цвет...

Я мог бы написать рассказ, как офицер превращается в надомника. Собираю электропатроны, электророзетки... Сто штук в день... Шнурки заклепываю... Какие? Красные, черные, белые — не знаю... Не вижу... Диагноз: почти слепой... Не тотально, но больше догадываюсь, соображаю, чем вижу. Сетки вяжу... Коробочки клею... Раньше думал, что только сумасшедшие этим занимаются... Тринадцать сеток в день... Уже норму выполняю...

У саперов было мало шансов вернуться целыми или вообще вернуться, особенно из рот разминирования, спецразминирования. Или ранен, или убит. Уходим на операцию — не прощаемся за руку. В день подрыва новый командир роты пожал мою руку. Он от души, еще никто его не предупредил. И я взлетел... Хочешь верь, хочешь не верь. Существовало поверье: сам напросился в Афганистан — добром это не кончится, послали — дело служивое, может, и пронесет. Вернешься.

Что мне сейчас снится? Длинное минное поле... Составляю формуляр: количество мин, чертеж рядов и ориентиры, по которым можно их найти. И этот формуляр у меня потерялся, у нас они часто терялись... Или берешь формуляр, там ориентир — дерево, а оно сгорело... Или груда камней, а они взорвались... Никто не ходил, не проверял. Боялись. Сами могли подорваться на своих минах. Я вижу во сне, что возле моего минного поля бегают дети... Они не знают, что там мины... Мне надо крикнуть: “Там мины! Не ходите!..” Мне надо их опередить... Я бегу... У меня опять обе ноги... И я вижу...

Но это только ночью, только во сне...

Старший лейтенант, сапер

— У меня не получается, как у всех... Такая жизнь у меня не получается...

Это, может быть, нелепо, в этом случае... С этой войной... Но я человек романтический, я думаю, что по-настоящему я еще жила и не живу, я всегда мечтаю о жизни. Придумываю ее, представляю. В первый же день, как я туда прибыла, меня вызвал начальник госпиталя: “Что вас заставило сюда приехать?” Он не понимал... Мужчина...

Я должна была рассказать ему всю свою жизнь. Чужому, незнакомому мужчине... Военному... Как на площади... Вот этом самое мучительное, самое унижительное для меня там. Ничего тайного, интимного, все вытягивается наружу. Вы смотрели фильм

“Запредел”? О жизни эков в колонии. Мы жили по тем же законам... Та же колючая проволока, тот же пяточок земли...

Мое окружение — девочки-официантки, повара. Разговоры: о рублях, о чеках, мясе с костями и без костей, о сырокопченой колбасе, болгарском печенье. В моем же представлении это было самопожертвование, женский долг — защищать наших мальчиков, спасти! Я возвышенно все представляла. Люди истекают кровью, я даю свою кровь. Уже на пересылке в Ташкенте поняла: еду не туда. Сажусь в самолет — плачу, не могу остановиться. Там то же, что и здесь, от чего убегала, от чего хотела отвернуться. На пересылке водка лилась рекой. “И снится нам трава у космодрома... Зеленая-зеленая трава...” Как в космос улетала... Тут, в Союзе, у каждого свой дом, своя крепость... А там... Нас в комнате четыре человека. Та девочка, что поваром работала, приносила из столовой мясо и заталкивала его под кровать...

— Помой пол, — говорит она.

— Я вчера мыла, сегодня твоя очередь.

— Помой, дам сто рублей...

Я молчу.

— Мяса дам.

Молчу. Она берет ведро воды и выливает на мою кровать.

— Ха-ха-ха-ха... — Все смеются.

Другая девочка. Официантка. Ругалась матом и любила Цветаеву. После смены садится и раскладывает пасьянс:

— Будет — не будет... Будет — не будет...

— Что будет — не будет?

— Любовь, что еще.

А свадьбы там были... Настоящие свадьбы! И любовь. Но редко. Любовь была до Ташкента: оттуда — он налево, она направо. Как в песне: “Ей в другую сторону.”

Таня Бэтээр (высокая, большая) любила сидеть и допоздна разговаривать. Спирт пила только чистый.

— Как ты можешь?

— Что ты, водка слабая, водка меня не берет.

С собой увезла пятьсот или шестьсот открыток с киноактерами. Они дорогие в дуканах, она щеголяла: “На искусство денег не жалко”.

Верочку Харькову запомнила сидящей перед зеркалом с открытым ртом и высунутым языком. Она боялась брюшного тифа. Кто-то ей сказал, что надо каждое утро смотреть в зеркало: при брюшном тифе на языке остаются следы от зубных резцов.

Они меня не признавали. Дескать, какая-то дура, носит пробирки с микробами. Я работала врачом-бактериологом в инфекционном госпитале. У меня на языке вечно было одно: брюшничок, гепатит, паратиф. Раненые не сразу попадали в госпиталь. Пять-десять часов, а то и сутки и двое они лежали в горах, в песке. Раны осеменялись микробами, то, что называется раневой инфекцией. Раненый в реанимации, а я у него нахожу брюшной тиф.

Умирали молча. Один только раз видела, как расплакался офицер. Молдаванин. К нему подошел хирург, тоже молдаванин, спросил у него по-молдавски:

— Батюшка, на что жалуетесь? Что болит?

И тот расплакался:

— Спасите меня. Я должен жить. У меня любимая жена и любимая дочка. Я должен вернуться...

Он умер бы молча, но расплакался, потому что услышал родную речь.

В морг не могла зайти... Там привозили человеческое мясо, перетертое с землей. И под кроватью у девочек мясо... Поставят на стол сковородки: “Руба! Руба!” — по-афгански это значит “вперед”. Жара... Пот капает в сковородки... Я видела только раненых и имела дело только с микробами... Я не пойду микробы продавать... В военторге на чеки можно было купить карамельки. Моя мечта! “Афганистан, какая прелесть!” — пели там такую песню. Я всего боялась, если честно признаться... Я не смелая... Приехала туда и не различала даже звездочки на погонах, звания. Всем говорила “вы”. Не помню уж кто, но кто-то дал мне на кухне в госпитале два сырых яйца. Потому что врачи ходили полуголодные. “Сидели” на картофельном клейстере, давно хранившемся на военных складах, замороженном мясе. Из старых запасов... Древесина... Без запаха и цвета... Я схватила эти два яйца, завернула в салфетку: ну, дома с луком поем. Весь день представляла, как буду ужинать. Тут везут на каталке парня, эвакуируют в Ташкент. Что там под простыней, не видно, одна красивая голова на подушке катается. Поднял на меня глаза:

— Кушать хочется.

Как раз это перед обедом, еще бачки не привезли. А его уносят. И когда это еще он прилетит в Ташкент, когда его накормят.

— На, — и даю ему эти два яйца. Повернулась и пошла, не спросила: руки, ноги у него есть? Я ему на подушку положила. Не разбила, не покормила. Вдруг рук нет?

В другой раз ехала два часа на машине, а рядом трупы... Четыре трупа... Они лежали в спортивных костюмах...

Домой вернулась... Не могла слушать музыку, разговаривать на улице, в троллейбусе. Закрывает дверь в комнате — чтобы телевизор и я одна. За день до отлета в Союз застрелился начмед нашего госпиталя Юрий Ефимович Жибков... Почему? Что у него в душе творилось. Кому-то непонятно... А мне... Я понимаю, даже знаю. Там это всегда близко... Эта темнота... В Афганистане у кого-то из офицеров переписала: “Иностранец, которому случится попасть в Афганистан, будет под особым покровительством неба, если он выйдет оттуда здоровым, невредимым и с головой на плечах...” Француз Фурье. Уцелеть надо было не только физически... Человек – существо со сложной начинкой... Слоеный пирожок, как говорили мои девочки. Философствовать понемногу начали к концу войны. Перед домом...

Встречаю на улице молодого человека... Что-то родное: “Это, наверное, “афганец?” Но я его не окликаю, чтобы не показаться смешной. Я не смелая... У меня натура мягкая... Я пугалась, когда ловила себя на мысли, что могу превратиться в агрессивное, жестокое существо. Человек ведь зависим... Он даже не знает до конца, как он зависит от своих поступков, от того, что с ним было. Он боится... Готовим мальчишек к выписке... Они прячутся на чердаках, в подвалах госпиталя, не хотят выписываться в часть. Мы их ловим, вытаскиваем... На пересылке молодые девчонки учили меня, кому надо дать бутылку водки, чтобы попасть в хорошее место... Они учили меня... Им по восемнадцать-двадцать лет, а мне сорок пять.

На таможне, когда возвращалась, заставили снять все до бюстгальтера.

— Кто вы?

— Врач-бактериолог.

— Покажите документы. — Взяли документы. — Открывайте чемоданы. Будем шмонать.

Я тащила с собой назад старенькое пальто, одеяло, покрывало, шпильки, вилки... Все, что из дому брала. Выгрузили на стол:

— Вы что, сумасшедшая? Стихи, наверное, пишете?

Мне здесь неважно. Здесь страшнее, чем там. Там вернулся из Союза, кто что привез — садимся за один стол. Третий тост. Молча. За тех, кто погиб. Сидим за столом, а мышки прогуливаются, в туфли залазят. В четыре часа вой... Первый раз вскочила: “Девочки, волки”. Девочки смеются: “Молитву мулла читает”. Я дома долго-долго в четыре утра просыпалась.

Хотелось продолжения... Просилась в Никарагуа... Куда-нибудь, где война идет. Тут... Я уже не умею тут жить...

Врач-бактериолог

— Я его первая выбрала...

Стоит высокий, красивый парень. “Девочки, — говорю, — мой”. Подошла и пригласила на дамский вальс, когда девушки приглашают кавалеров. А я — судьбу...

Очень хотела сына. Договорились: если родится девочка, дам имя ей я. Будет Олечка. Родится сын, даст имя он. Будет Артем или Денис. Родилась Олечка.

— А сынишка будет?

— Будет. Пусть только Олечка подрастет.

Я родила бы ему и сына.

— Любочка, не пугайся. Молоко пропадет... — Я малютку грудью кормила. — Посылают в Афганистан...

— Почему ты? У тебя маленький ребенок.

— Не я, кому-то другому выпадет. Партия велела — комсомол ответил: есть.

Он был преданный армии человек. “Приказы, — повторял, — не обсуждаются”. У них в семье у матери очень сильный характер, и он привык слушаться, подчиняться. В армии ему было легко.

Как провожали? Мужчины курили. Мать молчала. Я плакала: кому нужна эта война? Дочка спала в люльке.

Встретила на улице дурочку, юродивую, она часто появлялась в нашем военном городке на базаре или в магазине. Говорили люди, что молодой ее изнасиловали, и с тех пор она даже мать не узнает. Остановилась возле меня:

— Вот привезут тебе мужа в ящике, — засмеялась и убежала.

Я не знала, что случится, но я знала — что-то случится.

Ждала его, как у Симонова: жди меня, и я вернусь... В день могла написать по три, по четыре письма и отправить. Мне казалось, что когда я думаю о нем, тоскую о нем, я его берегу. А он писал, что здесь, на войне, каждый делает свою работу. Выполняет приказ. И кому какая судьба. Не волнуйся и жди.

Когда я бывала у его родителей, об Афганистане никто не вспоминал. Ни слова. Ни мать, ни отец. Уговора такого не было, но все боялись этого слова.

...Одела девочку, чтобы нести в детский сад. Поцеловала. Открываю дверь: стоят военные, и у одного в руках чемодан моего мужа, небольшой, коричневый, я его собирала. Со мной что-то произошло... Если я их впущу, они принесут в дом страшное... Не впущу, все останется на своих местах. Они дверь к себе — хотят войти, а я к себе — не впускаю...

— Раненый? — У меня еще эта надежда была, что раненый.

Военком вошел первый:

— Людмила Иосифовна, с глубокой скорбью должны сообщить, что ваш муж...

Слез не было. Я кричала. Увидела его друга, бросилась к нему:

— Толик, если ты скажешь, я поверю. Что ты молчишь?

Он подводит ко мне прапорщика, сопровождавшего гроб:

— Скажи ей...

А того трясет, он тоже молчит.

Подходят ко мне какие-то женщины, целуют.

— Успокойся. Давай телефоны родных.

Я села и тут же выпалила все адреса и телефоны, десятки адресов и телефонов, которые я не помнила. Проверили потом по записной книжке — все точно.

Квартира у нас маленькая, однокомнатная. Гроб поставили в клубе части. Я обнимала гроб и кричала:

— За что? Что ты кому плохого сделал?

Когда ко мне возвращалось сознание, я смотрела на этот ящик: “Привезут тебе мужа в ящике...” И опять кричала:

— Я не верю, что здесь мой муж. Докажите мне, что здесь он. Тут даже окошечка нет. Что вы привезли? Кого вы мне привезли?

Позвали его друга.

— Толик, — говорю, — поклянись, что здесь мой муж.

— Я своей дочкой клянусь, что там твой муж. Он умер сразу, не мучился. Больше ничего тебе не скажу.

Сбылось его: “Если придется умереть, то так, чтобы не мучиться”. А мы остались...

Висит на стене его большой портрет:

— Сними мне папу, — просит дочка. — Я буду с папой играть.

Окружит портрет игрушками, разговаривает с ним. Ночью укладываю ее спать:

— А куда стреляли в папу? Почему они выбрали именно нашего папу?

Приведу ее в садик. Вечером надо забирать домой — рев.

— Не уйду из садика, пока за мной не придет папа. Где мой папа?

Я не знаю, что ей отвечать? Как объяснить? Мне самой только двадцать один год... Этим летом отвезла ее к маме в деревню. Может, там его забудет... У меня нет сил плакать каждый день... И каждую минуту увижу, как идут вместе муж, жена и ребенок с ними — плачу. Моя душа кричит, мое тело кричит. Я раньше любила спать голая летом, теперь никогда голая не сплю. Я все вспоминаю... Любовь вспоминаю... Простите за откровенность... Только вам могу довериться. Чужому человеку. Своему трудно. «Встал бы ты хоть на одну минуту... Посмотрел, какая выросла дочка! Для тебя эта непонятная война кончилась, — говорю я ему ночью. --Для меня — нет. А для нашей дочери? Наши дети самые несчастные, они будут отвечать за все. Ты меня слышишь...»

Кому я кричу? Кто услышит?

Жена

— Когда-то я мечтала — рожу сына... Сама себе рожу мужчину, которого буду любить и который меня будет любить...

С мужем мы разошлись. Он ушел от меня, ушел к молодой, она ему родила сразу после школы. Я его любила, наверное, поэтому другого не было... Не искала...

Сына растили с мамой, две женщины, а он — мальчишка. Встану тихонько и слежу из подъезда: с кем он, что у него за компания?

— Мама, — вернется домой, — я уже взрослый, а ты меня пасешь.

Маленький был, как девочка. Беленький, хрупкий, он у меня восьмимесячным родился, искусственник. Наше поколение не могло дать здоровых детей, росли мы в войну

— бомбежки, стрельба, голод... Страх... Играл он все время с девочками, девочки его принимали, он не дрался. Любил кошек, завязывал им банты.

— Купи, мамочка, хомячка, у него шкурка тепленькая, как мокренькая.

Покупался хомячок. И аквариум. И рыбки. Пойдем на базар: “Купи мне живую курочку... Рябушку...”

И вот я думаю: неужели он там стрелял? Мой домашний мальчик... Не для войны он был... Мы его очень любили, лелеяли...

Приехала к нему в Ашхабад в учебную роту:

— Андрюша, я хочу пойти поговорить с начальником. Ты у меня один... Здесь граница близко...

— Не смей, мама. Надо мной будут смеяться, что я маменькин сынок. И так говорят: “Тонкий, звонкий и прозрачный”.

— Как тебе тут?

— Лейтенант у нас хороший, он с нами как с равными. А капитан и по лицу может ударить.

— Как?! Мы тебя с бабушкой никогда не били, даже маленького.

— Здесь мужская жизнь, мама. Лучше вам с бабушкой ничего не рассказывать...

Только маленький он был мой. Отмоешь его в ванной, из луж как чертенок вылезал, завернешь в простынку, обнимешь. Думалось, никто никогда его у меня не заберет. Никому не отдам. Потом его у меня отняли...

Я сама после восьми классов уговорила его пойти в строительное училище. Думала, что с этой специальностью ему будет легче в армии. А отслужит — поступит в институт. Он хотел стать лесником. В лесу всегда радовался. Птиц узнавал по голосам, показывал, где какие цветы. Этим напоминал своего отца. Тот, сибиряк, любил природу так, что во дворе не давал косить траву. Пусть растет все! Нравилась Андрюше форма лесника, фуражка: “Мама, она на военную похожа...”

И вот я думаю: неужели он там стрелял?

Из Ашхабада часто писал нам с бабушкой. Одно письмо наизусть выучила, держала его в руках тысячу раз:

“Здравствуйте, мои родные мама и бабушка! Вот уже больше трех месяцев служу в армии. Служба моя идет хорошо. Со всеми порученными мне заданиями я пока справляюсь и замечаний со стороны командования не имею. Недавно наша рота ездила в учебно-полевой центр, это восемьдесят километров от Ашхабада, он расположен в горах. Там все занимались две недели горной подготовкой, тактикой и стрельбой из стрелкового оружия. Я же и еще три человека в лагерь не ездили, находились в расположении части. Нас оставили, потому что вот уже три недели мы работаем на мебельной фабрике, строим цех. А за это нашей роте фабрика делает столы. Мы выполняем там кирпичную кладку, штукатурные работы.

Мама, ты спрашиваешь о своем письме, я его получил. Получил также посылку и десять рублей, которые вы вложили. На эти деньги мы несколько раз ели в буфете и покупали с другом конфеты...”

Я себя утешала надеждой: раз он занимается штукатурными работами и кирпичной кладкой, значит, нужен как строитель. Ну и пусть строит им собственные дачи, личные гаражи, только бы не послали никуда дальше. Он потом написал, что у кого-то генерала за городом работал...

Был восемьдесят первый год... Ходили отголоски... Но что в Афганистане мясорубка, бойня, знало очень мало людей. По телевизору мы видели братание советских и афганских солдат, цветы на наших бронетранспортерах, крестьян, целующих

дарованную землю... Одно меня заставило испугаться... Когда ездила к нему в Ашхабад, встретила женщину... Сначала в гостинице заявили:

— Мест нет.

— Буду ночевать на полу. Я приехала издалека, к сыну-солдату... И никуда отсюда не уеду.

— Ну, ладно, пустим вас в четырехместный номер. Там уже живет одна мать, тоже сына навещает.

От этой женщины я впервые услышала, что готовится новый набор в Афганистан, и она привезла большие деньги, чтобы спасти сына. Уезжала она довольная, а со мной на прощание поделилась: “Не будь наивной идиоткой...” Когда я рассказала об этом моей маме, она заплакала:

— Почему ты не упала им в ноги?! Не просила? Сняла бы и отдала свои сережки...

Это была самая дорогая вещь в нашем доме, мои копеечные сережки. Они же не с бриллиантами! Маме, которая всю жизнь жила более чем скромно, они казались богатством. Господи! Что с нами творят? Не он, так кто-то другой поехал бы. У него тоже мать...

То, что он попал в десантно-штурмовой батальон и летит в Афганистан, для него самого было неожиданностью. Его распирала мальчишеская гордость. Он не скрывал.

Я женщина, сугубо штатский человек. Может быть, что-то не понимаю. Но пусть мне объяснят, почему мой сын занимался штукатурными работами и кирпичной кладкой в то время, когда ему надо было готовиться к боям? Они же знали, куда их посылают. В газетах печатались снимки моджахедов... Мужчины, по тридцать-сорок лет... На своей земле... Рядом семьи, дети... И как, скажите, за неделю до вылета из общевоинской части он оказался в десантно-штурмовом батальоне? Даже я знаю, что такое десантные войска, какие там сильные парни нужны. Их специально надо готовить. Потом мне командир учебной школы, ответил, что, мол, ваш сын был отличник боевой и политической подготовки. Когда он им стал? Где? На мебельной фабрике? У генерала на даче? Кому я отдала своего сына? Кому доверила? Они даже из него солдата не сделали...

Из Афганистана было только одно письмо: “Не волнуйтесь, тут красиво и спокойно. Много цветов, каких у нас нет, цветут деревья, поют птицы. Много рыбы”. Райские кущи, в не война. Успокаивал нас, а не то не дай Бог начнем хлопотать, чтобы его оттуда вырвать. Необстрелянные мальчишки. Почти дети. Их бросали в огонь, а они это принимали за честь. Мы так их воспитали.

Он погиб в первый же месяц... Мой мальчик... Моя кровинушка... Какой он там лежал? Никогда не узнаю.

Его привезли через десять дней. Все эти десять дней во сне я что-то теряла и не могла найти. Все эти дни завывал на кухне чайник. Поставишь кипятить чай, он поет на разные голоса. Я люблю комнатные цветы, у меня их много на подоконниках, на шкафу, на книжных полках. Каждое утро, когда я их поливала, роняла горшки. Они выскальзывали из моих рук и разбивались. В доме стоял запах сырой земли...

...Остановились возле дома машины: два военных “газика” и “скорая помощь”. Мгновенно догадалась — это к нам, в мой дом. Еще сама дошла до двери, открыла:

— Не говорите! Не говорите мне ничего! Ненавижу вас! Отдайте мне только тело моего сына... Я буду его хоронить по-своему. Одна. Не надо никаких военных почестей...

Напишите! Напечатайте правду!! Всю правду! Я уже ничего не боюсь.. Все могу! Все!!

Мать

— Правду? Правду всю расскажет вам только отчаянный. Абсолютно отчаянный расскажет вам все...

Никто не знает правды... Кроме нас... Правда слишком страшная, правды не будет. Никто не захочет быть первым, никто не рискнет. Кто расскажет, как перевозили наркотики в гробах? Шубы? Вместо убитых... Кто вам покажет ниточку засушенных человеческих ушей? Уже слышали или новая информация? Боевые трофеи... Хранили в спичечных коробочках... Они скрючивались в маленькие листочки... Не может быть? Неловко слушать о славных советских парнях? Выходит, может. Было! И это тоже правда, от которой никуда не деться, не замазат дешевой серебряной краской. А вы думали: поставим памятники и достаточно... Раздадим медали...

Я не ехал убивать, я был нормальный человек. Нам внушили, что воюют бандиты, а мы будем герои, нам всем скажут спасибо. Хорошо запомнил плакаты: “Воины, будем укреплять южные рубежи нашей Родины”. “Не опозорим чести соединения”, “Цвети, родина Ленина!”, “Слава КПСС!”. А вернулся оттуда... Там же все время было маленькое зеркало, а тут большое. Глянул — и не узнал себя. Кто-то смотрел на меня... С новыми глазами, с новым лицом... Даже внешне я изменился...

Служил я в Чехословакии. Слух: меня посылают в Афганистан.

— Почему я?

— Ты холостяк.

Собирался, как в командировку. Что брать с собой? Никто не знал. “Афганцев” у нас еще не было. Кто-то посоветовал взять резиновые сапоги, за два года они ни разу мне негодились. В Кабуле оставил. Из Ташкента летели на ящиках с патронами. Приземлились в Шиндане. Царандой, их милиция, с автоматами нашими времен Великой Отечественной войны, наши и их солдаты — грязные, линялые, как из окопов вылезли. Резкий контраст к тому, к чему привык в Чехословакии. Грузят раненых, у одного в животе осколок. “Этот не жилец, по дороге умрет”, — услышал от вертолетчиков, которые привезли их с застав. Ошеломило спокойствие, с каким говорили о смерти.

Это, может быть, самое непостижимое там — отношение к смерти. Вот опять, если всю правду... Это невозможно... То, что здесь невыносимо, там буднично. Убивать страшно и неприятно. Но очень скоро начинаешь думать, что в упор убивать страшно и неприятно, а вместе, в массе — азартно, иногда я видел, даже весело. В мирное время оружие стоит в пирамиде, каждая пирамида на отдельном замке, оружейная комната на звуковой сигнализации. А тут оружие постоянно при себе, к нему привыкаешь. Вечером с кровати стреляли из пистолета в лампочку: лень вставать, выключить свет. Одуревши в жару, разряжали автомат в воздух, хоть куда-нибудь... Окружаем караван, караван сопротивляется, сечет из пулеметов. Приказ: караван уничтожить... Переходим на уничтожение... Над землей стоит дикий рев раненых верблюдов... За это, что ли, нам вручали ордена от благодарного афганского народа?!

Война — это война, надо убивать. Нам что — боевое оружие вручили в “Зарницу” играть с братьями по классу? Тракторы, сеялки там, что ли, ремонтировать? Нас убивали, и мы убивали. Убивали, где могли. Убивали, где хотели. Но это не та война, которую мы знали по книгам, фильмам: линия фронта, нейтральная полоса, передовая... Киризная война... Киризы — подземные ходы, проделанные когда-то для орошения... Люди возникают из них днем и ночью, как призраки... С автоматом, с камнем в руке. Не исключено, что недавно с этим призраком торговался в дукане, а тут он уже за гранью твоего сочувствия. Только что он убил твоего друга... Вместо друга... Лежит... Уже не человек... Полчеловека... Последние его слова: “Не пишите моей матери, заклинаю вас, чтобы она ничего не узнала...” А ты, шурави, ты, советский, за гранью его духа,

сочувствия. Твоя артиллерия разлинейла его кишлак, и он почти ничего не нашел ни от матери, ни от жены, ни от детей. И он, попадешь к нему, из тебя котлету сделает... Фарш... Современное оружие увеличивает наши преступления. Ножом я мог бы убить одного человека, двух... Бомбой — десятки... Но я военный человек, моя профессия — убивать. Как там в сказке? Я — раб волшебной лампы Аладдина... Так я — раб Министерства обороны. Куда прикажут, туда я и буду стрелять. Моя профессия — стрелять.

Но я не ехал туда убивать, не хотел. Как это получилось? Почему афганский народ принял нас не за тех, кем мы были на самом деле? Бачата стоят в резиновых калошах на босу ногу на морозе, и наши ребята отдают им свои сухпаи. Я это видел своими глазами. Подбегает к машине оборванный мальчишка, он ничего не просит, как остальные, он только смотрит. У меня было в кармане двадцать афгани, я их ему отдал. Он как стал на колени в песок, так и не встал, пока мы не сели в бэтээр, не отъехали. А рядом другое... У мальчишек-водоносов наши патрули отбирали деньги. Что там за деньги? Копейки. Нет, я туда даже туристом не хочу. Никогда не поеду. Я же вам сказал: правда слишком страшная, правды не будет. Она никому не нужна. Ни вам, кто здесь оставался. Ни нам, кто там был. Заметьте, вас больше. Дети наши вырастут и будут скрывать, что их отцы там воевали.

Встречал самозванцев: я, мол, из Афгана, да мы там, я там...

— Где служил?

— В Кабуле...

— Какая часть?

— Да я — спецназ...

На Колыме, в бараках, где держали сумасшедших, кричали: “Я — Сталин! Я — Сталин!” А теперь нормальные парни заявляют: “Я — из Афгана”. В сумасшедший дом забирал бы их...

Я вспоминаю один... Выпью. Посижу. Люблю песни “афганские” послушать. Но один. Это было... Эти странички... Хотя они и замаранные... Никуда от них не уйти... Собираются вместе молодые... Они обозленные и обманутые. Им трудно себя найти, обрести вновь какие-то моральные ценности. Один мне признался: “Если бы я знал, что мне ничего не будет, мог бы человека убить. Просто так. Ни за что. Мне не жалко”. Был Афганистан, теперь его нет. Не будешь всю жизнь молиться и каяться... Я жениться хочу... Сына хочу... Чем быстрее мы замолчим, тем лучше для всех. Кому эта правда нужна? Обывателю! Чтобы он плюнул нам в душу: “Ах, сволочи, там убивали, грабли, и здесь им льготы?” И мы одни останемся виноватые. Все, что пережили, коту под хвост. Хотя бы для себя сохранить.

Зачем-то же все это было? Зачем?

В Москве на вокзале пошел в туалет. Смотрю: туалет кооперативный. Сидит парень, рассчитывает. Над головой у него вывеска: “Для детей до семи лет, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов — вход бесплатный”.

Я опешил:

— Это ты сам сообразил?

Он с гордостью:

— Да, сам. Предъяви документ и проходи.

— У меня отец всю войну прошел, и я два года чужой песок глотал, чтобы у тебя помочиться бесплатно?

Такой ненависти, как к этому парню, у меня в Афгане ни к кому не было... Решил нам заплатить...

— Прилетела в Союз в отпуск... Пошла в баню... Люди стонут на полках от удовольствия, мне показалось — стоны раненых...

Дома скучала по друзьям из Афганистана. А в Кабуле уже через несколько дней мечтала о доме. Родом я из Симферополя. Окончила музыкальное училище. Счастливые сюда не едут. Здесь все женщины одинокие, ущемленные. Попробуйте прожить на сто двадцать рублей в месяц — моя зарплата, когда и одеться хочется, и отдохнуть интересно во время отпуска. Говорят: за женихами, мол, приехали? А что? Правда... Ну, правда... Мне тридцать два года, я одна...

Тут узнала, что самая жуткая мина — “итальянка”. Человека после нее в ведро собирают. Пришел ко мне парень и рассказывает, рассказывает... Я думала, он никогда не остановится. Я испугалась. Он тогда: “Вы извините, я пошел...” Незнакомый парень... Это нормально... Увидел женщину, захотел поделиться... У него на глазах от человека осталось... Полсапога целых... От пулеметного расчета... Знакомые ребята... Я думала, он не остановится. К кому он дальше пошел?

У нас тут два женских общежития: одно прозвали “Кошкин дом” — там живут те, кто два-три года в Афганистане, другое “Ромашка”, там новенькие, еще как бы чистенькие: любит — не любит, к сердцу прижмет — к черту пошлет. В субботу — солдатская баня, в воскресенье — женская. В офицерскую баню женщин не пускают, потому что женщины грязные... И эти же офицеры обращаются к нам... За одним... За этим самым... Стучатся ночью с бутылкой вина... В бумажниках фотографии детей, жен, они нам их показывают. Это нормально...

Начинается обстрел... Снаряд летит, этот свист... Внутри что-то обрывается... Болит внутри... Ушли на задание два солдата и собака. Собака вернулась, а их нет... (*Замолчала*). Начинается обстрел... Мы бежим в щели прятаться... А афганские дети пляшут на крышах от радости. Везут нашего убитого... Дети смеются, в ладоши хлопают. А мы им подарки в кишлаки привозим: муку, матрацы, плюшевые игрушки... Мишки, зайчики... А они танцуют... (*Молчит*). Начинается обстрел... Они счастливы...

Первый вопрос в Союзе: замуж вышла? Какие вам льготы дадут? Единственная наша льгота (для служащих): если убьют — тысяча рублей семье. Привезут в военторг товары, мужчины впереди: “Вы — кто? А нам женам надо подарки купить”. Ночью стучатся к нам... Это нормально... Тут так... Выполняют “интернациональный долг” и делают деньги. Существует ценник: банка сухого молока — пятьдесят афошек, военная шапка-фуражка — четыреста афошек... Зеркало с машины — тысяча, колесо с КамАЗа — восемнадцать--двадцать тысяч, пистолет Макарова — тридцать тысяч, автомат Калашникова — сто тысяч, машина мусора из военного городка (в зависимости от того, какой мусор, есть ли там железные банки, сколько их) — от семисот до двух тысяч афошек... Это нормально... Из женщин лучше всех живут те, кто спит с прапорщиками. Кто выше прапорщика? Только старший прапорщик. А на заставах ребята цингой болеют... Капустой гнилой питаются...

Медсестры рассказывают, что в палате безногих говорят обо всем, только не о будущем. Здесь... Никто не любит говорить о будущем. И о любви не говорят. Счастливым умирать, наверное, страшно. Страшнее. А мне маму жалко.

Кошка между убитыми крадется... Ищет поесть, боится. Ребята лежат... Как будто живые... Кошка, наверное, не знает: живые они или мертвые?

Остановите меня сами... Я буду рассказывать и рассказывать. А я никого не убила...

Служащая

— Иногда задумаюсь... А если бы я не попал на эту войну?

Я был бы счастливый... Я никогда бы не разочаровался в себе и ничего бы о себе не узнал из того, чего лучше о себе не знать. Как сказал Заратустра: не только ты заглядываешь в пропасть, но и она смотрит тебе в душу...

Учился на втором курсе радиотехнического института, но тянуло к музыке, к книгам об искусстве. Это был более близкий мне мир. Начал метаться, и вот в эту паузу — повестка в военкомат. А я человек безвольный, пытаюсь не вмешиваться в свою судьбу. Если вмешиваться, то все равно проиграешь, а так, что бы ни случилось, ты не виноват. Конечно, к армии готов не был. Врасплох ...Она меня застала врасплох...

В упор не говорили, но было ясно: едем в Афганистан. Я в свою судьбу не вмешивался... Выстроили на плацу, зачитали приказ, что мы воины-интернационалисты... Все воспринималось очень спокойно, не скажешь: “Я боюсь! Я не хочу!” Едем выполнять интернациональный долг, все разложено по полочкам. А на пересылке в Гардезе началось... Старослужащие отбирали все ценное — сапоги, тельняшки, береты. Все стоило денег: берет — десять чеков, набор значков, их у десантника должно быть пять — гвардейский, “Отличник Военно-воздушных Сил”, значок парашютиста, значок за классность и, мы его звали “бегунок”, значок воина-спортсмена, — этот набор оценивался в двадцать пять чеков. Отнимали рубашки парадные, их меняли у афганцев на наркотики. Подойдет несколько “дедов”: “Где твой вещмешок?” Пороются, что понравится, заберут — и все. В роте сняли со всех новое обмундирование, в обмен дали старое. Зовут в каптерку: “Тебе зачем здесь новое? А ребята в Союз возвращаются”. Домой писал: какое хорошее небо в Монголии — кормят хорошо, солнце светит. А это уже была война...

Выехали первый раз в кишлак...Командир батальона учил, как вести себя с местным населением:

— Все афганцы, независимо от возраста, бача. Поняли? Остальное покажу.

Встретили на дороге старика. Команда:

— Остановить машину. Все осмотреть!

Комбат подошел к старику, сбросил чалму, порылся в бороде:

— Ну, иди-иди, бача.

Это было неожиданно.

В кишлаке бросали детям перловую кашу в брикетах. Они убегали, думали, что кидаем гранаты.

Первый боевой выезд — сопровождение колонны... Внутри возбуждение, интерес: война рядом! В руках, на поясе — оружие, гранаты, которые раньше только на плакатах видел. На подходе к зеленой зоне... Я, как оператор-наводчик, очень внимательно смотрел в прицел... Появляется какая-то чалма...

— Серега, — кричу тому, кто сидит у пушки, — вижу чалму. Что делать?

— Стрелять.

— Так просто стрелять?

— А ты думал. — Дает выстрел.

— Еще вижу чалму... Белая чалма... Что делать?

— Стрелять!!!

Выпустили половину боекомплекта машины. Стреляли из пушки, из пулемета.

— Где ты видел белую чалму? Это сугроб.

— Серега, а твой “сугроб” бегаёт... Твой снеговик с автоматом...

Соскочили с машины, палили из автоматов.

Убить человека или не убить — так вопрос не стоял. Все время хотелось есть и спать, все время одно желание — скорее бы это кончилось. Кончить стрелять, идти... А ехать на раскаленной броне? Дышать едким сухим песком... Пули свистят над головой, а мы спим... Убить или не убить — это послевоенные вопросы, психология самой войны проще. Видеть во враге человека там нельзя. Не смогли бы убивать. Блокируем душманский кишлак... Стоим сутки, двое... Звереешь от жары, от усталости... И мы становились более жестокими, чем “зеленые”... Те все-таки свои, они в этих кишлаках росли... А мы, не задумывались... Чужая жизнь... Нам проще было бросить гранату...

Один раз возвращаемся—семь ребят ранены, двое контужены. Кишлаки вдоль дороги вымерли: кто в горы ушел, кто в своем дувале отсиживается. Вдруг выскакивает старая афганка, плачет, кричит, с кулаками бросается на броню... У нее убили сына... Она нас проклиняет... У всех она вызвала одно чувство: чего это она кричит, грозитя — убрать с дороги! Мы ее не убили, а могли убить. Столкнули в пыль и поехали дальше. Везем семь своих раненых...

Мы мало знали... Мы были солдаты, мы воевали... Наша солдатская жизнь от афганцев отделена, им запрещалось появляться на территории части. Нам было известно только, что они нас убивают. А всем хотелось жить. Я допускал, что меня могут ранить, даже желал быть легко раненым, чтобы полежать, отоспаться. Но умирать никто не хотел. Когда трое наших солдат зашли в дуكان, перестреляли семью дуكانщика, ограбили, начался разбор. Сначала в части отказывались: это, мол, не мы, не наши. Нам притащили наши пули, которые извлекли из убитых. Стали искать: кто? Нашли троих: офицера, прапорщика и солдата. Но помню, когда в роте шел обыск, похищенные деньги, вещи искали, было чувство унижения: как это из-за них, из-за каких-то убитых афганцев, обыскивают? Состоялся трибунал. Двоих приговорили к расстрелу — прапорщика и солдата. Все их жалели. Из-за глупости погибли. Называли это глупостью, а не преступлением. Убитой семьи дуكانщика как бы не существовало. Все разложено по полочкам—они и мы. Друг и враг. Только сейчас задумался, когда рассыпался стереотип... А ведь я никогда не мог без слез читать “Муму” Тургенева!

На войне с человеком что-то происходит, там человек тот и уже не тот. Разве нас учили: не убий? В школу, в институт приходили участники войны и рассказывали, как они убивали. У всех были приколоты к праздничным костюмам орденские планки. Я ни разу не слышал, что на войне убивать нельзя. Судят только тех, кто убивает в мирное время, они — убийцы, а в войну это именуется по-другому: “сыновний долг перед Родиной”, “святое мужское дело”, “защита Отечества”. Нам объясняли, что мы повторяем подвиг солдат Великой Отечественной. Как я мог усомниться? Нам всегда повторяли: мы самые лучшие, если мы самые лучшие, то зачем мне самому думать, все у нас правильно. Потом я много размышлял... Искал собеседника... Друзья говорили: “Ты или сошел с ума, или хочешь сойти с ума”. А я... Меня воспитывала мама, человек сильный, властный... Никогда не хотел вмешиваться в судьбу...

В “учебке” разведчики из спецназа рассказывали захватывающие истории. Жестокие и красивые. Хотелось быть сильным, как они. Ничего не бояться. Наверное, я живу с комплексом неполноценности: люблю музыку, книги, а тоже хотел бы ворваться в кишлак, перерезать всем горло и легко, с бравадой хвастаться после. Но я помню другое... Как испытал панический страх... Ехали... Начался обстрел... Машины остановились. Команда: “Занять оборону!” Начали прыгивать... Я встал... А на мое место подвинулся другой... Граната прямо в него... Чувствую, что лечу с машины плашмя... Медленно

опускаюсь, как в мультике. А куски чужого тела быстрее меня падают... Я лечу почему-то медленнее... Сознание все это фиксирует, вот что странно... Так, наверное, можно и свою смерть запомнить, проследить. Забавно... Упал... Как каракатица сползаю в арык... Лег и поднял вверх раненую руку, потом выяснилось, что был ранен легко. Но я держал руку и не двигался...

Нет, сильного человека из меня не получилось... Такого, чтобы ворваться в кишлак, перерезать кому-то горло... Через год я попал в госпиталь. Из-за дистрофии. Во взводе я оказался один “молодой”, десять “дедов” и я один “молодой”. Спал три часа в сутки. За всех мыл посуду, заготавливал дрова, убирал территорию. Носил воду. Метров двадцать до реки... Иду утром, чувствую: не надо идти-- там мина! Но так боялся, что меня снова избыют... Проснутся: воды нет, умыться нечем... И я пошел и подорвался. Но подорвался, слава Богу, на сигнальной мине. Ракета поднялась, осветила... Упал, посидел... Пополз дальше... Хотя бы ведро воды. Даже зубы почистить нечем... Разбираться не станут, будут бить. За год из нормального парня я превратился в дистрофика, не мог без медсестры пройти через палату обливался потом. Вернулся в часть, снова начали бить. Так били, что повредили ногу, пришлось делать операцию. В госпитале наведалься ко мне комбат:

— Кто бил?

Били ночью, но я все равно знал, кто бил. А признаться нельзя, стану стукачом. Это был закон, который нельзя нарушать.

— Чего молчишь? Скажи кто, под трибунал эту сволочь отправлю.

Я молчал. Власть извне была бессильна перед властью внутри солдатской жизни, именно эти внутренние законы решали мою судьбу. Те, кто пытался им противостоять, всегда терпели поражение. Я это видел... Я в свою судьбу не вмешивался... В конце службы сам пытался кого-то бить... У меня не получалось... “Дедовщина” не зависит от человека, ее диктует чувство стада. Сначала тебя бьют, потом ты должен бить. От дембелей я скрывал, что не могу бить. Меня бы презирали — и те, кого бьют, и те, кто бьет. Приехал домой, пришел в военкомат, а к ним цинковый гроб привезли... Это был наш старший лейтенант... В похоронке написано: “Погиб при исполнении интернационального долга”. А я в ту минуту вспомнил, как он напьется, идет по коридору и разбивает дневальным челюсти... Раз в неделю так развлекался... Не спрячешься, зубами плевать будешь... Человеческого в человеке грамм и капля — вот что я понял на войне. Нечего есть — он жестокий, ему плохо — он жестокий. Так сколько же в нем человека? Один только раз сходил на кладбище... На плитах: “геройски погиб”, “проявил мужество и отвагу”, “исполнил воинский долг”. Были, конечно, герои, если слово “герой” брать в узком смысле, например, в условиях боя прикрыл собой друга, вынес раненого командира в безопасное место... Но я знаю, что один у нас наркотиками отравился, другого застрелил часовой, когда он лез в пищевой склад... Мы все лазили в склад... Мечта — стуженка с печеньем. Но вы же об этом не напишете, обязательно вычеркнете. Никто не скажет, что там, под землей, лежит, какая правда. Живым — ордена, мертвым — легенды, — всем хорошо.

Война эта была, как здешняя жизнь... Все тоже самое, только смерти больше... Слава Богу, у меня теперь другой мир, и он закрыл тот. Это--мир книг, музыки, он меня спас. Не там, а здесь стал разбираться: где я был, что со мной и во мне происходило? Но думаю об этом один, не хожу в “афганские” клубы. Не представляю, чтобы я пошел в школу и рассказывал о войне, о том, как из меня, еще несформированного человека, лепили не убийцу, а что-то такое, что хотело только есть и спать. Я ненавижу “афганцев”. Их клубы похожи на армию. Те же армейские штучки: нам металлисты не нравятся — пойдем, ребята, набьем им морду! Гомиков отдубасим! Это тот кусок моей жизни, от

которого хочу отделиться, а не слиться с ним. У нас жестокое общество... Живет оно по жестоким законам... Раньше я этого не замечал.

Однажды в госпитале мы наворовали феназепам... Его применяют при лечении душевнобольных... Доза — одна-две таблетки... Кто съел десять, кто — двадцать... В три часа ночи одни пошли на кухню посуду мыть. А она была чистая. Другие сидели и мрачно играли в карты... Третий нужду справлял на подушке... Полный абсурд! Медсестра в ужасе убежала. Вызвала караул.

Такой эта война осталась у меня в памяти... Полный абсурд...

Рядовой, оператор-наводчик

— Родила двойню, два мальчика.. Но он у меня один из этой двойни остался...

До восемнадцати лет, до совершеннолетия, пока не пришла повестка в армию, стоял на учете в Институте охраны материнства. Разве таких солдат надо было в Афганистан посылать? Правильно меня соседка упрекала: “Не могла собрать пару тысяч и дать взятку?” Кто-то дал и спас сына. А моего вместо него отправили. А я не понимала, что деньгами надо спасать сына, я его душой спасала.

Приехала к нему на присягу. Вижу: не готов он для войны, растерян. Мы с ним всегда были откровенны:

— Ты не готов, Коля. Буду просить за тебя.

— Мама, не хлопочи и не унижайся. Ты думаешь, это кого-то тронет, что я не готов? Кто здесь на эти вещи обращает внимание?

Все-таки добилась приема у командира батальона. Стала просить:

— Сын у меня единственный... Если что-то случится, я не смогу жить. А он не готов. Вижу: не готов.

Он с участием отнесся:

— Обратитесь в свой военкомат. Если мне пришлют официальную бумагу, я его в Союзе распределю.

Самолет прилетел ночью, а в девять утра я уже прибежала в военкомат. Военком у нас товарищ Горячев. Он сидит, разговаривает по телефону. Я стою.

— Что у вас?

Рассказываю. Тут звонок. Он берет трубку, а мне:

— Никаких бумаг писать не буду.

Умоляю, на колени становлюсь. Готова руки ему целовать:

— Он же у меня единственный...

Даже из-за стола не поднялся.

Ухожу и все равно прошу:

— Запишите мою фамилию...

У меня все равно надежда: может, он подумает, может, он посмотрит дело сына, не каменный же?

Прошло четыре месяца. У них там ускоренные трехмесячные курсы, и сын уже пишет из Афганистана. Каких-то четыре месяца... Всего одно лето...

Утром иду на работу... Я спускаюсь по лестнице вниз, а они мне навстречу... Трое военных и женщина. Военные идут впереди, и фуражку каждый на левой полусогнутой руке несет. Откуда-то я знала, что это траур... Знак траура... Я тогда не вниз, а вверх побежала. И они, видно, поняли, что это мать. Они тоже наверх... А я тогда — в лифт и вниз... Мне надо выскочить на улицу, удрать! Спаситься! Ничего не услышать... Ничего! Пока я доехала до первого этажа — лифт останавливался, заходили люди, — они уже там

стоят и меня ждут. Нажимаю кнопку и вверх... На свой этаж... Слышу, как они входят... Прячусь в спальне... Они — за мной... Фуражки на руках...

И один из них — военком Горячев... Пока у меня были силы, я, как кошка, на него бросалась и кричала:

— Вы весь в крови моего сына! Вы весь в крови моего сына!

Он, правда, молчал, я его даже ударить хотела. Он молчал. А потом уже ничего не помню...

К людям меня потянуло через год. А до этого одна и одна, как прокаженная. Я была не права: люди не виноваты. Но мне тогда казалось, что все они виноваты в смерти моего сына: и знакомая продавщица в булочной, и незнакомый таксист, и военком Горячев, — все виновны. Тянуло меня не к этим людям, а к таким, как я. Мы на кладбище знакомились, возле могил. К вечеру, после работы одна мать с автобуса спешит, другая уже сидит возле своего камня, плачет, третья ограду красит. Разговоры у нас об одном... О детях... Только о них и говорим, будто они живые. Я эти разговоры все наизусть помню...

— Вышла на балкон: стоят два офицера и врач. Зашли в подъезд. Смотрю в глазок — куда двинутся? Остановились на нашей площадке. Поворачивают вправо... К соседям?! У них тоже сын в армии... Звонок... Открываю дверь: “Что, сын погиб?” — “Мужайся, мать...”

— А мне сразу: “Гроб, мать, у подъезда стоит. Где вам его поставить?” Мы на работу с мужем собирались... Яичница на плите жарилась... Чайник кипел...

— Забрали, постригли... И через пять месяцев гроб привезли...

— И моего через пять...

— Моего через девять...

— Спрашиваю у того, кто сопровождал гроб: “Есть там что-нибудь?” — “Я видел, как его в гроб положили. Он там”. Смотрю на него, смотрю, он голову вниз опускает: “Что-то там есть...”

— А запах был? У нас был...

— И у нас был. Даже черви беленькие на пол падали...

— А у меня никакого запаха. Только свежее дерево. Сырые доски...

— Если вертолет сторел, то их по частям собирают. Руку найдут, ногу... По часам узнают... По носкам...

— А у нас во дворе гроб час простоял. Сын два метра ростом, десантник. Привезли саркофаг — деревянный гроб и второй, цинковый... С ним в наших подъездах не развернешься... Семь мужчин еле подняли...

— Моего восемнадцать дней везли... Их насобирают целый самолет... “Черный тюльпан”... Сначала на Урал доставили, потом в Ленинград... А после в Минск...

— Ни единой вещички не вернули. Ну, пусть бы какая-нибудь память... Он курил, хотя бы зажигалка осталась...

— Хорошо, что не открывают гроб... Мы и не видели, что сделали с нашими сыновьями. Он у меня всегда живой перед газами. Целенький.

Так и сидим, пока солнце зайдет. Нам там хорошо, потому что детей вспоминаем.

Сколько мы проживем? С такой болью в душе долго не живут. И с такими обидами.

В райисполкоме пообещали:

— Дадим вам новую квартиру. Выберете любой дом в нашем районе.

Нашла: кирпич, а не панели, планировка новая и до кладбища удобно добираться. Без пересадок. Называю адрес:

— Вы что, с ума сошли? То цековский дом, для партийной элиты.

— Так кровь моего сына такая дешевая?

Секретарь парткома в нашем институте хороший человек, честный. Не знаю, как он попал в ЦК, он пошел за меня просить. Мне он только сказал:

— Ты бы слышала, что они мне говорили. Мол, она горем убита, а ты что? Чуть из партии не выгнали.

Надо было самой пойти. Что бы они мне ответили?

Буду сегодня у сыночка... Подруг встречу... Мужчины на войне воюют, а женщины после... Мы после войны воюем...

Мать

— Я был дурак... Восемнадцать лет... Что я понимал? (*Нанекает*).

От Тамбова и до Вены,
От Бордо до Костромы —
Любят женщины военных...

Песня гусара... Я себе нравился в военной форме, мне идет. Мужчина в военной форме всегда нравится женщинам... Так было сто лет назад, двести... И сегодня так...

Показывали войну по телевизору, я не отходил. Меня возбуждали выстрелы, возбуждала смерть, возбуждали, да. Возбуждали — и все тут. Я попал на войну и первые месяцы хотел, чтоб на моих глазах произошло убийство, и я бы смог об этом написать другу. Я был дурак... Восемнадцать лет...

Из военной присяги:

“...Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик, и, как воин Вооруженных Сил СССР, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами...”

Афган оказался мне раем... Раньше я видел такое только в «Клубе кинопутешествий»... По телику... Глинобитные дома, чужие птицы. Гирлянды гор. Гор я никогда не видел. И верблюдов... Увидел, как растут апельсины... Что мины подвешивают на деревьях, как апельсины (зацепится антенна за ветку — взрыв), я узнал позже. Поднимается ветер — «афганец», на расстоянии вытянутой руки мгла, темнота, ты слепой. Принесут кашу, в котелке половина песка... Через несколько часов — солнышко, горы. Пулеметная очередь или выстрел из гранатомета, щелчок снайпера. Двоих нет. Постояли, постреляли. Двинулись дальше. И снова — солнышко, горы. Блеск исчезнувшей в песках змеи. Рыбий блеск... (*Задумывается*). Обычно я говорю плохо. Косноязычно... Сегодня стараюсь... В школе я не был отличником, а на войне не был героем. Простой городской мальчишка. Вырос во дворе, родителям некогда было заниматься нашим воспитанием. Росли в школе и во дворе. Я не знаю, как отвечать на ваши вопросы. Не умею... Я — человек средний, никогда не задумывался о больших вещах. Одно помню... Даже если рядом свистят пули, что такое смерть, ты еще не представляешь. Лежит в песке человек, а ты его зовешь... Ты еще не понял... Внутренний голос подсказывает: “Вот она, смерть... Вот она какая...” Меня ранили в ногу, не так сильно... Подумал: “Я, кажется, ранен”. С удивлением подумал... Отстраненно... Нога болит, но еще не верится, что это уже и со мной произошло. Еще новенький, еще хочется пострелять. Ребята взяли нож, разрезали голенище сапога — мне вену перебило. Наложили жгут. Больно, но показать, что больно, я не мог, не уважал бы себя как мужчину. Терпел. Бежал от танка к танку — открытая мишень, метров сто. Там обстрел, там камни крошатся, но я не могу сказать, что я не побегу или не поползу. Я бы себя не

уважал... Перекрестился — и побежал... Поковылял... В ботинках кровь, везде кровь. Бой еще продолжался больше часа. Выехали мы в четыре утра, а бой кончился в четыре часа дня, и мы ничего за это время не ели. У меня руки были в собственной крови, мне это не мешало, ел белый хлеб этими руками. Потом мне передали, что мой друг скончался в госпитале, ему пуля попала в голову. Я представлял, что раз он погиб, то через несколько дней на вечерней поверке будет так -- кто-то, может быть, за него ответит: “Дашко Игорь погиб при исполнении интернационального долга”. Он тихий был, как и я, не герой, вперед не лез, но все равно его не должны были сразу забыть, вычеркнуть из списков. Но никто, кроме меня, его уже не помнил... Я решил проститься с ним... Он лежал в гробу... Я долго смотрел, вглядывался, чтобы потом вспоминать...

...В Ташкенте...В кассах — билетов нет. Вечером договорились в поезде с проводниками: дали им по пятьдесят рублей, сели и поехали. Нас было всего четыре человека в вагоне и два проводника, каждый получил по сто рублей. Бизнес ребята делали. А нам было наплевать! Мы смеялись беспричинно, клокотало внутри: “Живые! Живые!”

Дома открыл дверь... Взял ведро и пошел за водой через двор... Через свой двор!

Военную награду — медаль — вручили в институте. Потом статья в газете появилась: “Награда нашла героя”. Мне смешно, будто меня искали красные следопыты, и сорок лет после войны прошло. И не говорил я, что мы поехали туда во имя того, чтобы на афганской земле загорелась заря Апрельской революции. А написали...

До армии любил охоту. Была мечта: отслужу, уеду в Сибирь и буду там охотником, егерем. А теперь... Я был дурак... Восемнадцать лет... Но уже на войне две вещи беспокоили: вернуться домой и никого не убивать. Пошли с другом на охоту, он застрелил гуся, а потом мы увидели подранка. Я бежал за ним... Он стрелял... А я бежал, чтобы поймать живого... Я не хотел убивать...

Я был... Восемнадцать лет... Что я понимал? Я читал много военных книжек, там красиво написано. А мне рассказать нечего...

(Я собираюсь уже уходить. Неожиданно он открывает холодильник, достает бутылку водки, наливает полстакана и залпом выпивает).

К с...й матери эту жизнь! Эту войну! Жена сказала: «Ты — фашист!»--и ушла. Дочку забрала. Все, что я тут плел вам--пшик! Сказка! Я — не знаток женщин и устройства мира...На войне думал: «Приду — и женюсь». Приехал — и женился. *(Наливает себе еще водки)*. Водка...Книга и водка...Тут зарыта тайна русской души, ищите тут основу русского патриотизма. «Ты — фашист!» — и ушла. Будь прокляты кремлевские мумии!! Им нужна была мировая революция... А у меня жизнь одна...Одна жизнь! Я помню глаза собаки, которая сидела возле убитого солдата... Э-э-э...Чертовы мумии! Вчера видел сон... Люди носились со скоростью снарядов и действовали, как снаряды. Падали бомбы... Я не знаю, что это за бомбы — все люди мертвые, а автобус и вещи целые...Абсолютно! Э-э-э... Люблю! Я ее люблю... Других женщин не знал... Плевать мне на войну! Герои? Герои такие люди, как и остальные: лживые, жадные и выпивохи. Не придумывайте героев... Не сочиняйте... Про любовь лучше напишите... Чем пахнет война? Э-э-э...Это запах убийства, а не смерти... Смерть по-другому пахнет... *(Еще наливает водки)*. Водки даме не предлагаю, а вина, блин, не имею, вино не употребляю. За любовь! Сами афганцы не боялись смерти...Если люди не боятся смерти, как им можно угрожать смертью? Мы решили, что если у них нет в доме туалетов и туалетной бумаги (камешками подтираются), то они ниже нас. Питекантроп в каждом...В каждом из нас сидит...

Я ей все это рассказывал...Может, зря? Конечно, зря... Надо было в героя играть... А я рассказывал, что человека убить также просто, как утку на охоте. Берешь на

мушку, выцеливаешь и нажимаешь спусковой крючок. Первое время, стреляя, я закрывал глаза, а потом смотрел. Пьяный... Могу... Э-э-э...Скажу... Хотелось все время женщину... Непредсказуемо, блин... Человек ведет себя на войне непредсказуемо... Если бы я вернулся героем, жена бы от меня не ушла. Войну проиграли...Страна развалилась... За что женщинам уважать мужчин?! Блин! Я пьянею... Пардон, мадам писательница. Хотели правду? Вот вам правда... Умереть легко, жить трудно. Ну, в смысле.... Ну, как... Лежит убитый, а из кармана выпала куча чеков. На жизнь собирал, на красивую жизнь. Я был дурак... Дурак... А война... Там много красивого...Огонь – это красиво... Деревня горит — сгорела, люди убегают и отвязали, выпустили всех животных. Вернулись... Домов нет... Выбегают им навстречу животные и люди их обнимают, плачут, зовут по имени: «Ты живая! Ты живой!» (*Пытается поставить стакан прямо, а он падает.*) Отставить! Стоять! Твою мать, стоять!! Пардон, мадам...Я пью, вы сами видите – пью. Буду пить, пока не забуду... Войну не забуду...Жену... Из малопьющих я... Пьет, а ему все мало... Вот она и ушла... Пять лет терпела... Я приносил ей цветы, в каждом кармане по букету подснежников. Самых первых! Я пьяный...Э-э-э... Гробы были сбиты со щелями, как ящики с фруктами...В казарме... На стене плакат о нерушимой советско-афганской дружбе...Так!! А, может, она вернется? Я брошу пить...(Берет в руки бутылку). Книга и водка... Две русских тайны... Сейчас я много читаю. Когда живешь без любви, появляется много времени. А телевизор я не люблю...Пишите, мадам...Пишите...А почему бабы про войну пишут, а где же мужики? Твою мать! Это знание не из книг, не из того, что видел, оно еще раньше во мне было. Откуда-то. Издалека. Знание про войну...

А про любовь ничего не понимаю, для меня женщина непонятнее войны...Страшнее...

Рядовой, танкист

— Кто вам сказал, что люди не любят войну? Кто вам это сказал...Это не правда...

Уехал я в Афганистан не один... Со своей собакой Чарой... Крикнешь: “Умри!” — и она падает. “Закрой глаза” — и она лапами закрывает морду и глаза. Если мне не по себе, сильно расстроен, она садилась рядом и плакала. Первые дни я немел от восторга, что я там. С детства тяжело болел, в армию меня не брали. Но как это? Парень — и не служил в армии? Стыдно. Будут смеяться. Армия — школа жизни, там становятся мужчинами. Попал в армию. Начал писать рапорты, чтобы послали в Афганистан.

— Ты там сдохнешь за два дня, — пугали меня.

— Нет, я должен быть там. — Я хотел доказать, что я такой же, как и все.

От родителей скрыл, где служу. С двенадцати лет у меня воспаление лимфоузлов, и они, конечно, созвали бы всех докторов. Написал, что посылают в ГДР. Сообщил только номер полевой почты, мол, секретная часть, город назвать нельзя.

Привез с собой собаку и гитару. В особом отделе спросили:

— Как ты сюда попал?

— А вот так... — Рассказываю, сколько рапортов подал.

— Не может быть, чтобы сам. Ты что, сумасшедший?

Никогда не курил. Захотелось закурить.

Увидел первых убитых: ноги отрезаны по самый пах, дыра в голове... Отошел и упал...Ну, да...Герой! Вокруг песок и песок. Ничего не растет, кроме верблюжьих колючек. Первое время вспоминал о доме и маму, а потом мысли только о воде. Пятьдесят градусов выше нуля, кожа плавится на автомате. Я ходил с красными,

обожженными руками. Любимое воспоминание... Наваждение... Как ходили в Союзе в увольнительную и до онемения в горле наслаждались сливочным мороженым. После боя запах жареного... Вот говорят: «Душа! Душа!» На войне душа что-то отвлеченное, там человек переводится в другое состояние. Сны тяжелые... Просыпался все время от дикого хохота. Иногда даже кто-то пазовет меня по имени... Открою глаза и вспоминаю: война! Я — на войне! Утро... Ребята моются, бреются... Шутки, прибаутки и приколы: налить кому-нибудь в штаны воды... Если в походе, то сон короткий — два-три часа, самое лучшее попасть в наряд в начале ночи, так как утром самый крепкий сон. Утренняя смена еще обязана вскипятить чай. В походе пищу готовили на костре. Походный паек: две двухсотграммовые банки каши с мясом, маленькая баночка с паштетом, сухари или галеты, две упаковочки сахара (как в поезде) и два пакетика чая. Изредко выдавали тушенку, из расчета одна банка на несколько человек. С кем-нибудь сдруживаешься: в его котелке разогреваем кашу на двоих, в моем — кипятим чай.

Ночью кто-то стащил автомат убитого... Нашли. Наш солдат. Продал в дуکان за восемьдесят тысяч афгани. Покупки показал: два магнитофона, джинсовые тряпки. Мы сами его убили бы, растерзали, но он был под стражей. На суде сидел, молчал. Плакал. В газетах писали о “подвигах”. Мы возмущались. Но загадка: вернулся домой, прошло два года, я читаю газету, ищу о “подвигах” — и верю.

Там казалось: вернусь домой — все переделаю в своей жизни. Переменю. Многие возвращаются, разводятся, наново женятся, уезжают куда-нибудь. Кто в Сибирь строить нефтепроводы, кто в пожарники. Туда, где риск. Уже нельзя удовлетвориться существованием вместо жизни. Я там видел обожженных ребят... Сначала они желтые, одни глаза блестят, а кожа слезает — они розовые... А подъем в горы? Это так: автомат — само собой, удвоенный боекомплект, — килограммов десять патронов, гранат столько-то килограммов, плюс еще каждому человеку по мине — это еще килограммов десять, бронежилет, сухпак, — в общем, со всех сторон навешано на тебе килограммов сорок, если не больше. У меня на глазах человек становился мокрым от пота, будто его ливень исхлестал. Я видел оранжевую корку на застывшем лице убитого... Почему-то оранжевую... Видел дружбу, трусость... Низость... Но вы, пожалуйста, не бейте наотмашь... Осторожно с этим... Много сейчас... Хулы много. Но почему никто не положил партбилет? Никто пулю в лоб себе не пустил, когда мы были там? А вы? Что делали вы, известная писательница, когда мы были там? (*Хочет закончить разговор, но потом передумывает*). Вы книжку писали... Да? И смотрели телевизор...

Вернулся... Мать, как маленького, раздела, всего оцупала: “Целенький, родненький”. Сверху целенький, а внутри горит. Все мне плохо: яркое солнце — плохо, веселая песня — плохо, чей-то смех — плохо. Боялся оставаться дома один, спал с полуоткрытыми глазами. В моей комнате те же книги, фото, магнитофон, гитара. Только меня того ... Нет... Через парк пройти не могу — оглядываюсь. В кафе официант станет за спиной: “Заказывайте”. А я готов вскочить и убежать, не могу, чтобы у меня кто-то за спиной стоял. Увидишь подонка, одна мысль: “Расстрелять его!”. На войне приходилось делать прямо противоположное тому, чему нас учили в мирной жизни. А в мирной жизни надо было забыть все навыки, приобретенные на войне. Я стреляю отлично, прицельно метаю гранаты. Кому это здесь надо? Там нам казалось, что есть что защищать. Мы защищали нашу Родину, нашу жизнь. А тут — друг не может одолжить тройка: жена не разрешает. Разве это друг? И разве мы думали... Мы не готовились оправдываться...

Я понял: дома мы не нужны. Не нужно то, что мы пережили. Это лишнее, неудобное. И мы лишние, неудобные. Сразу после Афгана работал слесарем по ремонту автомобилей, инструктором в райкоме комсомола. Ушел. Везде болото. Люди заняты заработками, дачами, машинами, копченой колбасой. До нас никому нет дела. Если бы мы

сами не защищали свои права, то это была бы неизвестная война. Если бы нас не было так много, сотни тысяч, нас замолчали бы, как замолчали в свое время Вьетнам, Египет... Там мы все вместе ненавидели “духов”. Кого же мне сейчас ненавидеть, чтобы у меня были друзья?

Ходил в военкомат, просился куда-нибудь в «горячую точку»...

Утром просыпаешься и рад, что не помнишь снов. Я никому свои сны не рассказываю. Но все помню.

Вот один из моих снов...

Как будто я сплю и вижу большое море людей... Все возле нашего дома... Я оглядываюсь, мне тесно, но почему-то я не могу встать. Тут до меня доходит, что я лежу в гробу... Гроб деревянный, цинковой обертки на нем нет. Помню это хорошо... Но я живой, помню, что я живой, но я лежу в гробу. Открываются ворота, все выходит на дорогу, и меня выносят на дорогу. Толпы народа, у всех на лицах горе и еще какой-то восторг тайный... Мне непонятный... Что случилось? Почему я в гробу? Вдруг процессия остановилась, я услышал, как кто-то сказал: “Дайте молоток”. Тут меня настигает мысль: я вижу сон... Опять кто-то повторяет: “Дайте молоток”... Оно как наяву и как во сне... И третий раз кто-то сказал: “Подайте молоток”. Я услышал, как хлопнула крышка, застучал молоток, один гвоздь попал мне в палец. Я начал бить головой в крышку, ногами. Раз — и крышка сорвалась, упала. Люди смотрят — я поднимаюсь, поднялся до пояса. Мне хочется закричать: больно, зачем вы меня заколачиваете гвоздями, мне там нечем дышать. Они плачут, но мне ничего не говорят. Все как немые... На лицах восторг, восторг тайный... Невидимый... И я его вижу... О нем догадываюсь... И я не знаю, как мне заговорить с ними так, чтобы они услышали. Мне кажется, что я кричу, а губы мои сжаты, не могу их раскрыть. Тогда я лег назад в гроб. Лежу и думаю: они хотят, чтобы я умер, может, я действительно умер, и надо молчать. Кто-то опять говорит: “Дайте мне молоток...”

Рядовой, связист

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

*“Не обращайтесь к вызывающим мертвых.
И к волшебникам не ходите...”*

“Вначале сотворил Бог небо и землю...

И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды...

И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место и да явится суша. И стало так...

И произвела земля зелень: траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его...

И был вечер, и было утро: день третий...”

Что ищу в Священном писании? Вопросы или ответы? Какие вопросы и какие ответы? Сколько в человеке человека? Одни думают — много, другие утверждают — мало. Под тоненьким слоем культуры тут же обнаруживается зверь. Так сколько?

Он мог бы мне помочь, мой главный герой ...Но он давно молчит...

Неожиданно к вечеру—звонок:

— Все глупо было? Да? Так выходит? Понимаешь, что это для меня? Для нас? Я ехал туда нормальным советским парнем. Родина нас не предаст! Родина нас не обманет! Нельзя безумному запретить безумие его... Одни говорят — мы вышли из чистилища, другие — из помойной ямы... Чума на оба ваших дома! Я жить хочу! Я любить хочу! У меня скоро родится сын... Я назову его Алешкой — имя погибшего друга. Родится потом девочка, я хочу еще девочку, все равно будет Алешка...

Мы же не струсил! Не обманули вас! Все, баста! Больше не позвоню...Для меня эта история кончилась...Я выхожу из нее... Я не застрелюсь и не брошусь вниз головой с балкона...Я хочу жить! Любить! Я во второй раз выжил...Первый раз там, на войне...Второй раз - здесь...Здесь тоже было одиноко и страшно... Все! Прощай!

Он положил трубку.

А я еще долго с ним разговариваю. Слушаю...

Автор

— Над могилами повесьте таблички, выберите на камнях, что все было зря! Выберите на камнях, чтобы на века...

Мы еще там гибли, а нас уже здесь судили. Раненых привозили в Союз и разгружали на задворках аэропорта, чтобы народ не заметил. Не знал...Никто из вас не задумывался: почему после службы в армии в мирное время молодые парни возвращаются с орденом Красной звезды и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Привозят гробы и калек. Никто не задавал таких вопросов... Я не слышал... Я слышал другое... В восемьдесят шестом приехал в отпуск, и у меня спрашивали: вы там загораете, ловите рыбу, зарабатываете бешеные деньги? Газеты молчали или ввали. Телевидение тоже. Мы — оккупанты, — пишут теперь. Если мы были оккупантами, почему мы их кормили, раздавали лекарства? Входим в кишлак — они радуются... Уходим — они тоже радуются... Я так и не понял, почему они всегда радовались?

Едет автобус... Дети и женщины, даже на крышах сидят. Останавливаем: проверка! Сухой пушечный выстрел – мой боец падает лицом в песок... Переворачиваем его на спину: пуля в сердце попала... Я готов был их всех гранатометом сечь... Обыскали-пистолета не нашли и никакого другого оружия. Корзинки с фруктами, медные чайники на продажу. Одни женщины в автобусе и бачата, как цыганята. А мой боец падает лицом в песок...

Над могилами повесьте таблички, выбейте на камнях, что все было зря!

Шли, как обычно... На несколько минут я вдруг потерял дар речи... От какого-то предчувствия... Хотел крикнуть: “Стой!”, а не мог. Я продолжал идти... Вспышка! На какое-то время... Какой-то миг... Произошла потеря сознания, а затем — вижу себя на дне воронки... Пополз... Боли не чувствовал... Не хватало только сил ползти, меня все обгоняли... Метров четыреста ползти, меня все обгоняли... Метров четыреста ползти... А потом кто-то первый сказал: “Сядем. Уже в безопасности”. Я хотел сесть, как все, и... тут только увидел, что у меня нет ног... Рванул к себе автомат, застрелюсь!! У меня выхватили автомат... Кто-то сказал: “Майор без ног... Мне жалко майора...” Как я услышал слово “жалко”, у меня боль пошла по всему телу... Я услышал такую страшную боль, что стал выть...

У меня до сих пор привычка ходить только по дороге. По асфальту. По тропинке в лесу не пойду... По траве боюсь ходить... Мягкая весенняя трава возле нашего дома, а мне все равно страшно. В госпитале те, у кого нет обеих ног, просились в одну палату. Нас собралось четыре человека... Возле каждой койки две деревянных ноги, всего восемь деревянных ног... На двадцать третье февраля, в День Советской Армии, учительница привела к нам девочек-школьниц с цветами. Поздравить. Они стоят и плачут. Два дня никто в палате к еде не притрагивался. Молчали.

К одному родственничек заявился, торгом нас угощал:

— Все было зря, ребята! Зря! Но ничего: пенсию дадут, целыми днями телевизор будете смотреть.

— Пошел ты! — четыре костыля в него полетели.

Одного потом в туалете с петли снял... Обкрутил шею простыней, хотел на оконной ручке повеситься... Получил письмо от девочки: “Знаешь, “афганцы” уже не в моде...” А у него двух ног нет...

Над могилами повесьте таблички, выбейте на камнях, что все было зря! Скажите об этом мертвым...

Майор, командир горнострелковой роты

— Вернулась я оттуда с чувством, что хочу долго сидеть у зеркала... И расчесывать волосы...

Хочу ребенка родить. Пеленки стирать, слышать детский плач. А врачи не разрешали: “Сердце ваше не выдержит этой нагрузки”. Я не послушала... Девочку свою рожала тяжело... Делали кесарево сечение, потому что начался сердечный приступ. “Но никто не поймет, — получила в больнице письмо от подруги, — что вернулись мы больные. Скажут: мол, это же не ранение...”

И никто, наверное, сейчас не поверит, как все для меня началось... Весною восемьдесят второго года... Меня, студентку-заочницу университета (училась на третьем курсе филологического факультета) вызвали в военкомат:

— Нужны медсестры в Афганистане. Как вы к этому относитесь? Будете получать там полтора оклада. Плюс чеки.

— Но я учусь. — После окончания медицинского училища я работала медсестрой, но мечтала о новой профессии — хотела стать учительницей. Одни сразу находят свое призвание, а я первый раз ошиблась.

— Вы комсомолка?

— Да.

— Подумайте.

— Я хочу учиться.

— Советуем подумать. А нет, позвоним в университет, скажем, какая вы комсомолка. Родина требует...

В самолете Ташкент — Кабул моей соседкой оказалась девушка, которая возвращалась из отпуска:

— А уют ты с собой взяла? Нет? А электрическую плитку?

— Я на войну еду.

— А, понятно, еще одна романтическая дура. Книжек военных начиталась...

— Не люблю я военные книжки.

— Зачем тогда едешь?

Это проклятое “зачем” будет меня там преследовать все два года.

И правда — зачем?

То, что называлось пересылкой, представляло собой длинный ряд палаток. В палатке “Столовая” кормили дефицитной гречкой и витаминами “Ундевит”.

— Ты — красивая девочка. Зачем ты здесь? — спросил пожилой офицер.

Я расплакалась.

— Кто тебя обидел?

— Вы обидели.

— Я?!

— Вы сегодня пятый, кто меня спрашивает-- зачем я здесь?

Из Кабула в Кундуз — самолетом, из Кундуза в Файзабад — вертолетом. С кем ни заговорю о Файзабаде: да ты что? Там стреляют, убивают, короче — прощай! Посмотрела на Афганистан с высоты, большая красивая страна — горы, как у нас, горные реки, как у нас (я была на Кавказе), просторы, как у нас. Полюбила!

В Файзабаде я стала операционной сестрой. Мое хозяйство — палатка “Операционная”. Весь медсанбат располагался в палатках. Шутили: “Спустил с раскладушки ноги — и уже на работе”. Первая операция — ранение подключичной артерии у старой афганки. Где сосудистые зажимы? Зажимов не хватает. Держала пальцами. Коснулось шовного материала: берешь одну катушку с шелком, еще одну, и они тут же рассыпаются в пыль. Видно, лежали на складах еще с той войны, с сорок пятого года.

Но афганку мы спасли. Вечером заглянули с хирургом в стационар. Хотели узнать, как она себя чувствует? Она лежала с открытыми глазами, увидела нас... Зашевелила губами... Я думала: она хочет что-то сказать. Поблагодарить. А она хотела в нас плюнуть... Я тогда не понимала — они имеют право на ненависть... Почему-то ждала от них любви. Стояла окаменевшая: мы ее спасаем, а она...

Раненых привозили на вертолетах. Как услышишь гул вертолета, бежишь.

Столбик термометра застывает на отметке сорок градусов...Сорок градусов выше нуля! Бывало и пятьдесят...В операционной нечем дышать. Салфеткой еле успеваю вытирать пот хирургам, они стоят над открытыми ранами. Через трубочку от капельницы, протетую под маску, кто-нибудь из “нестерильных” медиков дает им попить. Не хватало кровезаменителей. Вызывают солдата. Он тут же ложится на стол и дает кровь. Два хирурга... Два стола... И я одна операционная сестра... Ассистировали терапевты. Они

понятия не имели о стерильности. Мотаюсь между двумя столами. Вдруг над одним столом гаснет лампочка. Кто-то берет и выкручивает ее стерильными перчатками.

— Вон отсюда!

— Ты что?

— Вон!!

На столе лежит человек... У него раскрыта грудная клетка...

— Вон!!!

Сутки за операционным столом стоим, бывало, что и двое. То с боевых раненых везут, то неожиданно начнутся самострелы — в колено себе выстрелит или пальцы на руке повредит. Море крови... Не хватало ваты...

Тех, кто решался на самострел, презирали. Даже мы, медики, их ругали. Я ругала:

— Ребята гибнут, а ты к маме захотел? Коленку он поранил... Пальчик зацепил... Надеялся, в Союз отправят? Почему в висок не стрелял? Я на твоём бы месте в висок стреляла.

Клянусь, я так говорила! Мне они тогда казались презренными трусами, только сейчас я понимаю, что это, может быть, и протест был, и нежелание убивать. Но это только сейчас я начинаю понимать.

В восемьдесят четвертом... Возвратилась домой... Знакомый парень нерешительно спросил:

— Как ты считаешь: должны мы там быть?

Я негодовала:

— Если бы не мы, там были бы американцы. Мы – интернационалисты.

Как будто я могла это чем-то доказать.

Удивительно, как мало мы там задумывались. Видели наших ребят, покореженных, обожженных. Видели их и учились ненавидеть. Думать не учились. Поднималась на вертолете... Дыхание останавливалось от красоты! У пустыни своя красота, песок не мертвый, он движется, живет. Расстились горы, покрытые красными маками или какими-то неизвестными мне цветами... А я уже не могла любоваться этой красотой. Всем сердцем уже не могла. Мне больше нравился май, обжигающий своей жарой, тогда я смотрела на пустую, сухую землю с чувством мстительного удовлетворения: так вам и надо. Из-за вас мы тут погибаем, страдаем. Ненавидела!

Дни не помню... Помню раны... Раны огнестрельные, раны минновзрывные... Вертолеты садятся и садятся. Несут на носилках... Они лежат, прикрытые простынями, а по белому красные пятна ползут...

Думаю... У себя спрашиваю... Почему я только страшное вспоминаю? Была же дружба, взаимовыручка. И геройство было. Может, мне мешает та старая афганка? Сбивает меня... Мы ее спасли, а она хотела в лицо нам плюнуть... Я потом узнала... Ее привезли из кишлака, через который прошли наши спецназовцы... Никого живого не осталось, только она одна. Из всего кишлака. А если с самого начала, то из этого кишлака стреляли и сбили два наших вертолета. Обгоревших вертолетчиков вилами закололи... А если до самого конца, до самого... То мы не задумывались: кто первый — кто последний? Мы лишь своих жалели...

У нас послали на боевые врача. Он первый раз вернулся, плакал:

— Меня всю жизнь учили лечить. А я сегодня убивал... За что я их убивал?

Через месяц он спокойно анализировал свои чувства:

— Стреляешь иходишь в азарт: на, получай!

Ночью на нас падали крысы... Обтягивали кровати марлевым пологом. Мухи были величиной с чайную ложку. Привыкли и к мухам. Нет животного неприхотливее человека. Нет!

Девочки засушивали на память скорпионов. Толстые, большие, они “сидели” на булавках или висели на ниточках, как брошки. А я занималась “ткачеством”. Я брала у летчиков парашютные стропы и вытягивала из них нити, которые потом стерилизовала. Этими нитями мы зашивали, штопали раны. Из отпуска везла чемодан игл, зажимов, шовного материала. Сумасшедшая! Привезла уют, чтобы не сушить на себе зимой мокрый халат. И электрическую плитку.

По ночам крутили всей палатой ватные шарики, стирали и сушили марлевые салфетки. Жили одной семьей. Мы уже предчувствовали, что, когда вернемся, будем потерянным поколением. Лишними людьми. Когда стали прибывать уборщицы, библиотекари, заведующие гостиницами, мы сначала недоумевали: для чего уборщица на два-три модуля или библиотекарь для двух десятков потрепанных книг? Зачем тысячи женщин на этой войне? Для чего? Ну, понимаете...Интеллигентно не объясню... На литературном языке...А по простому, так только для одного... Чтобы мужчины не взбесились...Мы сами сторонились этих женщин, хотя они ни в чем не были перед нами виноваты.

А я там любила... У меня был любимый человек... Он и сейчас живет... Но мужа я обманула, когда выходила замуж, я сказала, что того, кого я любила, убили. Его не убили...Это мы убили нашу любовь...

— А встречалась ли ты с живым “духом”? — спросили у меня дома. — Он, конечно, с бандитской рожей и кинжалом в зубах?

— Встречала. Красивый молодой человек. Окончил Московский политехнический институт. А моему младшему брату представлялось что-то среднее между временем гражданской войны и горцами из “Хаджи-Мурата” Толстого.

— А почему вы работали по двое-трое суток? Могли отработать восемь часов и идти отдыхать.

— Вы что! Не понимаете?!

Не понимают... А я знаю, что нигде не буду так необходима, как там. Хожу на работу, читаю книги, стираю. Слушаю музыку. Но того смысла жизни, который был там, здесь нет. Тут все в полсилы... В полголоса...

Медсестра

— Родила двоих сыновей, два дорогих мальчика...

Росли: один большой, второй маленький. Старший Саша в армию идет, а младший Юра в шестом классе.

— Саша, куда тебя посылают?

— Куда Родина прикажет, туда и поеду.

Говорю младшему:

— Смотри, Юра, какой у тебя брат!

Пришло солдатское письмо. Юра бежит ко мне с ним:

— Нашего Сашу на войну посылают?

— На войне убивают, сынок.

— Ты, мама, не понимаешь. Он вернется с медалью “За отвагу”.

Вечером с друзьями во дворе играют — воюют с “духами”:

— Та-та... Та-та... Та-та...

Вернется домой:

— Как ты думаешь, мама, война закончится раньше, чем мне исполнится восемнадцать лет?

— Я хочу, чтобы раньше.
— Повезло нашему Саше — героем будет. Пусть бы ты меня раньше родила, а его потом.
...Принесли Сашин чемоданчик, в нем синие плавки, зубная щетка, кусок мыленного мыла и мыльница. Справка об опознании.
— Ваш сын умер в госпитале.
У меня как пластинка в голове...Его слова: “Куда Родина прикажет, туда и поеду... Куда Родина прикажет, туда и поеду...”
Внесли и вынесли ящик, как будто в нем ничего не было.
Маленькие они были, зову: “Саша!” — бегут оба, зову “Юра!” — один и другой отзывается.
Всю ночь сидела и звала:
— Саша! — Ящик молчал, ящик тяжелый, цинковый. Подняла наутро глаза — увидела младшего. — Юрочка, а где ты был?
— Мама, когда ты кричишь, мне хочется убежать на конец земли.
Прятался у соседей. С кладбища убежал, еле нашли.
Привезли Сашины награды: три ордена и медаль “За отвагу”.
— Юра, посмотри, какая медаль!
— Я, мама, вижу, а наш Саша не видит...
Три года, как сына нет, ни разу не приснился. Брючки его под подушку кладу, его маечку:
— Приснись, сынок. Приди повидаться.
Не идет. В чем я перед ним провинилась?
Из окна нашего дома видна школа и школьный двор. Дети там играют — воют с “духами”. Только слышу:
— Та-та... Та-та... Та-та...
Лежу ночью и прошу:
— Приснись, сынок. Приди повидаться.
И один раз снится мне гроб... Окошечко там, где голова, большое... Наклоняюсь поцеловать... Но кто там лежит? Это не мой сын... Кто-то черненький... Какой-то афганский мальчик, но на Сашу похожий... Сначала мысль: это он убил моего сына... Потом догадка: но и он же мертвый. И его кто-то убил. Наклоняюсь и целую через окошко... В страхе просыпаюсь: где я? Что со мной?
Кто приходил...С какой вестью...

Мать

— Два года... По горло сыт ... Забыть... Как дурной сон! Я там не был! Не был!
Но все-таки я там был...
Закончил военный институт... И, отгуляв положенный отпуск, летом восемьдесят шестого я приехал в Москву и, как было указано в предписании, явился в штаб одного важного военного заведения. Найти его было не так-то просто. Я зашел в бюро пропусков, набрал трехзначный номер:
— Слушаю. Полковник Сазонов, — ответили на том конце провода.
— Здравия желаю, товарищ полковник! Прибыл в ваше распоряжение. Нахожусь в бюро пропусков.
— А, знаю, знаю... Вам уже известно, куда вас направляют?

— В Демократическую республику Афганистан. По предварительным сведениям— в город Кабул.

— Неожиданно для вас?

— Никак нет, товарищ полковник.

Пять лет нам внушали: вы все там будете. Так что, нисколько не покрывив душой, я мог бы честно ответить полковнику: “Я ждал этого дня целых пять лет”. Если кто представляет отъезд офицера в Афганистан как быстрые сборы по первому звонку, по мужски скупое на чувства прощание с женой и детьми, посадку в ревущий самолет в предрассветной мгле, он ошибается. Путь на войну получил необходимое “бюрократическое оформление”: помимо приказа, автомата, сухпайка, требуются справки, характеристики — “политику партии и правительства понимает правильно”, служебные паспорта, визы, аттестаты и предписания, справки о прививках, таможенные декларации, посадочные талоны. И только после этого вы сядете в самолет и оторвавшись от земли, услышите выкрик пьяного капитана: “Вперед! На мины!”

Газеты сообщали: “Военно-политическая обстановка в ДРА продолжает оставаться сложной и противоречивой”. Военные утверждали, что вывод первых шести полков надо расценивать только как пропагандистский шаг. О полном выводе советских войск не может быть и речи. “На наш срок хватит”, — в этом никто из летевших со мной не сомневался. “Вперед! На мины!” — кричал уже сквозь сон пьяный капитан.

Итак, я десантник. Как меня тут же просветили, армия делится на две половины: десантников и соляру. Этимологию слова “соляра” установить так и не удалось. Многие солдаты, прапорщики и часть офицеров делают себе наколки на руках. Они не отличаются большим разнообразием, чаще всего это ИЛ-76 и под ним купол парашюта. Бывают и варианты. Например, я встречал такой лирический сюжет: облака, птички, парашютист под куполом и трогательная надпись: “Любите небо”. Из негласного кодекса десантников: “Десантник становится на колени лишь в двух случаях: перед трупом друга и чтобы напиться воды из ручья”.

Началась моя война...

— Равняйтесь! Смирно! Приказываю совершить марш по маршруту: пункт постоянной дислокации — уездный партийный комитет Баграми — кишлак Шевани. Скорость на маршруте — по головной машине. Дистанция в зависимости от скорости. Позывные: я “Фреза”, остальные — по бортовым номерам машин. Вольно! — Обычный ритуал перед выездом нашего агитотряда. Могло последовать продолжение — снимать каски и бронежилеты категорически запрещается. Автомат из рук не выпускать...

Я запрыгиваю на свою бээрдээмку, небольшой проворный броневилок. От наших советников услышал ее кличку — “бали-бали”. “Бали” в переводе с афганского “да”. Когда афганцы проверяют микрофон, они, помимо нашего традиционного “раз-два, раз-два”, говорят “бали-бали”. Мне, как переводчику, интересно все, что связано с языком.

— “Сальто!”, “Сальто!” Я — “Фреза”. Пошли!!

За невысоким каменным забором два одноэтажных кирпичных домика, покрытых снаружи известью. Красная табличка: уездный партийный комитет. На крыльце нас ждет товарищ Галман. Он одет в советское военное хэбэ.

— Салам алейкум, рафик Лагман.

— Салам алейкум. Четоур асти! Худ асти! Джор асти! Хайр хайрият асти? — Выдает он залпом традиционный набор афганских приветственных фраз, которые все означают, что собеседник интересуется вашим здоровьем. Отвечать на эти вопросы не нужно, можно просто повторить то же самое.

Командир не упускает момента, чтобы загнуть свою любимую фразу.

— Четоур асти? Хуб асти? В Афгане по дур-рости.

Услышав непонятное, товарищ Лагман недоуменно смотрит на меня.

— Русская народная пословица, — поясняю я.

Нас приглашают в кабинет. Приносят на подносе чай в заварных металлических чайниках. Чай у афганцев — непременный атрибут гостеприимства. Без чая не начнется работа, не состоится деловой разговор, отказаться от чая — все равно что не протянуть при встрече руку.

В кишлаке нас встречают старейшины и бачата, вечно неумытые (совсем маленьких не моют вообще, согласно шариату слой грязи сохраняет от злой напасти), одетые во что попало. Раз я говорю на фарси, каждый считает необходимым удостовериться в моих познаниях. Следует неизменный вопрос: сколько времени? Я отвечаю, что вызывает бурю восторга (ответил, значит, действительно знает фарси, а не притворяется).

— Ты мусульманин?

— Мусульманин, — отшучиваюсь я.

Им нужны доказательства.

— Калему знаешь?

Калема — это особая формула, произнося которую ты становишься мусульманином.

— Ла илях илля миах ва Мухаммед расул аллах, — декламирую я. — Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его.

— Дост! Дост (друг)! — Лепечут бачата, протягивая в знак признания свои худенькие ручонки.

Они еще не раз попросят меня повторить эти слова, будут приводить своих друзей и заворожено шептать: “Он знает калему”.

Из звуковещательной установки, которую сами афганцы называли “Аллоу Пугачевой”, уже разносятся афганские народные мелодии. Солдаты развешивают на машинах наглядную агитацию: флаги, плакаты, лозунги, раскручивают экран — сейчас покажем фильм. Врачи ставят столики, раскладывают коробки с медикаментами.

Открывается митинг. Вперед выходит мулла в длинной белой накидке и белой чалме. Читает суру из Корана. Закончив суру, он обращается к Аллаху с просьбой сберечь всех правозверных от зла вселенского. Согнув руки в локтях, поднимает ладони к небу. Все, и мы тоже, повторяем за ним эти движения. После муллы выступает товарищ Лагман. С очень длинной речью. Это одна из особенностей афганцев. Говорить могут и любят все. В лингвистике есть термин — эмоциональная окрашенность. Так вот у афганцев речь не просто окрашена, а раскрашена метафорами, эпитетами, сравнениями. Афганские офицеры не раз высказывали мне свое удивление тем, что наши политработники проводят занятия по бумажкам. На партийных собраниях, заседаниях, активах афганцев я слушал наших лекторов с теми же бумажками, с той же лексикой: “в авангарде широкого коммунистического движения”, “быть постоянным примером”, “неустанно претворять в жизнь”, “наряду с успехами имеются некоторые недоработки” и даже “некоторые товарищи не понимают”. К моему приезду в Афганистан митинги, вот такие, как наши, давно стали обычной принудилкой, народ собирался, чтобы попасть на медосмотр или получить кулек муки. Исчезли овации и дружные выкрики “заидо бод” — “да здравствует!” с поднятыми вверх кулаками, которыми неизменно сопровождалось все выступления в те времена, когда народ еще верил в то, в чем его пытались убедить, — в сияющие вершины Апрельской революции. В светлое коммунистическое будущее.

Бачата выступления не слушают, им интересно, какой будет фильм. У нас, как всегда, мультфильмы на английском и два документальных на фарси и пушту. Здесь любят индийские художественные фильмы или картины, где много драк и стреляют.

После кино раздача подарков. Мы привезли мешки с мукой и детские игрушки. Передаем их председателю кишлака, чтобы разделили между беднейшими и семьями погибших. Покаявшись публично, что все будет, как положено, он вместе с сыном стал таскать мешки домой.

— Как ты думаешь, раздаст? — обеспокоился командир отряда.

— Думаю, что нет. Местные подходили и предупреждали--нечист на руку. Завтра все будет в дуканах.

Команда:

— Всем по ленточке. Приготовиться к движению.

— 112-й к движению готов... 305-й готов...307-й готов...

Бачата сопровождают нас градом камней. Один попадает в меня. “От благодарного афганского народа”, — говорю я.

Возвращаемся в часть через Кабул. Витрины некоторых дуканов украшены надписями на русском: “Самая дешевая водка”, “Любые товары по любой цене”, “Магазин “Братишка” для русских друзей”. Торговцы зазывают по-русски: “батник”, “варенка”, “сервис “седой граф” на шесть персон”, “кроссовки на липучках”, “люрекс в бело-голубую полосочку”. На прилавках наша сгущенка, зеленый горошек, наши термосы, электрочайники, матрацы, одеяла...

Я давно дома... Мне снится Кабул... На склонах гор висят глиняные домики. Темнеет. В них зажигаются огни. Издали, кажется, что перед тобой величественный небоскреб. Если бы я не был там, то не сразу догадался бы: это всего лишь оптический обман...

Я вернулся оттуда и через год ушел из армии. Вы не видели, как блестит штык при лунном свете? Нет? Я не мог это больше видеть...

Ушел из армии и поступил на факультет журналистики. Пишу книгу...Читаю, что другие пишут...

— Калему знаешь?

— Ла илях илля миах ва Мухаммед.

— Дост! Дост!

Голодные солдаты... Дистрофики. Все тело в фурункулах. Авитаминоз. И заваленные русской едой дуканы. Бешено вращающиеся зрочки умирающего от шального осколка ...

Наш офицер возле повешенного афганца... Улыбается...

Что мне с этим делать? Я там был... Я это видел, но никто об этом не пишет...Происходит оптический обман, и что-то другое появляется на бумаге... Если не написано, выходит, как бы не было. Так было или не было?

Старший лейтенант, военный переводчик

— А я мало отдельного помню...Личного... Своего...

Летело нас в самолете двести человек. Двести мужчин. Человек в массе, в группе, в стаде и человек один — это разные люди. Я летел и думал о том, что должен буду там перечувствовать...

Из напутствия командира:

— Подъем в горы. Если сорвешься — не кричать. Падать молча, “живым” камнем. Только так можно спасти товарищей.

Когда смотришь с высокой скалы, то солнце так близко, кажется, можно взять руками. Потрогать.

До армии я прочел книгу Александра Ферсмана “Воспоминание о камне”. Помню, поразили слова: жизнь камня, память камня, голос камня... Тело камня... Имя камня... Я не понимал, что о камне можно говорить как об одушевленном предмете. А там открыл для себя, что на камень можно смотреть долго, как на воду и огонь.

Из поучений сержанта:

– В зверя надо стрелять немножко опережая, а то он твою пулю проскочит. И в бегущего человека тоже...

— Остается в живых тот, кто выстрелит первым. Первым, б...дь! Поняли!? Если поняли, то вернетесь, и все бабы будут ваши!

Был ли страх? Был. У саперов в первые пять минут... У вертолетчиков, пока бегут к машине... У нас, в пехоте, пока кто-то первый не выстрелит...

Идем в горы... Идем с утра и до поздней ночи. Усталость такая, что тошнит, рвет. Сначала свинцом наливаются ноги, затем руки. Руки начинают подрагивать в суставах.

Один упал:

— Не могу. Не поднимусь!

Вцепились в него втроем, тащим.

— Бросьте меня, ребята! Пристрелите!

— Сука, мы тебя пристрелили бы... Но у тебя мама дома...

— Пристрелите!!!

Пить! Пить! Мучит жажда. Уже на полпути у всех пустые фляжки. Высовывается изо рта язык, висит, его назад не засунешь. Как-то мы еще умудрялись курить. Поднимаемся в горы до снега, ищем, где талая вода — из лужи пьем, грызем лед зубами. Про хлорные таблетки все забыли. Какая там ампула с марганцовкой? Дополз и лижешь снег... Пулемет сзади строчит, а ты из лужи пьешь... Захлебываешься, а то убьют — и не напьешься. Мертвый лежит лицом в воду, кажется, пьет.

Я теперь как сторонний наблюдатель... Смотрю туда... Каким я был? Я не ответил вам на главный вопрос: как попал в Афганистан? Сам попросил направить меня для поддержки революционной воли афганского народа. Тогда по телевизору показывали, по радио говорили, в газетах писали о революции... Звезда зардела на Востоке! Мы должны помочь, подставить братское плечо... Собирался на войну заранее. Занимался спортом. Учился каратэ... Ударить первый раз в лицо — это непросто. До хруста. Надо черту перешагнуть — и хрясь!

Первый убитый... Афганский мальчик, лет семи... Лежал, раскинув руки, как во сне. И рядом развернутое брюхо застывшей лошади... Как-то пережил, даже естественно, наверное, потому что книг военных начитался.

Вспоминаются наши “афганские” песни. Спешешь на работу и вдруг начинаешь бормотать:

Скажи, зачем и для кого отдали жизнь они свою?

Зачем в атаку взвод пошел под пулеметную струю?

Оглядываешься — хотя бы никто не слышал! Решат — чокнутый или контуженный оттуда приехал. *(Поет)*.

Афганистан — красивый, дикий, горный край.

Приказ простой: вставай, иди и умирай...

Вернулся и два года во сне хоронил себя... А то просыпаюсь в страхе: застрелиться нечем!

Друзей интересовало: награды есть? Ранения есть? Стрелял? Я пытался поделиться тем, что перечувствовал, интереса никакого. Стал пить... Пил в одиночку... Третий тост —

за тех, кто погиб... За Юрку... А мог его спасти... Удержать... Вместе лежали в кабульском госпитале... У меня царапина на плече, контузия, а у него оторвало ногу... Много там ребят лежало без ног, без рук. Курят, отпускают шуточки. Там они в порядке. Но в Союз не хотят, до последнего просят, чтобы их оставили. В Союзе начинается другая жизнь. Юрка в день отправки в аэропорт вскрыл себе в туалете вены...

Убеждал его (мы играли по вечерам в шахматы):

— Юрка, не падай духом. А Алексей Мересьев? Ты читал “Повесть о настоящем человеке”?

— Меня очень красивая девушка ждет...

Иногда я ненавижу всех, кого встречаю на улице... Вижу в темноте светящиеся окна... Женщину в проеме окна... Еле сдерживаю себя... Хорошо, что на таможне отбирают оружие, гранаты... Мы сделали свое дело, теперь нас можно забыть? Юрку тоже?

Ночью проснусь и не могу сообразить: здесь я или там? Здесь я живу сторонним наблюдателем... У меня есть жена, ребенок. Обнимаю – ничего не чувствую, целую – ничего не чувствую. Я любил раньше голубей... Утро любил... Что угодно отдам, вернуть бы мне радость...

Рядовой, стрелок

— Дочка пришла из школы и говорит:

— Мама, никто не верит, что ты была в Афганистане.

— Почему?

Спрашивают:

— Кто твою маму туда посылал?

А я еще не привыкла к мирной жизни... Наслаждаюсь ею... Не привыкла, что не стреляют, не обстреливают, можно открыть кран и выпить стакан воды, и от нее хлоркой не несет. Там хлеб с хлоркой, булочки с хлоркой, макароны, каша, мясо, компот с хлоркой. Уже два года дома, помню как с дочкой встретила, а остальное не задерживается в памяти, оно такое маленькое, ничемное по сравнению с тем, что пережито там. Ну, купили новый стол на кухню, телевизор... А что еще тут происходило? Ничего. Дочка растет... Она в Афганистан писала командиру части: “Верните мне поскорее маму, я очень соскучилась...” Кроме дочери, мне ничего после Афганистана не интересно.

Там реки сказочно голубые... Голубая вода! Никогда не думала, что вода может быть такого небесного цвета. Красные маки растут, как у нас ромашки, костры маков у подножия гор. Высокие гордые верблюды спокойно смотрят на все, как старики. На “противопехотке” (мина) взорвался ослик, тянул на базар тележку с апельсинами. Лежал и плакал от боли... Наша медсестра его перевязывала...

Будь ты проклят, Афганистан!

Я не могу после него спокойно жить. Жить как все. Приехала... Поначалу соседки, подружки в гости часто просились:

— Валя, мы к тебе забежим на минутку. Расскажи, какая там посуда? Какие ковры? Правда, что шмоток навалом и видеотехники? Магнитофоны, плэйеры... Что ты привезла? Может, что продашь?

Гробов оттуда привезли больше, чем магнитофонов. Про них забыли...

Будь ты проклят, Афганистан!

Дочка растет... Квартира у меня однокомнатная, маленькая. Там обещали: вернетесь домой, вам все оплатят. Обратилась в райисполком, взяли мои бумаги.

— Вы ранены?

— Нет, я целая вернулась. Сверху целая, а что внутри, не видно.

— Ну и живите, как все. Мы вас туда не посылали.

В очереди за сахаром:

— Оттуда всего навезли и здесь права качают...

Поставили сразу шесть гробов: майор Яшенко, лейтенант и солдаты... Они лежат, обернутые в белые простыни... Голов не видно, их нет... Никогда не думала, что мужчины могут так кричать, рыдать... Фотографии у меня остались... На месте гибели ставилиobeliski из крупных осколков бомб, выбивали фамилии на камнях. “Духи” сбрасывали их в пропасть. Расстреливали памятники, подрывали, чтобы никакого следа не осталось от нас...

Будь ты проклят, Афганистан!

Дочка выросла без меня. Два года в школе-интернате. Я приехала, учительница жалуется: у нее одни тройки. Как мне с ней разговаривать? Она уже большая стала.

— Мама, что вы там делали?

— Женщины там помогали мужчинам. Я знала женщину, которая сказала мужчине: “Ты будешь жить”. И он жил. “Ты будешь ходить”. И он ходил. Перед этим она забрала у него письмо, написанное жене: “Кому я нужен безногий?! Забудьте обо мне”. Она сказала ему: “Пиши: “Здравствуйте, дорогая жена и дорогие Аленка и Алешка...”

Как я туда поехала? Меня вызвал командир: “Надо!” Мы воспитаны на этом слове, у нас привычка. На пересылке лежит на голом матрасе молодая девчонка и плачет:

— У меня дома все есть: четырехкомнатная квартира, жених, любящие родители.

— Зачем приехала?

— Сказали, что здесь трудно. Надо!

Я ничего оттуда не привезла, кроме памяти.

Будь ты проклят, Афганистан!

Эта война никогда для меня не кончится... Дочка вчера вернулась от друзей:

— Мама, когда я сказала, что ты была в Афганистане, одна девочка почему-то засмеялась...

Что мне ей ответить?

Прапорщик, начальник секретной службы

— Смерть — страшная вещь, но есть вещи страшнее... Не говорите при мне, что мы — жертвы, мол это была ошибка. Не произносите при мне этих слов. Я не разрешаю...

Мы воевали хорошо, храбро. За что вы нас? Я знамя, как женщину, целовал. С трепетом. Нас так воспитали, что это свято, раз ты поцеловал знамя. Мы любим Родину, мы ей верим. Ну-ну-ну... (*Нервно забарабанил пальцами по столу*). Я еще там... Под окном “стрельнет” выхлопная труба — животный страх. Звон разбитого стекла — животный страх... В голове сразу пусто-пусто, звенящая пустота в голове. Звонкок междугородного телефона, как автоматная очередь... Я не желаю все это перечеркнуть, я не могу топтать свои бессонные ночи. Свои муки. Не могу забыть холодок по спине в пятидесятиградусную жару...

...Ехали на машинах и орали песни во всю глотку. Окликали, задирали девчонок, с грузовика они все красивые. Мы ехали веселые. Попадались трусы:

— Я откажусь... Лучше тюрьма, чем война.

— На, получай! — Их били. Над ними издевались, они даже убегали из части.

Первого убитого я вытащил из люка. Он сказал: “Хочу жить...” — и умер. Ну-ну-ну... После боя невыносимо смотреть на красоту. На горы, на сиреневое ущелье в тумане... Чужую птицу... Хочется все расстрелять! Стреляю... Стреляю в небо! Или тихий-тихий становишься, ласковый. Знакомый парень умирал долго. Лежал он, как ребенок, который только-только научился говорить, называл и повторял все, что встречал глазами: “Горы... Дерево... Птица... Небо...” Так до самого конца...

Молодой царандой, это у них милиционер:

— Я умру, Аллах заберет меня на небо. А ты куда попадешь?

Куда я попаду?!

Попал в госпиталь. Приехал ко мне в Ташкент отец:

— После ранения ты можешь остаться в Союзе.

— Как я останусь, если мои друзья там?

Он — коммунист, но ходил в церковь, ставил свечку.

— Зачем ты это делаешь, отец?

— Мне надо вложить во что-то свою веру. Кого мне еще просить, чтобы ты вернулся?

Рядом лежал парень. К нему приехала мать из Душанбе, привезла фрукты, коньяк:

— Хочу сына дома оставить. Кого просить?

— Давай, мать, лучше выпьем твой коньяк за наше здоровье.

— Хочу сына дома оставить...

Выпили мы ее коньяк. Целый ящик. В последний день слышали: у одного из наших в палате обнаружили язву желудка, кладут в медсанбат. Шкура! Мы его лицо стерли для себя из памяти.

Для меня — или черное, или белое... Серого нет... Никаких полутонов...

Нам не верилось, что где-то целый день дождь, “грибной” дождь. Наши архангельские комары над водой гудят. Только выжженные шершавые горы... Поджаренный колючий песок... Ну-ну-ну... И на нем, как на большой простыне, наши окровавленные солдаты лежат... У них отрезано все мужское... Записка: ваши женщины никогда не родят от них сыновей...

А вы говорите — забыть?!

Возвращались: кто с японским магнитофоном, кто чиркал музыкальными зажигалками, а кто в стираном-перестираном хэбэ и с пустым “дипломатом”.

Мы воевали хорошо, храбро. Нас наградили орденами... Говорят, что нас, “афганцев”, и без орденов узнают, по глазам:

— Парень, ты из Афгана?

А я иду в советском пальто, в советских ботинках...

Рядовой, связист

— А вдруг она жива?

Может, она жива, моя девочка, но где-то далеко... Я все равно рада, где бы она ни была, только бы жила. Так я думаю, так этого мне хочется, очень хочется! И вот мне приснился сон... Вот она пришла домой... Взяла стул и села посреди комнаты... Волосы длинные у нее, очень красивые, рассыпались по плечам. Она их так отбросила рукой и говорит: “Мама, ну что ты меня все зовешь и зовешь, ты ведь знаешь, что я прийти к тебе не могу. У меня муж, двое детей... У меня семья...”

И я еще во сне сразу вспомнила: когда ее похоронили, прошел, наверное, месяц, мне подумалось — она не убита, а ее украли? Мы, бывало, идем с ней по улице, на нее оглядываются... Она высокая, и эти волосы льются... Но мне никто не верил. А тут я получила подтверждение, что догадка моя верная. Где-то она живет...

Я — медик, я всю жизнь считала, что это — святая профессия. Очень ее любила, поэтому и доченьку увлекла. А теперь проклинаю себя. Не будь у нее этой профессии, она осталась бы дома и жила. Теперь мы с мужем только вдвоем, у нас никого больше нет. Пусто, ужасно пусто. Вот вечером садимся, вот смотрим телевизор. Сидим, молчим, иногда слова за весь вечер не произнесем. Только когда начинают петь, я заплачу, а муж застонет — и пойдет. Вы не представляете, что здесь, в груди... Утром надо идти на работу, а встать не можешь. Такая боль! Я другой раз думаю, что не встану и не пойду. Буду лежать... Буду ждать, чтобы взяли меня к ней. Позвали...

У меня есть склонность к воображению, и я все время с ней, никогда в моих мечтах ничего не повторяется. Я даже вместе с ней читаю... Правда, теперь я читаю книги о растениях, о животных, о звездах, о людях не люблю... О человеческих делах... Весна пришла... Думала, что природа мне поможет. Поехали за город... Фиалки цветут, на деревьях листочки детские. А я начала кричать... Так красота природы, радость живого на меня подействовали... Стала бояться течения времени, оно забирает ее у меня, память о ней. Исчезают подробности. Слова... Что она говорила, как улыбалась... Собрала с костюма ее волосы, сложила в коробочку. Муж спросил:

— Что ты делаешь?

— Пусть будет. Ее уже нет.

Иногда сижу дома, думаю и вдруг слышу ясно: “Мама, не плачь”. Оглянусь — нет никого. Продолжаю дальше вспоминать. Вот она лежит... Яма уже выкопана, уже земля готова ее принять. А я стою перед ней на коленях: “Доченька моя милая! Доченька моя дорогая! Как же это случилось? Где ты? Куда ты ушла?” Но она еще со мной, хотя и в гробу лежит. В земле...

Помню тот день... Она вернулась с работы и сказала:

— Меня вызывал сегодня главврач. — И замолчала.

— И что? — Я еще ничего не услышала в ответ на свой вопрос, но мне уже нехорошо стало.

— Пришла в нашу больницу разрядка послать одного человека в Афганистан.

— И что?

— Нужна именно операционная сестра. — А она работала операционной сестрой в кардиологии.

— И что? — Я забыла все другие слова, повторяла одно и то же.

— Я согласилась.

— И что?

— Кому-то все равно надо ехать. А я хочу побыть там, где трудно.

Уже все знали и я тоже, что идет война, льется кровь. Я заплакала, а сказать “нет” не смогла. Она бы строго посмотрела на меня:

— Мама, мы с тобой обе давали клятву Гиппократата.

Несколько месяцев она готовила документы. Принесла и показала характеристику. Там были слова: “Политику партии и правительства понимает правильно”. А я еще все не верила.

Говорю о ней... И мне легче. Как будто она тут... Я завтра ее хоронить буду... Она еще со мной... А может, она где-то живет? Я только бы хотела знать: какая она сейчас? Длинные ли у нее волосы? Даже какая кофточка на ней? Мне все интересно...

Моя душа захлопнулась... Я людей не хочу видеть. Я люблю быть одна... Я с ней, со Светочкой своей, тогда разговариваю. Стоит кому-то зайти, все нарушается. Никого не хочу пускать в этот мир. Ко мне мама из деревни приезжает, но я даже с ней не хочу делиться. Один раз только пришла ко мне женщина... С моей работы... Вот ее я не отпускала, мы с ней до ночи просидели... Уже муж ее волновался, что метро закроют... У нее вернулся из Афганистана сын... Стал, как маленький ребенок: “Мама, я буду печь с тобой пироги... Мама, я пойду с тобой в прачечную...” Он боится мужчин, дружит с одними девочками. Она побежала к врачу. Врач сказал: “Терпите, пройдет”. Мне теперь такие люди ближе, роднее. Я могла бы с ней дружить, с этой женщиной. Но она ко мне больше не пришла, она смотрела на портрет Светочки и все время плакала...

Но я что-то другое хотела вспомнить... Что же я хотела вспомнить? А?! Как она приехала первый раз в отпуск... Нет, еще о том, как мы ее провожали, как она уезжала... Пришли на вокзал ее школьные друзья, товарищи с ее работы. И один старый хирург наклонился и поцеловал ей руки: “Больше я таких рук не встречу”.

Приехала в отпуск. Худенькая, маленькая. Три дня спала. Встанет, поест и спит. Опять встанет, поест и спит.

— Светочка, как тебе там?

— Все хорошо, мама. Все хорошо.

Сидит, молчит и тихонько сама себе улыбается.

— Светочка, что у тебя с руками? — Я не узнала ее рук, они стали такими, как будто ей пятьдесят лет.

— Там, мама, много работы. Могу ли я думать о своих руках? Ты представляешь: готовимся к операции, моем руки муравьиной кислотой. А врач подходит ко мне и говорит: “Вам что, своих почек не жалко”. Он о почках своих думает... А рядом люди умирают... Но ты не волнуйся... Я довольна, я там нужна.

Уехала она на три дня раньше:

— Прости, мама, у нас в медсанбате остались только две медсестры. Врачей достаточно, а медсестер мало. Девочки задохнутся. Как я могу не ехать?!

Попросила бабушку, она ее очень любила, той скоро девяносто лет: “Только не умирай. Дождись меня”. К бабушке мы поехали на дачу. Она стояла возле большого куста роз, и Светочка просила ее: “Только не умирай. Дождись меня». Бабушка взяла и срезала ей все розы. С этим букетом она и уехала.

Вставать надо было в пять часов утра. Я бужу ее, а она: “Мама, я так и не выспалась. Мне кажется, что теперь мне никогда не хватит сна”. В такси она открыла сумочку и ахнула: “Я забыла ключ от нашей квартиры. У меня нет ключей. Я вернусь, а вдруг вас не будет дома?” Потом я ключи нашла, в старой ее юбочке. Хотела в посылке отослать, чтобы она не волновалась... Чтобы у нее были ключи от дома...

А вдруг она живая? Где-то ходит, смеется... Радуется цветам... Она любила розы... Приезжаю теперь к нашей бабушке, она еще живет, потому что Света просила: “Только не умирай. Дождись меня”. Встаю ночью... На столе букет роз... Она их вечером срезала... Две чашки чая...

— Почему не спишь?

— Мы со Светланкой (она звала ее всегда “Светланка”) пьем чай.

А я во сне увижу ее и во сне себе говорю: подойду, поцелую, если она теплая, значит, она живая. Подойду, поцелую — теплая. Значит, живая!

Вдруг она где-то живет?.. В другом месте...

На кладбище сижу у ее могилки... Идут двое военных... Один остановился:

— Ой! Света наша. Ты посмотри... — Заметил меня: — Вы — мама?

Я кинулась к нему:

— Вы знали Светочку?

А он к другу обращается:

— Ей оторвало обе ноги при обстреле. И она умерла.

Тут я сильно закричала. Он испугался:

— Вы ничего не знали? Простите меня!! Простите! — И убежал.

Больше я его не видела. И не искала.

Сижу у могилки... Идут мама с детьми... Слышу:

— Что это за мать? Как она могла отпустить в наше время на войну единственную дочку (а у меня на памятнике выбито: “Единственной доченьке”)? Девочку отдать?..

Как они смеют, как они могут!! Она же клятву давала, она же медсестра, которой хирурги руки целовали. Она ехала спасать людей, их сыновей.

Люди, кричу я в душе, не отворачивайтесь от меня! Пойдите со мной у могилы. Не оставляйте меня одну...

Мать

— Афган, твою мать! Афган... Я думал... После крови... Думал, что после крови никто из нас больше крови не захочет... А он берет в руки газету, читает:

— Советские солдаты освобождены из плена... Дали интервью западным журналистам...— И матом.

— Ты чего?

— Да я бы их всех к стенке поставил. И сам лично расстрелял.

— Мало крови насмотрелись! Тебе не хватило?

— Предателей не жалко. Нам руки, ноги отрывало, а они в Нью-Йорке небоскребы разглядывали... На “Голосе Америки” выступают...

А там он мне другом был... Пели: «и хлеба горбушку и ту пополам». (*Молчит*).

— Ненавижу! Ненавижу!

— Кого?

— Что не понятно? Я потерял друга здесь, а не на войне... (*Достает из кармана пачку сигарет*). Других друзей нет. Сейчас все разбежались, сидят по своим норам. Деньги зарабатывают.

Афган, твою мать! Пусть бы я лучше погиб... Повесили бы на моей школе мемориальную доску... Сделали бы из меня героя... Мальчишки мечтают быть героями. Я не хотел. Войска в Афганистан уже ввели, но я еще ничего не знал. Мне было неинтересно. У меня была в это время первая любовь, с ума сходил... А сейчас я боюсь к женщине притронуться, даже когда в переполненный троллейбус утром втискиваюсь... Понимаете? У меня ничего не получается с женщинами... От меня девушка ушла... Любимая... Два года с ней жили... В тот день я сжег чайник... Он горел, а я сидел и смотрел, как он чернел, со мной такое случается. Полная отключка, я ухожу от реальности. Она возвращается с работы, слышит запах:

— Что ты сжег?

— Чайник.

— Этой уже третий...

— А ты знаешь, как пахнет кровь? Через два-три часа она пахнет так, как пахнут взмокшие подмышки. Неприятно так... Запах огня лучше...

Она закрыла дверь на ключ и ушла...И год не возвращается...Я стал их бояться... Они...Женщины – совершенно другие люди. Совершенно другие. Поэтому они и несчастны с нами. Будут вас слушать, поддакивать и ничего не поймут.

— Какое доброе утро! Ты опять кричал. Ты опять всю ночь кричал, — плакала она по утрам.

А я ей не все рассказал... Не рассказал о восторге вертолетчиков, которые бомбят. Ребята хвастались: как красиво горит кишлак... Особенно ночью... Лежит раненый наш солдат... Умирает... И зовет маму или свою девушку. Рядом лежит раненый “дух”... И зовет маму и свою девушку. То афганское имя, то русское...

— Какое доброе утро! Ты опять кричал... Я тебя боюсь...

Не знает... Она не знает, как погиб наш лейтенант... Увидели воду, остановили машины:

— Стой! Всем стоять! — крикнул лейтенант и показал на грязные сверток, который лежало возле ручья. — Мина?!

Вперед пошли саперы: подняли “мину” — она захныкала. Это был ребенок. Афган, твою мать!

Что с ним делать — оставить, взять с собой? Его никто не заставлял, лейтенант сам вызвался:

— Бросать нельзя. С голода умрет. Я отвезу его в кишлак. Рядом же.

Мы ждали их час, а езды туда и назад минут двадцать было.

В песке лежали... Лейтенант и водитель... Посреди кишлака... Женщины убили их мотыгами...

— Какое доброе утро! Ты опять кричал. Набросился на меня с кулаками, скрутил руки.

Иногда я не помню своей фамилии, адреса и всего, что со мной было. Приходишь в себя... И начинаешь как бы снова жить... Но неуверенно... Вышел из дома — и сразу мысль: закрыл дверь на ключ или не закрыл, выключил газ или не выключил? Ложусь спать, встаю и проверяю: завел на утро будильник или не завел? Утром иду на работу, встречаю соседей: сказал я им “доброе утро” или не сказал?

У Киплинга:

Запад есть Запад, Восток есть Восток, и друг
друга им не понять.
Лишь у Престола Божьего они сойдутся
опять.
Но нет Востока и Запада нет, если двое сильных
мужчин,
Рожденных в разных концах земли, сойдутся
один на один!

Я помню... Она меня любила... Плакала: “Ты вышел из ада... Из чистилища... Я тебя спасу...” А я вылез из мусорной свалки... Уезжал в Афганистан, женщины носили длинные платья, возвратился — в коротком все. Незнакомые мне. Просил ее надевать длинное... Она смеялась, потом обижалась... Затем стала ненавидеть меня... *(Закрывает глаза и повторяет стихи)*.

Но нет Востока и Запада нет, если двое сильных
мужчин,
Рожденных в разных концах земли, сойдутся
один на один!

О чем я говорил? А? О длинных платьях моей девушки ... Они висят в шкафу, она их не забрала... А я стихи ей пишу...

Афган, твою мать!! Моё спасение—одиночество... Мне нравится разговаривать с самим собой...

— Всю жизнь я был военный... О другой жизни знал лишь по рассказам...

У профессиональных военных другая психология: справедливая война или несправедливая — не важно. Куда нас послали, там справедливая, нужная. Когда посылали, и эта война была справедливая. Мы так считали, я сам стоял среди солдат и говорил о защите южных рубежей, идейно подковывал. Два раза в неделю политические занятия. Разве я мог сказать: “Я сомневаюсь”. Армия не терпит свободомыслия. Вас поставили в строй, и отныне вы действуете только по команде. С утра до вечера.

Команда:

— Встать! Подъем!

Встали.

Команда:

— На зарядку станю-о-о-овись! Налево бегом!

Сделали физзарядку.

Команда:

— Разойдись по лесу. Пять минут оправиться.

Разошлись.

Команда:

— Станю-о-овись!!

Никогда не встречал, чтобы в казарме висел портрет... Ну, например, кого? Ну, Циолковского или Льва Толстого. Ни разу не видел. Висят портреты Николая Гастелло, Александра Матросова... Героев Великой Отечественной войны... Я однажды, еще молоденьким лейтенантом был, повесил у себя в комнате портрет (из журнала какого-то вырезал) Ромена Роллана. Заходит командир части:

— Кто это?

— Ромен Роллан, французский писатель, товарищ полковник.

— Немедленно убрать этого француза! У нас своих, что ли, героев не хватает?

— Товарищ полковник...

— Кругом марш на склад и вернуться с Карлом Марксом.

— Так он же немец?

— Молчать! Двое суток ареста!

При чем тут Карл Маркс? Я сам стоял среди солдат и говорил: куда, мол: годится этот станок? Он же заграничный. Куда годится эта машина с иностранной маркой? Она развалится на наших дорогах. Лучшее в мире — это все наше: наши станки, наши машины, наши люди. И только сейчас сам задумался: почему лучший станок не может быть в Японии, лучшие капроновые чулки — во Франции, лучшие девушки — на Тайване? А мне пятьдесят лет...

...Вижу сон, что я убил человека. Он встал на колени... На четвереньки... Голову не поднимал... Лица не видно, у них у всех одно лицо... Я спокойно в него выстрелил, спокойно увидел его кровь. Закричал я тогда, когда проснулся и вспомнил этот сон...

Здесь уже писали о политической ошибке, называли эту войну “брежневской авантюрой”, “преступлением”, а нам надо было воевать и умирать. И убивать. Здесь писали, а там гибли. Не судите, да не судимы будете! Что мы защищали? Революцию? Нет, я уже так не думал, я уже внутреннее разрывался. Но убеждал себя, что мы защищаем наши военные городки, наших людей.

Горят рисовые поля... Трассирующие пули зажгли... Трещит и быстро горит... Войне еще жара помогает... Дехкане(крестьяне) бегают, с земли подгоревшее собирают,

жареное. Никогда не видел, чтобы афганские дети плакали... Хныкали... Дети легкие, маленькие. Сколько лет — не угадать. Широкие штанишки, из-под них ножки торчат.

Все время было чувство, что кто-то хочет тебя убить... Свинец глупый... До сих пор не знаю, можно ли к этому привыкнуть? А арбузы, дыни там с табурет величиной. Ткнешь штыком — разваливаются. Умирать так просто. Убивать труднее. О мертвых не говорили... Такие были правила игры, если так можно сказать... Собираешься в рейд, на дно чемодана — письмо жене. Прощальное. Я писал: “Засверлить мой пистолет и передать сыну”.

Начался бой, а магнитофон кричит... Забыли выключить... Голос Владимира Высоцкого:

В желтой жаркой Африке —
В центральной ее части,
Как-то вдруг вне графика
Случилось несчастье.
Слон сказал, не разобрал:
— Видно, быть потопу!.. —
В общем, так: один Жираф
Влюбился в Антилопу.

И душманы Высоцкого крутили. Многие раньше у нас учились, кончили советские институты. С советскими дипломами. Ночью из засады мы слышали и у них:

Мой друг уехал в Магадан.
Снимите шляпу, снимите шляпу!
Уехал сам, уехал сам,
Не по этапу, не по этапу.

Они смотрели в горах наши фильмы: о Котовском, о Ковпаке. Учились у нас воевать с нами... Партизанской войне...

Из карманов наших убитых пацанов я вытаскивал письма. Фотографии. Таня из Чернигова... Машенька из Пскова... Фотографии сделанные в провинциальных ателье. Все одинаковые. Наивные надписи на фото: “Жду ответа, как соловей лета”, “Лети с приветом, вернись с ответом”. Лежали у меня на столе, как колода карт... Лица простых русских девочек...

Не могу вернуться в этот мир... Жить...Просто жить...Тесно мне тут. Бунтует адреналин в крови. Не хватает остроты ощущений, презрения к жизни.Стал болеть...Врачи поставили диагноз: сужение сосудов. А у меня свой диагноз... Афганский... Мне нужен ритм, тот ритм, чтобы броситься в драку. Рисковать, защищать. Хочу и сейчас туда, но не знаю, что бы я там чувствовал...Нахлынут видения...Картинки... Разбитая, сгоревшая техника на дорогах... Танки, бэтээры... Неужели это все, что от нас там осталось?

Пошел на кладбище... Хотел обойти “афганские могилы. Встретила меня чья-то мать...

— Уходи, командир! Ты с сединой и ты — живой. А мой сынок в земле. Мой сынок еще ни разу не побрился.

Недавно умер мой друг, воевал в Эфиопии. Посадил в той жаре почки. Все, что он узнал, ушло с ним. А другой товарищ рассказывал, как попал во Вьетнам. Встречал и тех, кого в Анголу посылали, в Египет, в Венгрию в пятьдесят шестом, в Чехословакию в семьдесят восьмом... Разговаривали мы между собой... Все на дачах теперь редиску выращивают. Рыбу удят. И я теперь пенсионер. По инвалидности. В кабульском госпитале одно легкое удалили...Теперь второе стало барахлить...Но мне нужен ритм! Дело нужно!

Слышал под Хмельницком есть госпиталь, там лежат те, от кого отказались родные и кто сам не захотел вернуться домой. Мне пишет оттуда парень: “Лежу без рук, без ног... Проснусь утром и не знаю, кто я: человек или животное? Другой раз мяукать или лаять охота. Сожму зубы...” Хочу к нему съездить... Дело себе ищу...

Мне нужен ритм, тот ритм, чтобы драка была. Но я не знаю, с кем мне драться. Я уже не могу стать среди своих пацанов и агитировать: мы — самые лучшие, мы — самые справедливые. Но я утверждаю, что мы хотели такими быть. Но не получилось. Другой вопрос — почему? Почему опять не получилось...

Майор, командир батальона

— Мы перед Родиной чисты...

Я честно выполнил свой солдатский долг. Чтобы вы тут теперь не кричали... Не переворачивали и не пересматривали... А как быть с такими чувствами, как чувство Родины, долга? Родина для вас пустой звук? Просто слова? Мы чисты...

Что мы там захватили, что оттуда вывезли? “Груз двести” — гробы с нашими товарищами? Что приобрели? Болезни от гепатита до холеры, ранения, инвалидности? Мне не в чем каяться. Я помогал братскому афганскому народу. Убежден! Те, кто там со мной был, тоже искренние, честные ребята. Они верили в то, что пришли на эту землю с добром, что они не “ошибочные фронтовики” с “ошибочной войны”. А кому-то хочется увидеть в нас наивных “дурачков”, пушечное мясо. Зачем? С какой целью? Ищут истину? Но не забудьте библейское. Помните, что Иисус на допросе у Пилата сказал:

— Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине.

Пилат переспросил:

— Что есть истина?

Вопрос остался без ответа...

У меня своя истина... Своя! В нашей, может быть, наивной вере мы были девственно чисты. Нам казалось: новая власть дает землю и все должны с радостью брать ее. И вдруг... крестьянин не берет землю! Мол, кто ты такой, что можешь дать землю, когда она принадлежит Аллаху. Аллах отмеряет и дает. Нам казалось: мы построим МТС (машинно-тракторные станции), дадим им тракторы, комбайны, косилки, и вся жизнь их изменится. Люди изменятся. И вдруг... они уничтожают МТС! Подрывают наши трактора, как будто это танки. Нам казалось: в век космических полетов смешно думать о Боге. Нелепо! Мы послали в космос афганского парня... Мол, глядите, он там, где ваш Аллах. И вдруг... непоколебимая цивилизацией исламская религия... Можно ли воевать с вечностью? Да мало ли что нам казалось! Но так было... Было... И это особая часть нашей жизни... Я берегу ее в душе, не хочу разрушать. И не дам замарать одним черным цветом. Мы там закрывали в бою друг друга. Попробуйте, станьте под чужую пулю! Это не забудется. А это? Как я возвращался... Я хотел вернуться домой “сюрпризом”, но страшно стало за маму. Позвонил:

— Мама, я — живой, я в аэропорту. — И там на другом конце провода, упала трубка.

Кто вам сказал, что мы проиграли там войну? Мы проиграли ее здесь, дома. В Союзе. А как красиво мы могли вернуться... Обожженные, опаленные... Много узнавшие и пережившие... Но нам не дали... Нам не дали здесь прав, не дали здесь дела. Каждое утро на обелиске (на месте будущего памятника погибшим воинам-интернационалистам) кто-то вывешивает плакат: “Поставьте его у Генштаба, а не в центре города...” Мой двоюродный брат, которому восемнадцать лет, не хочет идти в армию: “Чьи-то глупые или преступные приказы выполнять? Стать убийцей?” На мои боевые награды смотрит

косо... А у меня в его годы сердце замирало, когда дед надевал свой праздничный пиджак с орденами и медалями. Пока мы там воевали, мир переменялся...

Что есть истина?

В нашей пятиэтажке живет старуха. Врач. Ей семьдесят пять лет. После всех сегодняшних статей, разоблачений, выступлений... после всей этой правды, которая на нас обрушилась, она помешалась... Выключает телевизор, когда выступает Горбачев. Открывает окно у себя на первом этаже и кричит: “Да здравствует Сталин!”, “Да здравствует коммунизм — светлое будущее человечества!” Я вижу ее каждое утро... Ее не трогают, она никому не мешает... А мне иногда страшно становится...

Но мы перед Родиной чисты...

Рядовой, артиллерист

— Звонок в дверь... Я выбегаю — никого. Ахнула: не сынок ли приехал?

Через два дня стучат в дом военные.

— Что, сына нет?

— Да, теперь нет.

Тихо-тихо стало. Опустилась в прихожей на колени перед зеркалом:

— Боже! Боже! Боженька мой!

На столе письмо лежало, которое не дописала:

“Здравствуй, сынок!

Прочла твое письмо и была рада. В этом письме уже ни одной грамматической ошибки. Две синтаксические, как и в прошлый раз: “по-моему” вводное слово, а союз “так как” — сложный. Это в предложении: “Я сделаю так, как сказал отец”, — нужна запятая. И во втором предложении: “По-моему, вам за меня не будет стыдно”, — тоже нужна запятая. Не обижайся на свою маму.

В Афганистане жарко, сынок. Старайся не простудиться. Ты всегда простужаешься...”

На кладбище все молчали, было много людей, но все молчали. Я стояла с отверткой, у меня не могли ее забрать:

— Дайте гроб открыть... Дайте сына увидеть... — Цинковый гроб хотела отверткой открыть.

Муж пытался руки на себя наложить: “Не буду жить. Прости, мать, а жить я больше не буду”. Уговаривала его:

— Надо памятник поставить, плиткой обложить.

Он не мог спать. Говорил:

— Лягу спать, сын приходит. Целует, обнимает.

По старинному обычаю хранила буханку хлеба все сорок дней... После похорон... Через три недели она рассыпалась на мелкие куски. Значит, семья пропадет...

Развесила по дому все фотографии сына. Мне так легче, а мужу тяжело:

— Сними. Он на меня смотрит.

Поставили мы памятник. Хороший, из дорогого мрамора. Все деньги, что на свадьбу сыну собирали, на памятник пошли. Плиткой красной могилку обложили и цветы красные посадили. Георгины. Муж покрасил ограду:

— Все сделал. Сын обижаться не будет.

Утром проводил меня на работу. Попрощался. Прихожу со смены — он на веревке в кухне висит, как раз напротив фотографии сына, моей любимой.

— Боже! Боже! Боженька мой!

Вы мне скажите — герои они или нет? За что я такое горе терплю? Что мне поможет это горе перенести? Один раз подумаю: герои! он не один там лежит... Сотни... Рядами лежат на городском кладбище... Каждый праздник гремят там воинские салюты. Торжественные речи. Цветы несут. В пионеры там принимают... А другой раз проклиная правительство, партию...Нашу власть...Хотя я—коммунистка. Но я хочу знать — за что? Почему в цинк моего сына завернули? Себя проклиная... Я — учительница русской литературы. Сама учила: “Долг есть долг, сынок. Отдать его надо”. Проклинаю всех, а утром бегу на могилку, прощения прошу:

— Прости, сынок, что я так говорила... Прости...

Мать

— Получила письмо: “Не волнуйся, если нет писем. Пиши по старому адресу”. Два месяца молчания. Я не представляла, что он в Афганистане. Собирала чемодан, чтобы ехать к нему на новое место службы...

Он писал, что загорает, ловит рыбу. Прислал фотографию: сидит на ослике, колени на песке. Я ни о чем не догадывалась пока он не приехал первый раз в отпуск. Тут признался — с войны... Друг погиб... Раньше баловался с дочкой мало, у него не было особых отцовских чувств, может, потому, что она совсем еще маленькая. А тут приехал-часами сидит и смотрит на ребенка, а в глазах такая грусть, что мне страшно. Утром встанет, отведет ее в садик. Любил посадить на плечи и нести. Жили мы в Костроме, город красивый. Вечером сам заберет. Ходили мы в театр, в кино, но больше всего ему хотелось сидеть дома. Смотреть телевизор. Разговаривать.

В любви стал жадным, уйду я на работу или на кухне готовлю — ему и этого времени жалко: “Побудь со мной. Сегодня можно и без котлет. Попроси отпуск, пока я здесь”. Наступил день улетать, он специально опоздал на самолет, чтобы нам еще два дня побыть вместе.

Последняя ночь... Было так хорошо, что я расплакалась... Я плачу, он молчит, только смотрит-смотрит. Потом говорит:

— Тамарка, если у тебя будет другой, не забывай это.

Я:

— Ты с ума сошел! Тебя никогда не убьют! Я так тебя люблю, что тебя никогда не убьют.

Засмеялся.

Детей больше не хотел:

— Вернусь... Тогда родишь... Что ты с ними делать одна будешь?

Я научилась ждать. Но если я видела похоронный автобус, мне становилось плохо, готова была кричать, плакать. Прибегу домой, висела бы икона, стала на колени и молилась бы: “Спасите мне его! Спасите!”

В тот день я пошла в кино... Смотрю на экран и ничего не вижу. Внутри непонятное беспокойство: где-то меня ждут, надо куда-то идти, еле досидела до конца сеанса. В это время, видно, шел бой...

Неделю я еще ничего не знала. Я даже получила два его письма. Обычно радовалась, целовала их, а тут разозлилась: сколько мне тебя еще ждать?!

На девятый день в пять часов утра пришла телеграмма, мне сунули ее просто под дверь. Телеграмма была от его родителей: “Приезжай. Погиб Петя”. Я сразу закричала. Разбудила ребенка. Что делать? Куда идти? Денег не было. Как раз в этот день должен

был прийти его аттестат. Помню, завернула дочку в красное одеяло, вышла на дорогу — автобусы еще не ходят. Остановила такси.

— В аэропорт, — говорю таксисту.

— Еду в парк. — И закрывает дверцу.

— У меня муж погиб в Афганистане...

Молча выходит из машины, помогает сесть. Заезжаем к подруге, я отдалживаю деньги. В аэропорту нет билетов до Москвы, а мне страшно вынуть из сумочки телеграмму и показать. Вдруг это неправда? Ошибка? Вдруг... Главное — не произносить это вслух... Я плакала, все на меня смотрели. Посадили до Москвы в “кукурузник”. Ночью прилетела в Минск. Надо дальше, в Старые Дороги. Таксисты ехать не хотят, далеко — сто пятьдесят километров. Прошу. Умоляю. Один согласился: “Давай пятьдесят рублей, повезу”. Отдала ему все, что у меня осталось.

В два часа подъезжаю к дому. Все плачут.

— Может это неправда?

— Правда, Тамара. Правда.

Утром идем в военкомат. Ответ военный: “Когда привезут, тогда вам сообщим”. Ждем еще двое суток. Звоним в Минск: “Приезжайте, сами заберите”. Приезжаем, а в облвоенкомате говорят: “Его по ошибке увезли в Барановичи”. Это еще сто километров, у нас автобус не заправлен. В Барановичах в аэропорту никого из начальства нет, рабочий день закончился. В будке сидит сторож:

— Мы приехали...

— Вон там, — показывает рукой, — какой-то ящик. Посмотрите. Если ваш — забирайте.

В поле стоял грязный ящик, на нем мелом было написано: “Старший лейтенант Довнар”. Я оторвала доску в том месте, где в гробу окошечко: лицо целое, но небритый лежит и не умыл никто, гроб маловат. Запах... Невыносимый запах... Наклониться, поцеловать нельзя... Так мне вернули мужа...

Я стала на колени перед тем, что было когда-то самым дорогим. Самым любимым...

Это был первый гроб в деревне Языль Стародорожского района Минской области. У людей, помню, одно — ужас в глазах. Никто не понимал, что происходит. Поднесла дочку попрощаться, ей было четыре с половиной года. Она стала кричать: «Папа черный... Я боюсь... Папа черный...» Опустили гроб в могилу. Не успели рушники, на которых опускали, вытащить, как вдруг — страшный гром и град, помню, град, как белый гравий на цветущей сирени, хрустит под ногами. Сама природа была против. Я долго не могла уехать из его дома, потому что здесь была его душа... Его отец и мать... Его вещи: стол, школьный портфель, велосипед... Я за все, что можно, цеплялась... Брала его вещи в руки... Все в доме молчали. Мне казалось, что мать меня ненавидит: я живу, а его нет, я выйду замуж, а ее сына не будет. Она — хорошая женщина, но в те дни она была безумная. Взгляд тяжелый-тяжелый... Теперь она говорит: “Тамара, выходи замуж”. А тогда я боялась встречаться с ней глазами. Отец чуть с ума не сошел: “Такого парня угробили! Убили!” Мы с матерью его убеждали, что Петю орденом наградили... Афганистан нам нужен... Защита южных рубежей... Он не слушал: “Сволочи! Сволочи!”

Самое страшное было потом. Самое страшное... Привыкнуть к мысли, что мне не надо ждать, мне некого ждать. Но я долго ждала... Утром просыпалась мокрая от ужаса: “Петя приедет, а мы с Олеськой живем по другому адресу”. Никак не могла понять, что я теперь одна и буду одна. Я три раза в день заглядывала в почтовый ящик... Ко мне возвращались только мои письма, которые он не успел получить, со штампом “Адресат

выбыл”. Я разлюбила праздники. Перестала ходить в гости. У меня остались только воспоминания. Вспоминалось лучшее... Самое первое...

Первый день мы с ним танцевали... Второй — гуляли в парке. На третий день нашего знакомства он предложил выйти за него замуж. У меня был жених. Заявление лежало в загсе. Я сказала ему об этом. Уехал и писал письма большими буквами на всю страницу: а-а-а-а-а!! А-у-у-у!! В январе обещал: приеду и поженимся. А я в январе замуж не хочу. Я хочу свадьбу весной! Во Дворце бракосочетаний. С музыкой, цветами.

Была свадьба зимой, в моей деревне. Смешно и наспех. На Крещение, когда гадают, мне приснился сон. Маме утром рассказываю:

— Мама, я видела красивого парня. Он стоял на мосту и звал меня. На нем военная форма. Но когда я подошла к нему, он начал удаляться, удаляться и совсем исчез.

— Не выходи замуж за военного, одна останешься, — предсказала моя мама.

Он приехал на два дня.

— Пойдем в загс!! — С порога.

В сельсовете посмотрели на нас:

— Зачем вам два месяца ждать? Идите за коньяком.

Через час мы были мужем и женой. Метель на улице.

— На каком такси ты повезешь молодую жену?

— Сейчас! — Поднимает руку и останавливает трактор “Беларусь”.

Годами я видела сны, как мы встречаемся. Едем на тракторе. Тракторист сигналил, а мы целуемся. Восемь лет, как нет его... Восемь... Снится часто. Во сне я все время его умоляю: “Женись на мне еще раз”. Он меня отталкивает: “Нет! Нет!” Я его жалею не только потому, что это был мой муж. Какой мужик! Какой красивый мужик! Большое сильное тело. На улице на него, а не на меня оборачивались. Жалею, что не родила от него сына. А могла... Просила... Он боялся... Во второй раз приехал в отпуск... Телеграмму не дал. Не предупредил. Квартира закрыта... У подруги день рождения, я — там. Он открыл дверь: громкая музыка, смех... Сел на табуретку и заплакал... Каждый день встречал меня: “Иду к тебе на работу, коленки дрожат. Как на свидание”. Вспоминаю, как мы поехали на речку, загорали, купались. Сидели на берегу и жгли костер:

— Ты наешь, как не хочется погибать за чужую родину.

А ночью:

— Тамарка, не выходи больше замуж.

— Почему ты так говоришь?

— Потому что я тебя очень люблю. И не представляю, что ты будешь с кем-то...

Дни пролетали быстро... Появилось какое-то чувство... Мы даже отдавали дочь соседям, чтобы больше побыть вдвоем. Было не то чтобы предчувствие, но тень... Обозначилась тень... Ему оставалось еще полгода. Уже готовили замену в Союзе.

Иногда мне кажется, что я живу долго-долго, хотя воспоминания одни и те же. Я их наизусть выучила.

Дочка была маленькая, приходит из садика:

— Сегодня мы рассказывали про своих пап. Я сказала, что мой папа военный.

— Почему?

— Они же не спросили: есть он или нет? Они спрашивали, кто он?

Подросла. Когда я за что-нибудь на нее злюсь, советует:

— Выходи-ка ты, мамка, замуж...

— Какого бы ты хотела папу?

— Я хотела бы своего папу...

— А не своего какого?

— Похожего...

Мне было двадцать четыре года, когда я осталась вдовой. В первые месяцы подойди ко мне любой мужчина, тут же бы вышла замуж. С ума сходила! Не знала, как спастись. Вокруг прежняя жизнь: кто дачу строит, кто машину покупает, у кого-то квартира новая — нужен ковер, красная плитка для кухни... Красивые обои... Чужая нормальная жизнь... А я? А я, как рыба на песке воздух хватаю... По ночам задыхаюсь от слез... Мебель я только сейчас стала покупать. У меня не поднимались руки печь пироги. Надеть красивое платье. Разве в моем доме может быть праздник? В сорок первом и сорок пятом у всех было горе, у всей страны. Каждый кого-то потерял. Знал, за что потерял. Бабы хором голосили. В кулинарном училище, где я работаю, коллектив сто человек. Я одна, у кого муж сегодня погиб на войне, о которой другие только в газетах читали. Когда в первый раз услышала по телевизору, что Афганистан — наш позор, хотела разбить экран. В тот день я второй раз мужа похоронила...

Пять лет я любила его живого и уже восемь лет люблю мертвого. Может я сумасшедшая... Я люблю его...

Жена

— Привезли нас в Самарканд...

Стоят две палатки, в одной — мы сбрасывали с себя все штатское, кто поумнее, успел по дороге куртку, свитер продать, купить вина напоследок, в другой — выдавали солдатское бэу (бывшее в употреблении) — гимнастерки сорок пятого года, “кирзачи”, портянки. Покажи эти “кирзачи” привыкшему к жаре негру — в обморок упадет. В слаборазвитых африканских странах у солдат легкие штиблеты, куртки, штаны, кепи, а мы строим, с песней, по жаре в сорок градусов — ноги варятся. Первую неделю на заводе холодильников разгружали стеклотару. На торговой базе таскали ящики с лимонадом. Посылали к офицерам домой, у одного я дом кирпичом обкладывал. Недели две крышу на свинарнике крыл: три листа шифера забьешь, два сплaviшь за бутылку. Доски загоняли по цене: один метр — один рубль. Перед присягой два раза сводили на полигон, в первый раз дали девять патронов, в другой — мы бросили по гранате.

Построили на плацу и зачитали приказ: направляетесь в ДРА для исполнения интернационального долга. Кто не желает — два шага вперед. Три человека вышли. Командир части вернул их в строй коленкой под зад, мол, проверяли ваше боевое настроение. Сухпаек на двое суток, кожаный ремень — и в путь. Вот такая вот штука... Я не расстроился. Для меня это была единственная возможность увидеть за границу. Ну, и... И правда... Конечно... Мечтал, что привезу магнитофон, кожаный дипломат. До этого ничего интересного в моей жизни не случилось. Скучно жил. Летели в огромном Ил — 76... Первый раз... Я первый раз в самолете летел! Увидел в иллюминаторе горы... Безлюдную пустыню... Мы — псковские, у нас поляны и лесок. Высадились в Шинданде. Помню число, месяц — девятнадцатого декабря тысяча девятьсот восьмидесятого года...

Глянули на меня:

— Метр восемьдесят... В разведроту... Там такие нужны...

Из Шинданда — в Герат. И там стройка. Строили полигон. Рыли землю, таскали камни под фундамент. Я крыл крышу шифером, плотничал. Некоторые даже не стреляли до первого боя. Есть хотелось все время. На кухне два пятидесятилитровых бачка: один для первого — капуста с водой, мяса не словишь, второй для второго — клейстер (сушеная картошка) или перловка без масла. На четверых ставили банку скумбрии с этикеткой: год изготовления тысяча девятьсот пятьдесят шестой, срок хранения один год и шесть месяцев. За полтора года я один раз перестал хотеть есть, когда меня ранили. А

так все время ходишь и думаешь: где бы что достать, своровать, чтобы поесть? В сады к афганцам лазили, они стреляли. На мину можно напороться. Но так хотелось яблок, груш, каких-нибудь фруктов. Просили у родителей лимонную кислоту, они присылали в письмах. Растворяли ее в воде и пили. Кисленькая. Жгли себе желудки.

Перед первым боем... Включили Гимн Советского Союза... Говорил замполит. Я запомнил, что мировой империализм не дремлет, а дома нас ждут как героев.

Как я буду убивать, я себе не представлял. До армии занимался велоспортом, мускулы себе накачал такие, что меня боялись, не трогал никто. Я даже драки не видел, чтобы с ножом, кровью. Тут мы ехали на бэтэрах. До этого из Шинданда в Герат нас везли автобусом, еще один раз выезжал из гарнизона на ЗИЛе. На броне, с оружием, рукава закатаны по локти... Было новое чувство, незнакомое. Чувство власти, силы и собственной безопасности. Кишлаки сразу стали низкими, арыки мелкими, деревья редкими. Через полчаса так успокоился, что почувствовал себя туристом. Разглядывал чужую страну — экзотика! Какие деревья, какие птицы, какие цветы. Колючку первый раз увидел. И про войну забыл.

Проехали через арык, через глиняный мостик, который, к моему удивлению, выдержал несколько тонн металла. Вдруг взрыв — в передний бэтээр ударили в упор из гранатомета. Вот уже несут на руках знакомых ребят... Одного без головы... Картонная мишень... Руки болтаются... Сознание не могло сразу включиться в эту новую и страшную жизнь... Приказ: развернуть минометы, “васильки” мы их звали — сто двадцать выстрелов в минуту. Все мины — в кишлак, откуда стреляли, в каждый двор по нескольку мин. Своих после боя по кускам складывали, соскребали с брони. Смертных медальонов не было, расстелили брезент — братская могила... Найди, где чья нога, чей кусок черепа... Медальоны не выдавали... Вдруг в чужие руки попадут... Имя, фамилия, адрес... Как в песне: “Наш адрес не дом и не улица, наш адрес — Советский Союз...” Вот такая вот штука!

Возвращались молча. Мы простые, убивать непривычно. В части успокоились. Поели. Почистили оружие. Тогда стали говорить.

— Косячок забьешь? — предлагали “деды”.

— Не хочу.

Я не хотел курить, боялся, что потом не брошу. К наркотикам быстро привыкаешь, нужна сильная воля, чтобы бросить. Потом все курили, иначе сдохнешь, нервы лопнут. Были бы наркомовских сто грамм, как в ту войну. Не полагалось... Сухой закон... А надо снять напряжение... Забыться... В плов травку сыпали, в кашу... Глаза — по полтиннику... Ночью видишь, как кошка. Легкий, как летучая мышь.

Разведчики убивают не в бою, а вблизи. Не автоматом, а финкой, штыком, чтобы тихо, неслышно. Я быстро научился это делать, втянулся. Первый убитый? Кого близко убил? Помню... Подошли к кишлаку, в бинокли ночного видения заметили: возле дерева светит маленький фонарь, стоит винтовка, и он что-то откапывает. Я отдал товарищу автомат, сам приблизился на расстояние прыжка и прыгнул, сбил его с ног. Чтобы не кричал, затолкал в рот чалму. Нож с собой не взяли, тяжело нести. Был у меня перочинный ножик, которым консервные банки открывали. Обыкновенный перочинный ножик. Он уже лежал... Оттянул за бороду и перерезал горло. После первого убитого... Как после первой женщины... Потрясение... У меня это быстро прошло. Все-таки я - деревенский, курицу убивал, козу резал! Вот такая вот штука!

Был я на должности старшего разведчика. Выходили обычно ночью. С ножом сидишь за деревом... Они идут... Впереди — дозорный, дозорного надо снять. Снимали по очереди... Моя очередь... Дозорный поравнялся с тобой, чуть пропустишь и прыгаешь сзади, главное, схватить левой рукой за голову и горло вверх, чтобы не крикнул. Правой

рукой — нож в спину... Под печень... И проткнуть насквозь... У меня потом был трофей... Японский нож, длина тридцать один сантиметр. Легко в человека входил. Поерзает и упадет, не вскрикнет. Привыкаешь. Психологически не так было трудно, как технически. Чтобы попасть в верхнюю косточку позвоночника... В сердце... Каратэ учились. Скрутить, связать... Найти болевые точки — нос, уши, над веком — точно ударить. Ткнуть ножом надо знать куда... Врываемся в дувал (двор за глиняным заборчиком): двое — у дверей, двое — внутри двора, а остальные осматривают жилье. Что нравится берем, конечно...

Один раз... Нервы сдали... Прочесывали кишлак. Обычно открываешь дверь и раньше, чем войти, — бросаешь гранату, чтобы на автоматную очередь не наскочить. Зачем рисковать, с гранатой вернее. Бросил гранату и захожу: лежат женщины, двое мальчиков побольше и один ребенок грудной. В какой-то коробочке... Вместо коляски...

Сейчас вспоминаю... Сейчас страшно...

Я вернулся домой, я хотел быть хорошим. Я вернулся слепой. Пуля снесла сетчатку с обоих глаз. Вошла в левый висок, в правый вышла. Различаю только свет и тени. Не вышло стать хорошим. Иногда у меня появляется желание перегрызть горло. Я их знаю... Тех, кому надо перегрызть горло... Тех... Кому жалко камня на могилы для наших ребят... Кому не хочется давать нам, инвалидам, квартиры: «Я вас в туда не посылал...» Кому наплевать на нас... Мы умирали там, а они по телевизору эту войну смотрели. Зрелище! Для них это было зрелище...

Я научился жить без глаз... Езжу по городу сам-- в одиночку в метро, сам на переходах. Сам готовлю, жена удивляется: готовлю вкуснее ее. Я никогда не видел свою жену, но знаю, какая она. Какой у нее цвет волос, какой нос, какие губы... Я слышу руками, телом... Мое тело видит. Я знаю, какой у меня сын... Пеленал его маленького, обстирывал. Сейчас ношу на плечах. Иногда мне кажется, что глаза не нужны. Вы ведь закрываете глаза, когда самое главное происходит, когда вам хорошо. Глаза нужны художнику, потому что это его профессия. А я ощущаю мир... Я его слышу... Для меня слово значит больше, чем для вас, у кого есть глаза. Слово и линия. Звуки. Для многих я человек, у которого все позади: мол, отвоевался парень. Как Юрий Гагарин после полета. Нет, самое главное у меня — впереди. Я это знаю. Телу не надо придавать большее значение, чем велосипеду, а я в прошлом велосипедист, в гонках участвовал. Тело — это инструмент, станок, на котором мы работаем, не более. Я могу быть счастливым, свободным... Без глаз... Это я понял... Сколько зрячих не видят. С глазами я был больше слепой, чем сейчас. Хочется от всего очиститься. От всей этой грязи, в которую нас втянули. От своей памяти... Вы не знаете, как жутко бывает ночью? Жуть наваливается... Я опять прыгаю с ножом на человека... Примеряюся, где проткнуть... Человек мягкий, я помню что тело у человека мягкое... Вот такая вот штука! Вот...

Ночью страшно, потому что я вижу... Во сне я не слепой...

Рядовой, разведчик

— Не смотрите, что я маленькая, хрупкая... Я тоже там была... Оттуда я...

С каждым годом мне все труднее отвечать на вопрос: «Ты не солдат, зачем туда поехала?» Мне было двадцать семь лет... Все подружки замужем, а я — нет. Дружила с парнем год, а он женился на другой. «Убери! Сотри из памяти, чтобы никто не знал и не догадывался, что мы там были,» — пишет мне подруга. Нет, стирать из памяти не буду, а разобраться хочу...

Уже там мы начали понимать, что нас обманули. Вопрос: почему нас так легко обманывать? Потому что мы этого сами хотим... Не знаю, хотим или хотим? Как

правильно? Много живу одна, скоро разучусь говорить. Совсем замолчу. Могу признаться... От мужчины бы скрыла, а женщине скажу... У меня округлились глаза, когда я увидела, какое количество женщин едет на эту войну. Красивые и некрасивые, молодые и не очень молодые. Веселые и злые. Пекари, повара, официантки... Уборщицы... Конечно, у каждой присутствовал практический интерес — хотелось заработать, может, и личную жизнь устроить. Все незамужние или разведенные. В поиске счастья... Судьбы... Там счастье было... И по-настоящему влюблялись. Играли свадьбы. Тамара Соловей... Медсестра... Принесли на носилках вертолетчика, черный весь, обгоревший. А через два месяца она меня позвала на свадьбу — они женятся. Я спрашиваю девчонок, с которыми жила в комнате: как мне поступить, у меня траур? Мой друг погиб, мне надо написать его маме, я два дня плачу. «Послезавтра, может и ее жениха убьют, зато будет кому поплакать над ним,» — отвечают девчонки. Мол, нечего думать — идти или не идти, подарок ищи. Подарок у всех одинаковый — конвертик с чеками. Экипаж жениха прибыл с канистрой спирта. И пели, и плясали, и тосты поднимали. Кричали: «Горько!» Счастье везде одинаковое... Особенно женское счастье... Всякое было... Но запоминалось красивое... Комбат вечером зашел ко мне в комнату: «Не бойся! Мне ничего не надо. Ты посиди, я посмотрю на тебя».

Но вера была! Большая вера! Вера тоже.. Во что-то верить — это так красиво... Замечательно! Чувство обмана... И вера ... В нас как-то это уживалось... Может, я не могла представить себе другую войну, не похожую на Великую Отечественную. С детства любила военные фильмы смотреть. Я так думала... Я так себе в уме рисовала. Ну, такие сцены... Разве может военный госпиталь обойтись без женщин? Без женских рук? Лежат обожженные... Истерзанные... Даже просто руку положить на рану, передать какой-то заряд. Это же милосердие! Для женского сердца работа! А верите ли вы мне? Верите ли вы нам? Ну, не все же там были проститутки и «чекистки»? Хороших девочек было больше. Как женщине вам доверяю... Как женщине... С мужчинами лучше молчать на эту тему. В лицо рассмеются... У меня на новой работе (я приехала и уволилась со старого места) никто не знает, что я с войны... Из Кабула... Недавно заспорили об Афганистане: что за война, почему война — и наш главный инженер меня оборвал: «Ну, что вы, молодая женщина, понимаете в военных делах... Мужское это...» (*Засмеялась*). Я встречала на войне много мальчиков, которые сами рвались на опасные операции. Погибали, не задумываясь. Я там много наблюдала за мужчинами... Подсматривала... Было любопытно... Ну... Что у них там в голове, что за микроб такой? Всегда они воюют... Я видела, как они рисковали жизнью, как они убивали. И они до сих пор считают, что они какие-то особенные, раз они убивали. Их коснулось что-то, что на коснулось других. Может, это болезнь? Существует микроб. Вирус... Заражаются им...

Все перевернулось дома... Среди своих... Уезжали из государства, которому эта война была нужна, а вернулись в государство, которому эта война не нужна. Свой социализм рушится, уже не до того, чтобы строить его за тридевять земель. Никто Ленина и Маркса уже не цитирует. Не вспоминает о мировой революции... Герои теперь другие... Фермеры, бизнесмены... Идеалы другие: мой дом — моя крепость... А нас воспитывали на Павке Корчагине... На Мересьеве... Мы пели песни у костра: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Скоро смеяться над нами будут... Пугать детей... Обидно не за то, что нам чего-то не додали... Медалек не хватило... Нас вычеркнули, как будто нас не существует. Попали меж жерновов...

Первые полгода я не могла уснуть ночью. А когда засыпала, снились трупы, обстрелы. В ужасе вскакивала. Закрою глаза — картины повторяются. Записалась на прием к невропатологу. Он выслушал и удивился: «Вы что, так много трупов видели?»

Ох, как мне хотелось заехать по его молодой роже!! Еле сдержалась... Уговорила себя... Я могла и матом загнуть! На войне научилась. Ни к какому врачу больше не пошла. Началась депрессия... Утром мне не хочется вставать с постели, умываться, расчесывать волосы. Все делаю через силу, заставляю себя. Иду на работу... С кем-то разговариваю... Спроси меня вечером — ничего не помню. Я все больше и больше не хочу жить. Музыка не могу слушать. Читать стихи. А раньше я все это любила, я этим жила. Никого в гости не зову. И сама не хожу. Спрятаться негде — проклятый жилищный вопрос! Живу в коммуналке... Что я заработала на войне? Оделась немного... Мебель купила итальянскую... Но осталась одна... В той жизни ничего не нашла и в этой потерялась. С этой жизнью я тоже не совпадаю. Мне все равно хочется во что-то верить. У меня забрали... Меня ограбили... Не только деньги в банке пропали, инфляция, хуже — конфисковали прошлое. У меня нет прошлого... Нет веры... Чем жить?

Вы думаете, что мы жестокие? А догадываетесь ли, какие жестокие вы? Нас не спрашивают и не слушают. Но о нас пишут...

Имени моего не называйте... Считайте, что меня уже нет...

Служащая

— На кладбище летишь, как на встречу...

Первые дни ночевала там... И не пугалась... Я теперь полет птиц очень понимаю, и как трава колышется. Весной жду, когда цветок ко мне из земли вырвется. Подснежники посадила... Чтобы скорее дожидаться привета от сына... Они оттуда ко мне поднимаются... От него...

Сижу у него до вечера. До ночи. Иногда как закричу, и сама не услышу, пока птицы не поднимутся. Шквал вороний. Кружат, хлопают надо мной, я и опомнюсь. Перестану кричать. Все четыре года каждый день прихожу. Или утром, или вечером. Одиннадцать дней не была, когда с микроинфарктом лежала, не разрешали вставать. А встала, тихонько до туалета дошла... Значит, и до сына добегу, а упаду, так на его могилку. В больничном халате убежала...

Перед этим сон видела. Появляется Валера:

— Мапочка, не приходи завтра на кладбище. Не надо.

Прибежала: тихо, ну вот так тихо, словно его там нет. Вот чувствую сердцем — его там нет. Вороны сидят на памятнике, на ограде и не улетают, не прячутся от меня, как обычно. Поднимаюсь со скамейки, а они мне наперед залетают, успокаивают. Не пускают уйти. Что такое? О чем они хотят предупредить? Вдруг птицы успокоились, поднялись на деревья. И меня потянуло к могилке, и так спокойно на душе, тревога прошла. Этот дух его вернулся. “Спасибо, мои птички, что подсказали, не дали уйти. Вот и дождалась сыночка...” Среди людей мне плохо, хожу неприкаянная. Что-то мне говорят, тормозят... Мешают... А там мне хорошо. Мне хорошо только у сына. Меня или на работе, или там можно найти. Там, на могилке... там мой сын вроде как живет... Я высчитала, где лежит его голова... Сажусь рядышком и все ему рассказываю... Какое у меня было утро, какой день... Вспоминаем с ним... Смотрю на портрет... Глубоко смотрю, долго... Он или немножко улыбнется, или, чем-то недовольный, нахмурится. Вот так с ним и живем. Если я покупаю новое платье, то только чтобы к сыну прийти, чтобы он меня в нем увидел... Раньше он передо мной на колени становился: «Магушка, ты моя. Красавица ты моя!» Теперь я перед ним... Всегда: открою калиточку и стану на колени:

— Доброе утро, сынок... Добрый вечер, сынок...

Всегда с ним. Хотела мальчика из детдома взять... Найти такого же, глазастенького. Да сердце больное. Сердце уже не выдержит. Как в темный туннель, загоняю себя в работу. Если у меня будет время сесть на кухне и посмотреть в окно, я сойду с ума. Спасти меня могут лишь мучения. Я ни разу за эти четыре года не была в кино. Продала цветной телевизор, и деньги эти пошли на памятник. Я радио ни разу не включила. Как сыночек погиб, у меня все изменилось: лицо, глаза, даже руки.

Я по такой любви вышла замуж. Выскочила! Он летчик, высокий, красивый. В кожаной куртке, унтах. Медведь. Это он будет моим мужем?! Девчонки ахнут! Зайду в магазин, ну почему наша промышленность не выпускает домашние тапочки на каблуках? Я против него такая маленькая. Как я ждала, чтобы он заболел, закашлял, чтобы у него был насморк. Тогда на целый день останется дома, я буду ухаживать за ним. Безумно хотела сына. И сын, чтобы как он. Такие глаза, такие уши, такой нос. Как будто кто-то подслушал на небе — сын весь в него, капелька в капельку. Я не могла поверить, что эти двое замечательных мужчин мои. Не могла поверить! Любила дом. Любила стирать, гладить. Так любила все, что на паучка не наступлю, муху, божью коровку поймаю в доме, в окошко выпущу. Пусть все живет, любит друг друга — я такая счастливая! Звоню в дверь, включаю в коридоре свет, чтобы сын меня увидел радостной:

— Лерунька (звала его в детстве Лерунька), это я. Соску-у-чилась!! — Из магазина или с работы бегу.

Я безумно любила сына, я и сейчас его люблю. Принесли фотографии с похорон... Не взяла... Еще не верила... Я — верный пес, я из тех собак, что умирают на могиле. И в дружбе всегда была верная. Молоко из груди течет, а мы с подругой договорились встретиться, я должна ей отдать книгу. Полтора часа стою на морозе, жду, ее нет. Человек не может просто так не прийти, раз обещал, что-то случилось. Бегу к ней домой, а она спит. Она не могла понять, почему я плачу. Я ее тоже любила, я ей платье подарила самое любимое — голубое. Такая я. В жизнь медленно входила, робко. Некоторые смелее. Не верила, что меня можно любить. Говорили: красивая, — не верила. Я шла по жизни с отставанием. Но если я что-то запоминала, заучивала, то это на всю жизнь. Навсегда. И все с радостью. Полетел в космос Юрий Гагарин, мы с Лерунькой выскочили на улицу... Мне хотелось всех любить в эту минуту... Всех обнять... Мы кричали от радости...

Я безумно любила сына. Безумно. И он меня безумно любил. Могила меня притягивает... Зовет... Как будто он меня окликает...

У него спрашивали:

— Девушка у тебя есть?

Он отвечал:

— Есть, — и показывал мой студенческий билет, где у меня еще косы длинные-длинные.

Он любил танцевать вальс. Пригласил меня на первый свой вальс в школе на выпускном вечере. А я не знала, что он умеет танцевать, научился. Мы с ним кружились.

Вяжу у окно вечером, жду его. Шаги... Нет, не он. Шаги... Моего сына шаги! Ни разу не ошиблась. Садимся друг против друга и до четырех утра говорим. О чем? Ну о чем говорят люди, если им хорошо. Обо всем. О серьезном и о пустяках. Хохочем. Он мне напоеет, сыграет на пианино.

Гляну на часы:

— Валера, спать.

— Давай, матушка, еще посидим.

Он звал меня: матушка моя, матушка моя золотая.

— Ну, матушка моя золотая, твой сын поступил в Смоленское высшее военное училище. Рада?!

Сел за пианино:

Господа офицеры — голубые князья!
Я, наверно, не первый,
И последний не я...

Мой отец — кадровый офицер, погиб, защищая Ленинград. Дед был офицером. Сына сама природа слепила военным человеком: рост, сила, манеры. Ему бы в гусары! Белые перчатки... Карты, преферанс... “Моя военная косточка”, — веселилась я. Хотя бы на нас что-нибудь капнуло с небес господних... Знак показался...

Все ему подражали. Я, мама, подражала ему. Садилась, как он, у пианино, немного вполоборота. Иногда начинала ходить, как он. После его смерти особенно. Я хочу, чтобы он всегда присутствовал во мне... Продолжал жить...

— Ну, матушка моя золотая, твой сын уезжает.

— Куда?

Молчит. Сажу в слезах:

— Сыночек, куда ты едешь, дорогой?

— Что значит- куда? Уже известно куда. Матушка моя, за работу. Будем начинать с кухни... Друзья придут...

Мгновенно догадываюсь:

— В Афганистан?

— Туда... — И такое сделал лицо, не подступиться, железный занавес опустил.

Ворвался в дом Колька Романов, его друг. Как колокольчик, все рассказал: они еще с третьего курса подавали рапорт с просьбой отправить их в Афганистан. Им долго отказывали.

Первый тост: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Весь вечер Валера пел мои любимые романсы...

Господа офицеры — голубые князья!
Я, наверно, не первый,
И последний не я...

Четыре недели оставалось. Утром перед работой захожу в его комнату, сажу и слушаю, как он спит. Спал он тоже красиво.

Как природа нам стучала в дверь, как подсказывала. Вижу сон: я на черном кресте в черном длинном платье... И ангел меня на кресте носит... Я еле-еле вишу... Решила глянуть, куда же я упаду... В море или на сушу? Вижу — внизу котлован, залитый солнцем...

Ждала его в отпуск. Он долго не писал. Звонок на работу:

— Матушка моя золотая, я прибыл. Не задерживайся. Суп готов.

Я закричала:

— Сыночек, сыночек! Ты не из Ташкента? Ты — дома! В холодильнике кастрюля твоего любимого борща!!

— Ох ты! Кастрюлю видел, но крышку не поднимал.

— А у тебя что за суп?

— Суп — мечта идиота. Выезжай. Иду встречать к автобусу.

Приехал весь седой. Не признался, что не в отпуске, а отпросился из госпиталя: “Матушку повидать на два дня”. Дочка видела, как катался по ковру, рычал от боли. Гепатит, малярия — все вместе привязалось к нему. Предупредил сестру:

— То, что сейчас было, это не для мамы. Иди, читай книгу.

Опять я заходила перед работой в его комнату, смотрела, как он спит. Открыл глаза:

— Что, матушка моя?

— Почему не спишь? Еще рано.

— Сон я видел плохой.

— Сыночек, если плохой, надо перевернуться. Будет хороший. И не надо рассказывать плохих снов, тогда они не сбываются.

Провожали его о Москвы. Стояли солнечный майские дни. Калужница цвела...

— Как там, сынок?

— Афганистан, матушка моя, это то, что нам делать нельзя.

Только на меня смотрел, больше ни на кого. Протянул руки, лбом потерся:

— Я не хочу ехать в эту яму! Не хочу!! — Пошел. Оглянулся. — Вот и все, мама.

Никогда не говорил “мама”, всегда “матушка моя”. Солнечный прекрасный день. Калужница цвела... Дежурная в аэропорту смотрела на нас и плакала...

Седьмого июля просыпаюсь без слез... Стеклянными глазами уставилась в потолок... Он меня разбудил... Как бы пришел попрощаться... Восемь часов... Надо собираться на работу... Мечусь с платьем из ванной в комнату, из одной комнаты в другую... Не могу надеть почему-то светлое платье... Меня кружило... Никого не видела... Все плыло... А к обеду успокоилась, к середине дня...

Седьмое июля... Семь сигарет в кармане и семь спичек... Семь снятых кадров в фотоаппарате... Семь писем ко мне... И семь писем невесте... Книга, раскрытая на седьмой странице... Коба Абэ. “Контейнеры смерти”...

Секунды три-четыре у него было, чтобы спастись... Они летели с машиной в пропасть...

— Ребята, спасайтесь! А мне — концы!! — Он не мог прыгнуть первым. Оставить друзей... Он этого не мог...

“Пишет вам заместитель командира полка по политической части майор Синельников С.Р.

Я, выполняя свой солдатский долг, считаю необходимым сообщить вам, что старший лейтенант Волович Валерий Геннадьевич погиб сегодня в десять часов сорок пять минут...”

Уже весь город знает... В Доме офицеров черный креп висит и его фотография... Уже самолет с гробом вот-вот приземлится... Мне ничего не говорят... Никто не решается... На работе моей все ходят заплаканные...

— Что случилось?

Отвлекают под разными предлогами. Заглянула в дверь приятельница. Потом наш врач в белом халате. Я как просыпаюсь:

— Люди! Вы что, с ума сошли? Такие не гибнут!! Нет! — Стала стучать по столу. Подбежала к окну, стучала в стекло.

Сделали укол.

— Люди! Вы что, с ума сошли? Спятели?!

Еще укол. Меня никак не брали уколы. Говорят, я кричала:

— Я хочу его видеть. Ведите меня к сыну.

— Ведите, иначе она не выдержит.

Длинный гроб, необтесанный... И желтой краской большими буквами: “Волович”. Я подняла гроб. Хотела с собой забрать. У меня лопнул мочевого пузыря...

Нужно место на кладбище... Место сухое... Сухонькое... Нужно пятьдесят рублей? Я дам, дам. Только хорошее место... Сухонькое... Я понимаю там, внутри, что это ужас, а

сказать не могу... Место сухонькое... Первые ночи не уходила... Там оставалась... Меня домой отведут, я назад... Косили сено... В городе и на кладбище сеном пахло...

Утром встречаю солдатика:

— Здравствуй, мама. Ваш сын был у меня командиром. Я готов вам все рассказать.

— Ой, сынок, подожди.

Пришли домой. Он сел в кресло сына. Начал и раздумал:

— Не могу, мама...

Захожу к нему — поклонюсь, и когда уйду — поклонюсь. Дома я только тогда, когда у меня гости. Мне у сына хорошо. Я и в мороз там не замерзаю. Там письма ему пишу, у меня гора неотправленных писем. Как их мне ему отправить? Возвращаюсь ночью: горят фонари, едут машины с включенными фарами. Возвращаюсь пешком. У меня внутри такая сила, что ничего не боюсь: ни зверя, ни человека.

Стоят в ушах слова сына: “Я не хочу ехать в эту яму! Не хочу!!” Кто за это ответит? Кто-то же должен... Я хочу долго прожить, очень стараюсь для этого. Жить, чтобы быть с сыном... Самое незащищенное у человека — это его могила. Его имя. Я всегда защищу своего сына... К нему приходят товарищи... Друг ползал перед ним на коленках: “Валера, я весь в крови... Вот этими руками я убивал... Из боев не вылезал... Я весь в крови... Валера, я теперь не знаю, что лучше — погибнуть или остаться жить? Я теперь не знаю...” Хочу понять, кто за все это ответит? Почему не называют их имена?

Как он пел:

Господа офицеры — голубые князья!
Я, наверно, не первый,
И последний не я...

Ходила в церковь, с батюшкой беседовала.

— У меня сын погиб. Необыкновенный, любимый. Как мне теперь себя вести с ним? Какие наши русские обычаи? Мы их забыли. Хочу их знать.

— Он крещеный?

— Батюшка, мне очень хочется сказать что он крещеный, но нельзя. Я была женой молодого офицера. Мы жили на Камчатке. Под вечным снегом... В снежных землянках... Здесь у нас снег белый, а там голубой и зеленый, перламутровый. Он не блестит и не режет глаза. Чистое пространство... Звук идет долго... Вы меня понимаете, батюшка?

— Матушка Виктория, плохо, что не крещеный. Наши молитвы к нему не дойдут.

У меня вырвалось:

— Так я окрещу его сейчас! Своей любовью, своими муками. Через муки я его окрещу...

Батюшка взял мою руку. Она дрожала:

— Нельзя так волноваться, матушка Виктория. Как часто ходишь к сыну?

— Каждый день хожу. А как же? Если бы он жил, мы каждый день с ним бы виделись.

— Матушка, нельзя его беспокоить после пяти вечера. Они уходят на покой.

— Я на работе до пяти, а после еще подрабатываю. Памятник новый ему поставила... Две с половиной тысячи... Долги надо отдать.

— Слушай меня, матушка Виктория, в выходной день приходи обязательно и каждый день к обедне — к двенадцати часам. Тогда он тебя слышит.

Дайте мне муки, самые печальные, самые невыносимые, пусть только доходят до него мои молитвы... Моя любовь...

Мать

— У нас все происходит каким-то чудом... Все держится на этой вере... В чудо!
Загружают нас в самолет: «Бегом! Бег-гом!» И рядом, ну... Рядом в нескольких десятках метров от нас... Ведут под руки пьяного летчика, пьяного наповал, его заталкивают в кабину. Мать честная! Все — ничего... Самолет поднимается и летит. Внизу — горы, острые пики. Падать на них жуть... Как на гвозди... Мать честная! Пот прошибает... Прилетели нормально, точно по времени. Команда: «Выходить! Строиться!» Ноги в корячку проходит с форсом летчик — трезвый. Все-- ничего... Что это? Что — если не чудо? Так у нас подвиги совершаются, героями становятся. Но когда мы начинаем каяться, то тоже удержу нет — белую рубашку на груди накрест! Плачем горячими слезами. Все — на полную катушку! До дна! Как в пьянке. Я вернулся... Я приказал себе: все к черту! К черту! Превращают нас в душевнобольных, в насильников, в наркоманов. Я вернулся... У меня нормальная жизнь нормального человека... Мать честная! Все — ничего... Пил вино, любил женщин, дарил цветы. Женился. У меня первый сын... Вот сижу перед вами — что я похож на сумасшедшего? На крокодила похож? Я служил в спецназе... У нас отличные все ребята были, много деревенских. Из Сибири. Они здоровее, выносливее. Один попался с приветом... Любил шомполом прокалывать барабанные перепонки пленным "духам". Мать честная! Один... Всего один... (*Молчит*).

Жизнь, как ни странно, продолжается... У Бориса Слуцкого: "Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны". Во мне сидит вся таблица Менделеева... Малярия до сих пор бьет... А за что? Нас никто не ждал... А там нам кричали другое: двинете перестройку, трянете стоячие мозги. Болото! Вернулись мы... Никуда нас не пустили... С первого дня твердят: "Учитесь, ребята. Семьи заводите". Мать честная! Все — ничего... Кругом — спекуляция, мафия, равнодушие, а нас к серьезному делу не подпускают... Мне один дельный человек объяснил: "А что вы умеете? Только стрелять... А что вы знаете? Что Родину только с пистолетом защищают? Что справедливость только с автоматом восстанавливают?" Ладно... Мы — не герои... Мать честная! Может, через тридцать лет я сам сыну скажу: "Сын, не все было так геройски, как в книжках написано, была и грязь". Я сам скажу... Но через тридцать лет... А сейчас это живая рана, только-только начала заживать, затягиваться пленкой... (*Начинает ходить по комнате*.)

Был у меня там момент... (*Остановился*.) Вам интересно? Я подумал о последнем желании... Оказалось оно таким простым: кружку воды и сигарету. Мать честная! Я не хотел умирать, я не думал умирать... Сознание уплыло от потери крови... Сознание качалось... Пришел в себя от крика... Валерка Лобач, наш санинструктор... Он бил меня по лицу и кричал в истерике: "Ты у меня будешь жить! Ты у меня будешь жить!" (*Резко сел*).

Самому интересно вспомнить... Мать честная! Все — ничего... По ночам я до сих пор тащу в горы на себе: автомат, "два БК", то есть два боевых комплекта — девятьсот патронов, к этому надо прибавить — четыре гранаты, дымы, пирофакелы, ракетницу, каску, бронежилет, саперную лопату, ватные штаны, плащ-палатку, сухпай на трое суток (а это девять тяжелых консервных банок и три больших пачки сухарей). Полсотни килограмм.. На ногах кирзачи с портянками, в которые нас переобули перед отправкой из Союза. Я ноги спек, пока не снял с убитого "духа" канадские кроссовки... К черту все! К черту! На войне все меняются, даже собаки меняются. Голодные... Чужие собаки... Смотрят на тебя, как на еду, человек же никогда не ощущает себя едой, а тут я почувствовал. Раненый лежал... Меня ребята быстро нашли... (*Замолчал*.) Зачем вы пришли? Зачем я согласился... Тронули это... К чему? Для кого? Мой дед на Великой

Отечественной воевал... Я ему рассказываю, как десять пацанов в одном бою потеряли. Десять гробов... Десять целлофановых пакетов... Дед отвечает: "Да! Ты настоящей войны не видал. У нас из боя сто-двести человек не возвращалось. Складывали в братскую могилу в одних гимнастерках или в нижнем белье и песком засыпали". К черту!! Я кончаю... Мать честная! Все — ничего... Пили мы там водку "Московскую", в народе "каленвал". Три рубля шестьдесят две копейки...

Четыре года прошло... Одно не изменилось — смерть, то что друзья погибли, все остальное изменилось...

Недавно был у зубного врача... Приехали мы все с цингой, парадантозом. Сколько хлорки съели? Один выдернули мне зуб, второй... И от боли в шоке (заморозка не взяла) я вдруг заговорил... А женщина — врач смотрит на меня почти с отвращением, у нее на лице все ее чувства. Мол, полный рот крови, а он еще говорит. Я понял, что все о нас вот так и думают: полный рот крови, а они еще говорят...

Ищут какие-то слова...

Сержант, боец спецназа

Post mortem

ТАТАРЧЕНКО ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ (1961 — 1981)

Выполняя боевое задание, верный
воинской присяге, проявив стойкость
и мужество, погиб в Афганистане.

Любимый Игорек,
ты ушел из жизни, не познав ее.

Мама, папа.

ЛАДУТЬКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ (1964 — 1984)

Погиб при исполнении
интернационального долга.
Ты честно выполнил свой воинский
долг. Себя убережь, мой сыночек,
не смог. На афганской земле ты погиб,
как герой, чтоб мирное небо было
над страной.

Дорогому сыночку от мамы.

БАРТАШЕВИЧ ЮРИЙ ФРАНЦЕВИЧ (1967 — 1986)

Геройски погиб при исполнении
интернационального долга.
Помним, любим, скорбим.

Память родных.

**БОБКОВ
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
(1964 — 1984)**

Погиб при исполнении
интернационального долга.
Зашла луна, погасло солнышко, дорогой
сыночек, без тебя.

Мама, папа.

**ЗИЛФИГАРОВ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
(1964 — 1984)**

Погиб верный воинской присяге.
Не сбылись желанья, не сбылись мечты,
рано закрылись глазки твои, Олежек,
сыночек, братишка родной, не высказать
боль расставанья с тобой.

Мама, папа, братики и сестрички.

**КОЗЛОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
(1961 — 1982)**

Погиб в Афганистане.
Единственному сыночку.

Мама.

**БОГУШ
ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ
(1960 — 1980)**

Погиб при защите Родины.
Опустела без тебя земля...

Мама

Суд
над “Цинковыми мальчиками”
(*История в документах*)

Недавно группа матерей воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане, подала в суд на писательницу Светлану Алексиевич, автора книги “Цинковые мальчики”. Их исковое заявление будет рассматриваться в народном суде Центрального района Минска.

Поводом для обращения в суд стал спектакль “Цинковые мальчики”, поставленный на сцене Белорусского театра имени Янки Купалы, и публикация отрывков из книги в газете “Комсомольская правда”. Спектакль был записан республиканским телевидением и продемонстрирован жителям Беларуси. Матерей, несущих в себе все эти годы свое неизбывное горе, оскорбило, что их мальчики показаны исключительно как бездушные роботы-убийцы, мародеры, наркоманы и насильники, не ведающие пощады ни старому, ни малому...

Л.Григорьев
“Вечерний Минск”. 12 июня 1992 г.

За “Цинковые мальчики” — в суд” — так называлась заметка, напечатанная 22 июня в газете “На страже Октября” и в некоторых других изданиях. “Писательнице Светлане Алексиевич, — говорилось в заметке, — после выхода ее книги объявили настоящую войну — автора обвиняют в искажении и фальсификации рассказов “афганцев” и их матерей. И вот очередное наступление после появления на сцене Белорусского театра имени Я. Купалы и на экранах телевидения одноименного спектакля. Судьям Центрального района надо будет рассмотреть исковое заявление группы матерей погибших воинов-интернационалистов. Дата суда еще не назначена. Спектакль снят со сцены...”

Мы позвонили в суд Центрального района столицы с просьбой прокомментировать это сообщение, но там оно вызвало удивление. Секретарь С. Кульган сказала нам, что такое исковое заявление в суд не поступало...

Как пояснил нам автор заметки в газете “На страже Октября” В. Стрельский, информация была взята им из московской газеты “Красная звезда”.

“Чырвоная змена”. 14 июля 1992 г.

20 января газета “Советская Белоруссия” сообщила: “В народном суде Центрального района Минска начался судебный процесс по делу писательницы Светланы Алексиевич...”

А за день до этого, 19 января, газета “Вечерний Минск” опубликовала заметку на эту же тему под заголовком “Суд над литератором”. Я специально указываю конкретные даты публикаций. Дело в следующем...

Посетив суд Центрального района столицы Беларуси, я узнал, что дело ведет судья Городничева.

Включить диктофон она не разрешила. От каких-либо пояснений категорически отказалась, сославшись на то, что “не нужно нагнетать атмосферу”. Но Городничева таки продемонстрировала папку по делу Алексиевич, которая была заведена... 20 января. То есть очевидно: материалы для печати о том, что суд идет (!), были готовы еще до того, как сама судья завела дело...

Леонид Свиридов
“Собеседник”, № 6, 1993 г.

В народный суд Центрального района Минска поступило два исковых заявления. Бывший афганец, ныне инвалид, утверждает, что С. Алексиевич написала о той войне и о нем лично неправду, оклеветала. Посему должна публично извиниться, а поруганную солдатскую честь компенсировать суммой в 50 тысяч рублей. Мать погибшего офицера разошлась с писательницей в оценках советского патриотизма и его роли в воспитании молодого поколения.

С обоими истцами Светлана Алексиевич встречалась несколько лет назад в процессе работы над известной книгой “Цинковые мальчики”. Оба ныне заявляют, что говорили тогда “не так”, а если и говорили “так”, как зафиксировано в книге. то сейчас передумали.

Небезынтересные нюансы. Солдат-истец, обвиняя писательницу в искажении фактов, в оскорблении его достоинства, ссылается на газетную публикацию 1989 года. Хотя в ней фигурирует не его, а совсем иная солдатская фамилия. Мать-истец уводит суд в лабиринты политики и психологии, откуда не вызволит и рота научных экспертов. Тем не менее оба иска приняты на судье к производству. Судебные заседания еще не начались, но вовсю идет досудебный допрос писательницы...

Анатолий Козлов
“Литературная газета”, 10 февраля 1993 г.

Под судом известная белорусская писательница Светлана Алексиевич, напомнившая в свое время о том, что “У войны не женское лицо”. Оказалось, что пепел Афганистана еще стучит в сердца некоторых возмущенных читателей, не простивших С. Алексиевич “Цинковых мальчиков”, документальную повесть о неизвестной нам афганской войне. Писательницу обвиняют в передержках, выборочном использовании представленных ей участниками войны, вдовами и матерями погибших солдат материалов. И вообще в клевете, антипатриотизме и очернительстве. Пока не ясно, будет ли дан делу “законный ход” или все-таки авторы искового заявления, потребовав некоей моральной компенсации, до суда (открытого суда) не доведут. Но сигнал характерный. Прямо встала тень майора Червонописного, поучавшего на съезде союзных депутатов академика Андрея Сахарова, как тому следует оценивать афганскую войну.

**Из судебного иска Ляшенко Олега Сергеевича,
бывшего рядового, гранатометчика**

6 октября 1989 года в статье “Мы возвращаемся оттуда...”, опубликованной в газете “Літаратура і мастацтва”, были напечатаны отрывки из документальной книги Светланы Алексиевич “Цинковые мальчики”. Один из монологов подписан моим именем (фамилия указана неправильно).

В монологе отражен мой рассказ об афганской войне и моем пребывании в Афганистане, отношениях между людьми на войне, после войны и т.д.

Алексиевич полностью исказила мой рассказ, дописала то, что я не говорил, а если говорил, то понимал это по-другому, сделала самостоятельные выводы, которые я не делал.

Часть высказываний, которые написала С. Алексиевич от моего имени, унижают и оскорбляют мою честь и достоинство.

Это следующие фразы:

1. “В Витебской “учебке” не было секретом, что нас готовят в Афганистан.

Один признался, что боится, мол, нас там всех перестреляют. Я стал его презирать. Перед самым отъездом еще один отказался ехать...

Я считал его ненормальным.

Мы ехали делать революцию”.

2. “Через две-три недели от тебя ничего прежнего не остается, только твое имя. Ты — это уже не ты, а другой человек. И этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как будут его стаскивать со скалы или тянуть по жару несколько километров...”

Ему знакомо собственное и чужое возбуждение при виде убитого: нее меня! Вот такое превращение... Почти со всеми”.

3. “Я был приучен стрелять, куда мне прикажут. Стрелял, не жалея никого. Мог убить ребенка... Каждый хотел вернуться домой. Каждый старался выжить. Думать было некогда... К чужой смерти я привык, а собственной боялся”.

4. “Не пишите только о нашем афганском братстве. Его нет. Я в него не верю. На войне нас объединял страх. Нас одинаково обманули... Здесь нас объединяет то, что у нас ничего нет. У нас одни проблемы: пенсии, квартиры, лекарства, мебельные гарнитуры. Решим их, и наши клубы распадутся.

Вот я достану, пропихну, выгрызу себе квартиру, мебель, холодильник, стиральную машину, японский “видик” — и все! Молодежь к нам не потянулась. Мы непонятны ей. Вроде приравнены к участникам Великой Отечественной войны, но те Родину защищали, а мы? Мы, что ли, в роли немцев — так мне один парень сказал.

А мы на них злы. Кто там со мной не был, не видел, не пережил, не испытал — тот мне никто”.

Все эти высказывания глубоко оскорбляют мое человеческое достоинство, так как такое не говорил, так не думаю и считаю, что эти сведения порочат мою честь как мужчины, человека, солдата...

*20 января 1993года
Без личной подписи и даты*

Из стенограммы досудебного собеседования

Присутствовали: судья Т. Городничева, адвокаты Т. Власова, В. Лушкинов, истец О. Ляшенко, ответчица С. Алексиевич.

Судья Т. Городничева:

— Истец, вы утверждаете, что писательница исказила сообщенные вами факты?

О. Ляшенко:

— Да.

Судья Т. Городничева:

— Ответчица, прошу пояснить вас по существу данного вопроса.

С. Алексиевич:

— Олег, я хотела бы тебе напомнить, как ты рассказывал и плакал, когда мы встретились, и не верил, что твою правду можно будет когда-нибудь напечатать. Ты просил, чтобы я это сделала... Я написала. И что теперь? Тебя опять обманывают и используют... Во второй раз... Но ты же тогда говорил, что уже никогда не дашь себя обмануть?

О. Ляшенко:

— Побывали бы вы на моем месте: нищая пенсия, работы у меня нет, двое маленьких детей... Жену недавно тоже сократили. Как жить? На что жить? А у вас гонорары... Печатаетесь за границей... А мы, получается, убийцы, насильники...

Адвокат Т. Власова:

— Я протестую. На моего подзащитного оказывается психологическое давление. У меня отец был летчик, генерал, он тоже погиб в Афганистане... Там все было святое... Это — святые смерти... Они выполняли присягу... Родину защищали...

Судья Т. Городничева:

— На чем настаивает истец?

О. Ляшенко:

— Чтобы писательница передо мной публично извинилась и мне был возмещен моральный ущерб...

Судья Т. Городничева:

— Вы настаиваете только на опровержении опубликованных фактов?

О. Ляшенко:

— За мою поруганную солдатскую честь я требую, чтобы С. Алексиевич заплатила мне 50 тысяч рублей.

С. Алексиевич:

— Олег, я не верю, что это твои слова. Это ты говоришь с чужих слов... Я помню тебя другого... И ты слишком дешево оценил свое обожженное лицо, потерянный глаз, сломанную руку. Только не меня надо звать в суд. Ты перепутал меня с министерством обороны и Политбюро КПСС...

Адвокат Т. Власова:

— Я протестую! Это — психологическое давление...

С. Алексиевич:

— Когда мы с тобой встречались, Олег, это пять лет назад, ты был честен, я боялась за тебя. Я боялась, что у тебя могут быть неприятности с КГБ, ведь вас всех заставляли подписывать бумагу о неразглашении военной тайны. И я изменила твою фамилию. Я изменила ее, чтобы защитить тебя, а теперь должна этим же от тебя сама защищаться. Поскольку там не твоя фамилия, то — это собирательный образ... И твои претензии безосновательны...

О. Ляшенко:

— Нет, это мои слова. Это я говорил... Там и то, как меня ранило... И... Там все мое...

Из судебного иска Екатерины Никитичны Платициной, матери погибшего майора Александра Платицина

6 октября 1989 года в статье “Мы возвращаемся оттуда...” в газете “Літаратура і мастацтва” были опубликованы отрывки из документальной книги Светланы Алексиевич “Цинковые мальчики”. Один из монологов, как матери погибшего в Афганистане майора А. Платицина, подписан моим именем.

Полностью этот монолог включен в книгу С. Алексиевич “Цинковые мальчики”.

В монологе, напечатанном в газете и книге, искажен мой рассказ о сыне. С. Алексиевич, несмотря на то, что книга документальная, некоторые факты добавила от себя, многое из моих рассказов опустила, сделала самостоятельные выводы и подписала монолог моим именем.

Статья оскорбляет и унижает мою честь и достоинство...

Без личной подписи и даты

Из стенограммы досудебного собеседования

Присутствовали: судья Т. Городничева, адвокаты Т. Власова, В. Лушкинов, истица Е. Платицина, ответчица С. Алексиевич.

Судья Т. Городничева:
— Мы слушаем вас, Екатерина Никитична...

Е. Платицина:
— Образ сына, запечатленный в моем сознании, полностью не соответствует образу, выведенному в книге.

Судья Т. Городничева:
— Вы могли бы пояснить свою мысль: где, в каком месте и как искажены факты?

Е. Платицина (*берет в руки книгу*):
— Там все не так, как я говорила. Мой сын был не такой. Он любил свою Родину. (*Плачет.*)

Судья Т. Городничева:
— Я прошу вас успокоиться и назвать нам факты.

Е. Платицина (*зачитывает из книги*):
“После Афганистана (это когда он приехал в отпуск) еще нежнее стал. Все ему дома нравилось. Но были минуты, когда сядет и молчит, никого не видит — по ночам вскакивал, ходил по комнате. Один раз просыпаюсь от крика: “Вспышки! Вспышки!” Другой раз слышу ночью: кто-то плачет. Кто может у нас плакать? Маленьких детей нет. Открываю его комнату: он обхватил голову двумя руками и плачет...”

Он был офицер. Боевой офицер. А тут он показан как плакса. Разве об этом надо было писать?

Судья Т. Городничева:
— Я сама готова заплакать. И не раз плакала, когда читала эту книгу, ваш рассказ. Но что здесь оскорбляет вашу честь и достоинство?

Е. Платицина:
— Понимаете, он был боевой офицер. Он не мог заплакать. Или вот еще: “Через два дня был Новый год. Под елку спрятал нам подарки. Мне платок большой. Черный. “Зачем ты, сыночек, черный выбрал?” — “Мамочка, там были разные. Но пока моя очередь подошла, только черные остались. Посмотри, он тебе идет...”

Получается, что мой сын стоял в очередях, он терпеть не мог магазины и очереди. А тут он на войне стоит в очереди... Мне, за платком... Зачем было об этом писать? Он был боевой офицер. Он погиб...

Светлана Александровна, зачем вы такое понаписали?

С. Алексиевич:

— Когда я писала ваш рассказ, я тоже плакала. И ненавидела тех, кто послал вашего сына зря погибнуть в чужой стране. И мы были тогда с вами вместе, заодно.

Е. Платицина:

— Вы говорите, что я должна ненавидеть государство, партию... А я горжусь своим сыном! Он погиб, как боевой офицер. Его все товарищи любили. Я люблю то государство, в котором мы жили — СССР, потому что за него погиб мой сын. А вас ненавижу! Мне не нужна ваша страшная правда. Она нам не нужна!! Слышите?!

С. Алексиевич.

— Я, наверное, могла бы вас понять. Мы могли бы поговорить. Но почему мы должны говорить об этом в суде? Вот это я не могу понять...

...По кондовому советскому сценарию, Светлана Алексиевич организовано проклинается как агент ЦРУ, прислужница мирового империализма, клеветущая на свою великую Родину и ее героических сыновей якобы за два “мерседеса” и долларовые подачки...

Первый суд так ничем и не закончился, так как истцы — бывший рядовой О. Ляшенко и мать погибшего офицера Е.Н. Платицина — не явились на судебное разбирательство. Но через полгода было подано два новых иска: от И.С. Галовневой, матери погибшего старшего лейтенанта Ю. Галовнева, председателя Белорусского клуба матерей погибших воинов - интернационалистов, и Тараса Кецмура, бывшего рядового, ныне председателя Минского клуба воинов-интернационалистов...

Газета “Права человека”, № 3, 1993 г.

14 сентября в Минске состоялся суд, где ответчиком выступала писательница Светлана Алексиевич.

И тут началось самое интересное. “Исковое заявление от матери погибшего “афганца” И.С. Головневой поступило в суд без даты, — сказал адвокат Алексиевич Василий Лушкинов. — Нам же его копию представили вообще без подписи и, естественно, без даты. Однако это не помешало судье Татьяне Городничевой возбудить дело по 7-й статье гражданского кодекса. Вызывает удивление и то, что само дело было процессуально не оформлено к моменту суда, то есть в книге регистраций номер его уже существовал, хотя еще не было вынесено определение о возбуждении гражданского дела”.

Однако суд состоялся... на нем председательствовал человек, дело увидевший, собственно, на самом суде. О том, что судья Т. Городничева заменена на судью И. Ждановича, Светлана Алексиевич и ее адвокат узнали только за десять минут до начала заседания.

“Это, скорее, вопрос морали, нежели юридический вопрос”, — отреагировал Василий Лушкинов.

Может быть, и так. Но за столом истцов внезапно появился еще один герой книги Светланы Алексиевич — Тарас Кецмур, а перед судьей И. Ждановичем легло его исковое заявление без подписи и, разумеется, без возбужденного по этому поводу дела...

Адвокат ответчицы обратил внимание суда на этот нонсенс и заявил протест. Судебное заседание было перенесено...

Олег Блоцкий

Из стенограммы судебного заседания 29 ноября 1993 г.

Состав суда: судья И.Н. Жданович, народные заседатели Т.В. Борисевич, Т.С. Сороко.

Истцы: И.С. Галовнева, Т.М. Кецмур.

Ответчица: С. А. Алексиевич.

**Из судебного иска Инны Сергеевны Галовневой,
матери погибшего старшего лейтенанта Ю. Галовнева**

В газете “Комсомольская правда” от 15.02.90 г. опубликованы отрывки из документальной повести С. Алексиевич “Цинковые мальчики” — “Монологи тех, кто прошел Афганистан”.

В опубликованном за моей фамилией монологе имеются неточности и искажения фактов, сообщаемых мной С. Алексиевич, а также явная ложь, вымыслы, т.е. изложение с моих якобы слов обстоятельств, о которых я не сообщала и не могла сообщить. Вольная интерпретация моих высказываний, а также явные домыслы, изложенные от моего имени, порочат мою честь и достоинство, тем более что повесть документальная. Как я полагаю, автор-документалист обязан в точности излагать полученную информацию, иметь записи бесед, согласовывать тексты с интервьюируемым.

Так, Алексиевич указывает в статье: “Нехорошо матери в этом признаваться... но я любила его больше всех. Больше, чем мужа, больше, чем второго сына...” (Речь идет о моем погибшем сыне Юре.) Приведенная цитата выдуманная (не соответствует изложенному). Указание о различной якобы степени любви к членам семьи повлекло конфликты в семь и, полагаю, порочат мое достоинство.

Далее: “В первом классе он знал, читал наизусть не сказки, не детские стихи, а целые страницы из книги “Как закалялась сталь” Н. Островского”. Из приведенной фразы следует, что сын воспитывался в семье каких-то фанатиков. Я же Алексиевич рассказывала, что Юра уже в 7--8 лет читал серьезные книги, в том числе “Как закалялась сталь”.

Алексиевич исказила и мой якобы рассказ об обстоятельствах отправки сына в Афганистан. Она указывает на его якобы слова: “Я поеду в Афганистан, чтобы доказать им, что в жизни есть высокое, что не каждому нужен для счастья только забитый мясом холодильник”. Ничего подобного не было. Утверждения Алексиевич порочат меня и моего сына. Ничего и никому он не доказывал. Как нормальный человек, патриот, романтик, он добровольно просился в Афганистан.

Не говорила я Алексиевич и таких фраз, когда заподозрила о намерении сына попроситься в Афганистан: “Тебя убьют там не за Родину... Тебя убьют неизвестно за что... Разве может Родина посылать на гибель...” Я сама отправила его туда. Сама!..”

Данная цитата порочит мою честь и достоинство, представляя меня двуличным человеком с двойной моралью.

Неверно описан спор между сыновьями. У Алексиевич написано так: “Ты, Гена, мало читаешь. Никогда не увидишь книгу у тебя на коленях. Всегда гитара...”

Спор между сыновьями был лишь в одном: в выборе профессии младшего сына. Гитара тут ни при чем.

Эта фраза Алексиевич оскорбляет меня тем, что она подчеркивает мою нелюбовь к младшему сыну. Я ей такие слова не говорила.

Считаю, что Алексиевич, решив представить события, связанные с войной в Афганистане, не только как политическую ошибку, а и как вину всего народа, тенденциозно, а зачастую и просто домысливала обстоятельства, якобы имевшие место в интервью. Цель ее — преподнести наш народ — солдат, побывавших в Афганистане, их родственников — как людей беспринципных и жестоких, безразличных к чужим страданиям.

Для облегчения работы Алексиевич я представила ей дневник сына, однако это не помогло ей изложить обстоятельства действительно документально.

Прошу извинения Алексиевич за искажение подлинного моего материала и за опорочивание моей чести и достоинства в газете “Комсомольская правда”

Без личной подписи и даты

Из судебного иска Тараса Кецмура, бывшего рядового

В изложенном тексте моего первого искового заявления о защите чести и достоинства не указаны конкретные претензии к С. Алексиевич за ее публикацию в “Комсомольской правде” (15. 02. 90 г.). Настоящим дополняю и подтверждаю его: все, что изложено С. Алексиевич в газетной статье и в книге “Цинковые мальчики”, — вымысел и не имело места в действительности, так как я с ней не встречался и ничего ей не говорил.

С выходом статьи 15 февраля 1990 в “Комсомольской правде” я прочел следующее: “Уехал в Афганистан со своей собакой Чарой, крикнешь “Умри!”, и она падает. Если не по себе, сильно расстроен, она садилась рядом и плакала. Первые дни я немел от восторга, что там...”

“Вы, пожалуйста, никогда не трогайте этого, много сейчас умников здесь, почему же никто не положил партбилет, никто пулю себе в лоб не пустил, когда мы были там...”

“Я там видел, как выкапывают на полях железо и человеческие кости... я видел оранжевую, ледовую корку на застывшем лице убитого, да, почему-то оранжевую...”

“В моей комнате те же книги, фото, магнитофон, гитара, а я другой. Через парк не могу пройти, оглядываюсь. В кафе официант станет за спиной: “Заказывайте”, а я готов вскочить и убежать. Не могу, чтобы у меня кто-то за спиной стоял. Увидишь гада, она мысль — расстрелять его надо”.

“На войне приходилось делать прямо противоположное тому, чему нас учили в мирной жизни, а в мирной жизни надо было забыть все навыки, приобретенные на войне”.

“Я стреляю отлично, прицельно метая гранаты, зачем мне это. Ходил в военкомат, просился назад, не взяли. Война скоро кончится, вернутся такие же, как и я. Нас будет больше”.

Практически этот же текст я прочитал и в книге “Цинковые мальчики” с небольшими литературными поправками, где фигурирует та же собака, те же мысли вслух.

Еще раз подтверждаю, что это чистый вымысел, приписанный к моему имени...

В связи с вышеизложенным прошу высокий суд защитить опороченную честь солдата и гражданина.

Из выступления И.С. Галовневой

Мы долго жили за границей, муж там служил. Мы вернулись на Родину осенью восемьдесят шестого. Я была счастлива, что мы, наконец, дома. Но вместе с радостью в дом пришло горе — погиб сын.

Месяц я лежала пластом. Не хотела никого слышать. Все было выключено в моем доме. Я никому не открывала дверей. Алексиевич была первая, кто вошел в мой дом. Она сказала, что хочет написать правду о войне в Афганистане. Я ей поверила. Сегодня она пришла, а завтра меня должны были положить в больницу, и я не знала: вернусь я оттуда или нет? Я не хотела жить, без сына я не хотела жить. Когда Алексиевич пришла, она сказала, что пишет документальную книгу. Что такое — документальная книга? Это должны быть дневники, письма тех, кто там был. Я так понимаю. И я ей отдала дневник своего сына, который он там вел: “Вы хотите написать правду, — сказала я, — вот она, в дневнике моего сына”.

Потом мы с ней говорили. Я ей рассказала свою жизнь, потому что мне было тяжело, я ползала на коленках в четырех стенах. Я не хотела жить. У нее был с собой диктофон, она все записывала. Но она не говорила, что будет это печатать. Я ей рассказывала просто так, а напечатать она должна была дневник моего сына. Повесть же документальная. Я отдала ей дневник, муж специально для нее перепечатал.

Она еще сказала, что собирается в Афганистан. Она там была в командировке, а мой сын там погиб. Что она знает о войне?

Но я ей верила, я ждала книгу. Я ждала правду: за что убили моего сына? Я писала письмо Горбачеву: ответьте мне, за что погиб мой сын в чужой стране? Все молчали...

Вот что Юра писал в дневнике: “1 января 1986 года. Уже отсчитана половина пути, и впереди осталось так мало. И снова пламя, и снова забвение, и новый долгий путь — и так вечно, прежде чем свершится воля предназначенного. И память, бьющая плетью пережитого, кошмарными снами врывающаяся в жизнь, и призраки иного мира, иных времен и столетий, влекущие своей похожестью, но иные, не знающие истекших дней. И не остановиться, не передохнуть, не изменить однажды предрешенного — пустота и мрак развернется перед отступившимся, ибо, присев отдохнуть, уже не подняться с Земли. И устав, в отчаянии и боли вопиешь к пустым небесам: что там, когда сомкнут круг и путь окончен, и новый мир воссиял в своем величии? Почему мы в ответе за них? Им не дано подняться до блистательных высот, и как бы ни был долог путь, все же дни их уже сочтены. А мы ломаем свои жизни, не зная покоя и счастья, бредем усталые и разбитые, всемогущие и бесправные, демоны и ангелы этого мира...”

Алексиевич это не напечатала, правду моего сына. Другой правды быть не может, правда у тех, кто там был. Она зачем-то описала мою жизнь. Простым, детским языком. Какая это литература? Гадкая маленькая книжонка...

Товарищи, я растила своих детей честно и справедливо. Она пишет, что мой сын любил книгу Николая Островского “Как закалялась сталь”. Тогда эту книгу в школе проходили, как и Фадеева “Молодую гвардию”. Все эти книги читали, они были в школьных программах. А она подчеркивает, что он их читал, знал отрывки наизусть. Для чего ей нужно об этом писать? Она хочет показать его ненормальным. Фанатичным. Или она пишет: он жалел, что стал военным. Сын мой вырос на полигонах, он пошел по

стопам отца. У нас деды, все братья отца, двоюродные братья — все в армии. Военная династия. И в Афганистан он поехал, потому что он был честный человек. Он дал военную присягу. Раз нужно, он поехал. Я воспитала прекрасных сыновей. Ему приказали, он поехал, он был офицер. А Алексиевич хочет доказать, что я мать убийцы. И мой сын там убивал. Что выходит? Я его туда послала? И дала ему в руки оружие? Мы, матери, виноваты, что там была война? Что там убивали, грабили, курили наркотики?

И эта книга опубликована за границей. В Германии, во Франции... По какому праву Алексиевич торгует нашими погибшими сыновьями? Добывает себе славу и доллары? Кто она такая? Если это мое, я рассказала, пережила, при чем здесь Алексиевич... Поговорила, записала наши рассказы, мы ей проплакали свое горе...

Имя мое она написала неправильно: Я Инна, а у нее Нина Галовнева. У моего сына звание старший лейтенант, а она написала — младший. Это документальная литература, я дала ей дневник, она должна его опубликовать, и все. Я понимаю, что документальная литература — это письма, дневники. Пусть признает, что это вымысел, клевета... Написанная простым, грубым языком. Кто так пишет книги? Мы детей потеряли, а у нее слава... Пусть бы она родила сына и отправила на эту войну...

Из ответов на вопросы

Адвокат С. Алексиевич — В. Лушкинов:

— Скажите, Инна Сергеевна, Алексиевич записывала ваш рассказ на диктофон?

И. Галовнева:

— Она попросила разрешения включить диктофон. Я ей разрешила.

В. Лушкинов:

— А вы просили ее показать потом то, что она снимет с пленки и использует в книге?

И. Галовнева:

— Я думала: она напечатает дневник моего сына. Я уже говорила, как я понимаю, документальную литературу — это дневники и письма. А если мой рассказ, то слово в слово, как я говорила.

В. Лушкинов:

Почему вы не подали в суд на Алексиевич сразу, когда вышла “Комсомольская правда” с отрывком из книги? А решились на это через три с половиной года?

И. Галовнева:

— Я не знала, что на эту книгу будет печатать за границей. Распространять клевету... Я честно воспитала своих детей для Родины. Мы жили всю жизнь в палатках и бараках, у меня было два сына и два чемодана. Я в политику не вмешивалась... А она пишет, что наши дети — убийцы... Я поехала в Министерство обороны, я отдала им орден сына... Я не хочу быть матерью убийцы... Я отдала его орден государству...

Общественный защитник С. Алексиевич — Е. Новиков, председатель Белорусской Лиги прав человека:

— Я хочу заявить протест. Прошу внести в протокол. Из зала постоянно оскорбляют Светлану Алексиевич. Грозят убить... Даже обещают резать по кусочкам... *(Поворачивается к матерям, сидящим в зале с большими портретами своих сыновей, на которых наколоты их ордена и медали.)* Поверьте, я уважаю ваше горе...

Судья И. Жданович:

— Я ничего не слышал. Никаких оскорблений.

Е. Новиков:

— Все слышали, кроме суда...

Голоса из зала

— Мы — матери. Хотим сказать... Погубили наших сыновей... Потом деньги себе на этом зарабатывают... Мы пришли защищать их, чтобы они могли спокойно лежать в земле...

— Как вы могли! Как смели облить грязью могилы наших мальчиков. Они до конца выполнили свой долг перед Родиной. Вы хотите, чтобы их забыли... По всей стране созданы сотни школьных музеев, уголков. Я тоже отнесла в школу шинель сына, его ученические тетрадки. Они — герои! Герои!! О них красивые книги надо писать, а не делать из них пушечное мясо. Мы лишаем молодежь нашей героической истории...

— Они там убивали... Бомбили...

— А сам ты служил в армии? Не служил... На институтской скамейке отсиживался, пока наши дети гибли.

— Не надо у матерей спрашивать: убивал ее сын или не убивал? Она помнит об одном — ее сына убили...

— Каждое утро вижу сына, но до сих пор не верю, что он дома. Когда он был там, я себе говорила, если привезут гроб, то у меня два пути: на улицу на митинг или в церковь. Свое поколение я называю “поколением исполнителей”. Афганская война — пик нашей трагедии. Почему с нами можно делать все?

— Обыватель сейчас во всем обвинит этих восемнадцатилетних мальчиков... Вот что вы сделали! Эту войну надо от них отделить... Война была преступная, ее уже осудили, а мальчиков надо защищать...

— Я — учитель русской литературы. Много лет повторяла своим ученикам слова Карла Маркса: “Смерть героев подобна закату солнца, а не смерти лягушки, лопнувшей от натуги”. Чему учит ваша книга?

— Довольно геройствовать, “афганцы”!

— Будь ты проклят! Будьте прокляты вы все!

Судья И. Жданович:

— Прекратите шум! Прекратите базар! Это — суд, а не базар... *(Зал неистовствует.)* Объявляется перерыв на пятнадцать минут...

После перерыва в зале суда дежурит милиция.

Из выступления Т.М. Кецура

Я не готовился выступать, я буду говорить не по бумажке, нормальным языком. Как я познакомился со знаменитейшей писательницей...Мирового уровня? Нас познакомила фронтовичка Валентина Чудаева. Она мне сказала, что эта писательница написала книгу “У войны не женское лицо”, которую читают во всем мире. Потом я на одной из встреч с фронтовиками разговаривал с другими женщинами-ветеранами, они мне сказали, что Алексиевич сумела из их жизни сколотить себе состояние и славу, теперь взялась за “афганцев”. Я волнуюсь... Прошу прощения...

Она пришла к нам в клуб “Память” с диктофоном. Хотела написать о многих ребятах, не только обо мне. Почему она после войны написала свою книгу? Почему эта писательница с громким именем, мировым, молчала десять лет? Ни разу не крикнула?

Меня туда никто не посылал. Я сам просился в Афганистан, писал рапорты. Придумал, что у меня там погиб близкий родственник. Я немножко поясню ситуацию... Я сам могу написать книгу... Когда мы встретились, я с ней отказался разговаривать, я так ей и сказал, что мы сами, кто там был, напишем книгу. Напишем лучше ее, потому что она там не была. Что она может написать? Только причинит нам боль.

Алексиевич теперь пишет книгу о Чернобыле. Это будет не меньшая грязь, чем та, что вылита на нас. Она лишила моральной жизни все наше афганское поколение. Получается, что я — робот... Компьютер... Наемный убийца... И мне место в Новинках под Минском, в сумасшедшем доме...

Мои друзья звонят и обещают набить морду, что я такой герой... Я взволнован... Прошу прощения... Она написала, что я служил в Афганистане с собакой... Собака по дороге умерла...

Я сам в Афганистан просился... Понимаете, сам! Я не робот... Не компьютер... Я взволнован... Прошу прощения...

Из ответов на вопросы

С. Алексиевич:

— В исковом заявлении, Тарас, ты написал, что никогда со мной нее встречался. А сейчас говоришь, что встречался, но отказался разговаривать. Значит, ты не сам писал свое исковое заявление?

Т. Кецмур:

— Я сам написал... Мы встречались... Но я вам ничего не рассказывал...

С. Алексиевич:

— Если ты мне ничего не рассказывал, откуда я могла знать, что ты родился на Украине, болел в детстве... Поехал в Афганистан с собакой (хотя, как ты сейчас говоришь, она по дороге умерла), и звали ее Чарой...

(Молчание.)

Е. Новиков:

— Вы говорили, что сами попросились в Афганистан, добровольцем. Я не понял, как вы сегодня к этому относитесь? Ненавидите эту войну или гордитесь, что там были?

Т. Кецмур:

— Я не дам вам сбить меня... Почему я должен ненавидеть эту войну? Я исполнил свой долг...

Из разговоров в зале суда

— Мы защищаем честь своих погибших сыновей. Верните им честь! Верните им Родину! Развалили страну. Самую сильную в мире!

— Это вы сделали наших детей убийцами. Это вы написали эту страшную книгу... Посмотрите на их фотографии...Какие они молодые, какие красивые! Разве у убийц бывают такие лица? Мы учили своих детей любить Родину... Зачем вы написали, что они там убивали? За доллары написали... А мы — нищие. На лекарства не хватает...Цветов на могилу сыновьям не за что купить...

— Оставьте нас в покое!! И почему вы бросаетесь из одной крайности в другую: сначала изображали героями, а сейчас мы все стали убийцами? У нас ничего не было, кроме Афгана. Только там мы чувствовали себя настоящими мужчинами. Никто из нас не жалеет, что там был...

— Вы хотите нас убедить, что вернулось больное поколение, а я утверждаю, что вернулось найденное поколение. Мы хотя бы посмотрели, какие наши парни — в настоящей жизни! Да, гибли мальчики. А сколько их гибнет в пьяной драке, в поножовщине? В автомобильных катастрофах каждый год погибает людей больше, чем мы потеряли за все десять лет этой войны. Наша армия давно не воевала. Тут мы проверяли себя, современное оружие...Эти мальчики — герои! А из-за таких, как вы, мы сегодня сдаем свои позиции во всем мире... Польшу потеряли...Германию потеряли...Чехословакию...Скажите мне, где наша великая держава? А я за нее до Берлина в сорок пятом дошел...

— На юге у моря я видела, как несколько молодых парней ползли на руках по песку к морю...Ног у них было меньше, чем их самих, вместе взятых...И я не пошла больше на пляж, я не могла там загорать... Я могла там только плакать...Они еще смеялись, хотели ухаживать за девочками, а все от них бежали, как я. Я хочу, чтобы у этих ребят все было хорошо. Чтобы они знали: они нужны нам такие, какие они есть. Им надо жить! Я люблю их за то, что они живы.

— Мне до сих пор мучительно вспоминать...Мы ехали в поезде... И в купе одна из женщин сказала, что она мать офицера, погибшего в Афганистане. Я понимаю...Она — мать, она плачет. Но я сказала: “ Ваш сын погиб на неправой войне...Душман защищал свою Родину...”

— Это такая страшная правда, что она звучит, как неправда. Отупляет. Ее не хочется знать. От нее хочется защищаться.

— Ссылаются на приказ: мне, мол, приказали — я исполнял. На это ответили международные трибуналы: выполнять преступный приказ — преступление. И срока давности нет.

— В девяносто первом году такого суда не могло быть. Компартия пала...А сейчас коммунисты опять почувствовали силу... Опять заговорили о “великих идеалах”, о “социалистических ценностях”... А кто против, на тех — в суд! Как бы скоро к стенке не начали ставить... И не собрали нас в одну ночь на стадионе за колючей проволокой...

— Я присягал... Я был военный человек...

— С войны мальчиками не возвращаются...

— Мы их воспитали в любви к Родине...

— Мальчишки... Им дали в руки оружие... И внушили — вот он, враг: душманская банда, душманская братия, душманское отребье, бандформирования душманов, бандитские группировки...А думать не научили...

Помните, у Артура Кестлера: “ Почему, когда мы говорим правду, она неизменно звучит как ложь? Почему, провозглашая новую жизнь, мы усеиваем землю трупами? Почему разговоры о светлом будущем мы всегда перемежаем угрозами?”

— Расстреливая притихшие кишлаки, бомбя дороги в горах — мы расстреливали и бомбили свои идеалы. Эту жестокую правду надо признать. Пережить. Даже наши дети научились играть в “духов “ и в “ ограниченный контингент “. Теперь давайте все-таки наберемся мужества узнать о себе правду. Невыносимо! Нестерпимо! Знаю. На себе проверила.

У нас два пути: познание истины или спасение от истины. Надо открыть глаза...

Из почты суда

Узнав подробности судебного дела, затеянного в Минске против Светланы Алексиевич, расцениваем его как преследование писательница за демократические убеждения и покушение на свободу творчества. Светлана Алексиевич завоевала своими подлинно гуманистическими произведениями, своим талантом, своим мужеством широкую популярность, уважение в России и других странах мира.

Не хотим пятна на добром имени близкой нам Беларуси!

Пусть восторжествует справедливость!

*Содружество Союзов писателей
Союз Российских писателей
Союз писателей Москвы*

Можно ли посягать на право писателя говорить правду, какой бы трагической и жестокой она ни была? Можно ли ставить ему в вину неопровержимые свидетельства о преступлениях прошлого и, в частности, о преступлениях, связанных с позорной афганской авантюрой, которая стоила стольких жертв, исковеркала столько судеб.

Казалось бы, в наше время, когда печатное слово стало, наконец, свободным, когда нет больше идеологического пресса, руководящих указаний, косных установок на “единственно возможное изображение жизни в духе коммунистических идеалов”, задавать такие вопросы нет никакого резона.

Увы, они есть. И красноречивое свидетельство тому — готовящийся в эти дни суд над писательницей Светланой Алексиевич, той самой, которая написала замечательную книгу “У войны не женское лицо”(о судьбе женщин — участниц Великой Отечественной), книгу “Последние свидетели” — о детях той же Великой Отечественной, — над Светланой Алексиевич, которая вопреки стараниям официальной пропаганды и противодействию литераторов типа небезызвестного А. Проханова, заслужившего в годы афганской войны титул “неутомимого соловья генерального штаба”, создала книгу “Цинковые мальчик”, сумев и посмея сказать в ней страшную, переворачивающую душу правду о войне в Афганистане.

Уважая личное мужество солдат и офицеров, посланных брежневским руководством КПСС сражаться в чужую, до этого дружественную, страну, искренне разделяя скорбь матерей, чьи сыновья погибли в афганских горах, писательница вместе с тем бескомпромиссно разоблачает в этой книге все попытки героизировать позорную афганскую войну, попытки романтизировать ее, развенчивает лживую патетику и трескучий пафос.

Видимо, это пришлось не по душе тем, кто и поныне убежден, что афганская и другие авантюры канувшего в прошлое режима, оплаченные кровью наших солдат, были исполнением “священного интернационального долга”, кто хотел бы обелить черные дела политиков и честолюбцев-военачальников, кто хотел бы поставить знак равенства между участием в Великой Отечественной войне и в несправедливой, по сути, колониальной, афганской.

Эти люди не вступают в полемику с писательницей. Не оспаривают приводимых ею потрясающих фактов. И вообще не показывают своего лица. Руками других, все еще заблуждающихся или введенных в заблуждение, они возбуждают (спустя годы после газетных публикаций и выхода в свет книги “Цинковые мальчики”!) судебное дело об “оскорблении чести и достоинства” воинов-афганцев, тех мальчиков, о которых с таким пониманием, состраданием и сочувствием, с такой сердечной болью написала Светлана Алексиевич.

Да, она не изображала их романтическими героями. Но лишь потому, что твердо следовала толстовскому завету: “Герой... которого я люблю всеми силами души... был, есть и будет, — правда”.

Так можно ли оскорбляться за правду? Можно ли ее судить?

*Писатели — участники
Великой Отечественной войны:*

*Микола Аврамчик, Янка Брыль, Василь Быков,
Александр Дракохруст, Наум Кислик,
Валентин Тарас*

Мы, белорусские писатели Польши, решительно протестуем против судебного преследования в Беларуси писательницы Светланы Алексиевич.

Судебный процесс над писательницей — это позор для всей цивилизованной Европы!

*Ян Чиквин, Сократ Янович, Виктор Швед,
Надежда Артымович*

Не могу больше молчать...И, может быть, только сейчас понял, что это была за война... Бедные мальчики, как мы перед ними виноваты! Что мы знали об этой войне? Каждого бы обнял, у каждого попросил прощения...

Теперь вспоминаю, как это было со мной. С нами...

Читал у Ларисы Рейснер, что Афганистан — полудикие племена, приплясывая, напевают: “Слава русским большевикам, которые помогли нам победить англичан”.

Апрельская революция... Удовлетворение: еще в одной стране победил социализм. А сосед в поезде шепотом: “Новые нахлебники на нашу шею”.

Смерть Тараки. На семинаре в горкоме на вопрос, почему позволили Амину убить Тараки, лектор из Москвы отрезал: “Слабые должны уступить место сильным”. Впечатление было неприятным.

Наш десант в Кабуле. Объяснение: “Американцы собирались бросить свой десант, мы опередили их всего на один час”. Одновременно слухи: нашим там плохо, нечего есть, нет теплой одежды. Сразу вспомнились события на Даманском и жалобные крики наших солдат: “нет патронов!!”

Потом появились афганские дубленки. Выглядели они на наших улицах шикарно. Другие женщины завидовали тем женщинам, у которых мужья были в Афганистане. В газетах писали: наши солдаты сажают там деревья, ремонтируют мосты, дороги.

Ехал из Москвы. В купе молодая женщина и ее муж заговорили об Афганистане. Я сказал что-то газетное, они усмехнулись. Они уже два года врачами в Кабуле. Сразу начали оправдывать военных, которые привозят оттуда товар... Там все дорого, а платят мало. В Смоленске помог им высадиться. Много больших картонных коробок с импортными наклейками...

У себя дома рассказ жены: в соседнем доме у одинокой женщины единственного сына отправляли на эту войну. Куда-то ездила, ползала на коленях, целовала сапоги. Вернулась довольная: “Выпросила!” И в то же время спокойно о том, что “начальство своих выкупает”.

Вернулся из школы сын: “Выступали “Голубые береты”. С восторгом: “Какие у них у всех японские часы!”

У одного “афганца” спросил, сколько стоят такие часы и сколько им платили. После заминки открылся: “Украли машину овощей, продали...” Признался, что все завидовали солдатам на топливозаправщиках: “Миллионеры!”

Из последних событий запомнилась травля академика Сахарова, с которым я согласен в одном: для нас всегда лучше мертвые герои, чем живые люди, может, в чем-то оступившиеся. И еще: недавно услышал, что в Загорске в духовном учебном заведении учатся “афганцы” — рядовые и два офицера. Что двигало ими: раскаяние, желание спрятаться от этой жестокой жизни или желание обрести новый путь? Не все ведь могут, получив ветеранские коричневые корочки, закормить душу льготным мясом, переодеть ее в импортное барахло и закопать на привилегированном садовом участке под яблонькой, чтобы ничего не видеть и молчать...

*Н.Гончаров,
г. Орша*

...И мой муж два года (с 1985 по 1987) был в Афганистане, в провинции Кунар, это возле самой границы с Пакистаном. Он стыдится называться “воином-интернационалистом”. Мы с ним часто обсуждаем эту болезную тему: надо ли было нам, советским, быть там, в Афганистане? И кто мы были там — оккупанты или друзья, “воины-интернационалисты”? Ответы приходят одни и те же: никто нас туда не звал и не нужна была наша “помощь” афганскому народу. И как ни тяжело в том признаться — мы там были оккупанты. И, на мою мысль, нам сейчас не о памятниках “афганцам” надо спорить (где их поставили, а где еще нет), а о покаянии думать. Нам всем надо покаяться за мальчиков, что обманутыми погибли в этой бессмысленной войне, покаяться за их матерей, тоже обманутых властью, покаяться за тех, кто вернулся с покалеченными душами и телами. Покаяться надо перед народом Афганистана, его детьми, матерями, стариками — за то, что столько горя принесли их земле...

*А. Масюта,
мать двоих сыновей, жена бывшего воина-*

*интернационалиста, дочь ветерана Великой
Отечественной войны*

Правда об агрессии СССР в Афганистане, подтвержденная собранными в книге Алексиевич документальными свидетельствами ее участников и жертв, является не “порушением чести и достоинства”, а позорным фактом недавней истории советского коммунистического тоталитаризма, однозначно и громогласно осужденным мировым сообществом.

Практика судебного преследования писателя за его творчество также является не менее хорошо известным и не менее позорным способом функционирования того же режима.

Происходящее сегодня в Беларуси — массированная организованная кампания против Светланы Алексиевич, травля писательницы и постоянная угроза в ее адрес, судебный процесс, попытки запретить ее книгу — свидетельствует о том, что отрывки тоталитаризма являются не прошлым, а настоящим Беларуси.

Такая реальность не позволяет воспринимать Республику Беларусь посткоммунистическим, свободным и независимым государством.

Преследование Светланы Алексиевич, чьи книги широко известны во Франции, Великобритании, Германии и других странах мира, не принесут Республике Беларусь ничего иного, кроме приобретения репутации коммунистического заповедника в посткоммунистическом мире, и не придадут ей никакой другой роли, кроме как незавидной роли европейской Кампучии.

Требуем немедленного прекращения всякого рода преследования Светланы Алексиевич и судебного процесса над ней и ее книгой.

*Владимир Буковский, Игорь Геращенко,
Ирина Ратушинская, Инна Рогачий,
Михаил Рогачий*

...Уже долгое время продолжают попытки дискредитировать, в том числе судебными исками, писательницу Светлану Алексиевич, всеми своими книгами восставшую против безумия насилия и войны. В своих книгах Светлана Алексиевич доказывает, что человек — главная ценность в этой жизни, но его преступно превращают в винтик политической машины и преступно используют как пушечное мясо в войнах, развязываемых амбициозными государственными лидерами. Ничем нельзя оправдать гибель наших парней на чужой земле Афганистана.

Каждая страница “Цинковых мальчиков” взывает: люди, не допустите этого кровавого кошмара еще раз!

*Совет Объединенной демократической
партии Беларуси*

Из Минска к нам поступают сведения о судебном преследовании белорусской писательницы, члена Международного ПЭНа Светланы Алексиевич, “виновной” лишь в том, что она выполнила основную и непреложную обязанность литератора: искренне поделилась с читателем тем, что ее тревожит. Книга “Цинковые мальчики”, посвященная афганской трагедии, обошла весь мир и заслужила всеобщее признание. Имя Светланы

Алексиевич, ее мужественный и честный талант вызывают наше уважение. Нет никакого сомнения, что, манипулируя так называемым “общественным мнением”, реваншистские силы пытаются лишить писателей их важнейшего права, закрепленного Хартией народного ПЭНа: права на свободное самовыражение.

Русский ПЭН-центр заявляет о полной солидарности со Светланой Алексиевич, с Белорусским ПЭН-центром, со всеми демократическими силами независимой страны и призывает органы правосудия оставаться верными международным законам, под которыми стоит и подпись Беларуси, прежде всего — Всеобщей Декларации прав человека, гарантирующей свободу слова и свободу печати.

Русский ПЭН-центр.

Белорусская Лига прав человека считает, что непрекращающиеся попытки расправиться с писателем Светланой Алексиевич путем судебных процессов являются политическим актом, направленным властями на подавление инакомыслия, свободы творчества и свободы слова.

Мы располагаем данными, что в 1992 — 1993 годах различными судебными инстанциями Республики Беларусь рассмотрено около десятка политических дел, искусственно переведенных в область гражданского права, но по сути направленных против демократически настроенных депутатов, писателей, журналистов, печатных изданий, активистов общественно-политических организаций.

Мы требуем прекратить травлю писателя Светланы Алексиевич и призываем пересмотреть подобные этому судебные дела, решения по которым стали политической расправой...

Белорусская Лига прав человека

Началась война в Афганистане... Мой сын только закончил школу и поступил в военное училище. Все эти десять лет, пока другие сыновья находились в чужой стране с оружием в руках, сердце мое было не на месте. И мой мальчик мог оказаться там. И неправда, что народ ничего не знал. Привозили в дома цинковые гробы, возвращались к ошеломленным родителям искалеченные дети — это же видели все. Конечно, по радио и телевизору об этом не говорили, в газетах об этом не писали (недавно осмелели!), но ведь это на глазах у всех происходило. У всех! А что же тогда делало наше “гуманное” общество и мы с вами в том числе? А наше общество вручало “великим” старцам очередные Звезды, выполняло и перевыполняло очередные пятилетки (правда, в наших магазинах как было, так и оставалось пусто), строило дачи, развлекалось. А восемнадцатилетние-двадцатилетние мальчики в это время шли под пули, падали лицом в чужой песок и погибали. Кто же мы такие? По какому праву мы можем спросить у наших детей за то, что они там творили? Разве мы, которые оставались здесь, чище их? И хотя их страдания и муки очистили от грехов, а вот нам уже никогда не очиститься. Расстрелянные и стертые с лица земли кишлаки, разоренная чужая земля не на их совести, а на нашей с вами. Убивали мы, а не наши мальчишки. Это мы — убийцы и своих детей, и чужих.

А мальчишки эти — герои! И не за “ошибку” они там воевали. Они воевали, потому что они нам верили. Нам всем надо стоять на коленях перед ними. От одного сравнения, что делали мы тут, с тем, что выпало им, можно сойти с ума...”

*Голубичная,
инженер-строитель,
г. Киев.*

...Конечно, сегодня Афганистан — тема выгодная и даже модная. И вы, т. Алексеевич, можете уже сейчас радоваться, Вашу книгу будут читать взахлеб. Нынче у нас в стране развелось немало людей, которых интересует все, чем можно измазать стены собственного Отечества. Будут среди них и некоторые “афганцы”. Ибо они (не все, не все!) получают в руки так нужное им оружие защиты: посмотрите, что с нами сделали! Подлые люди всегда нуждаются в чьей-то защите. Порядочным это не нужно только потому, что в любой ситуации они остаются порядочными. Среди “афганцев” таких вполне достаточно, но вы, кажется, искали не их.

Я не был в Афганистане, но прошел всю Великую Отечественную войну. И отлично знаю, что грязь была и там. Но я не хочу о ней вспоминать и никому другому не позволю. Дело не только в том, что та война была иная. Глупость! Всем известно, человек для того, чтобы жить, обязан питаться, а употребление пищи требует, извините, и отхожих мест. Но мы же в этом вслух не говорим. Почему же об этом стали забывать пишущие об “афганской”, да и об Отечественной войне? Если сами “афганцы” протестуют против подобных “откровений”, надо прислушаться, изучить этот феномен. Мне, например, понятно, отчего они так яростно восстают. Существует нормальное человеческое чувство — стыд. Им стыдно. А вы заметили их стыд, но почему-то решили, что этого мало. И решили вынести его на всеобщее удилище. Там они расстреливали верблюдов, там погибали от их пуль мирные жители... Вы хотите доказать ненужность и ущербность этой войны, не понимая, что тем самым оскорбляете ее участников, ни в чем не повинных мальчишек...

*Н. Дружинин,
г. Тула.*

Наш идеал, наш герой — человек с ружьем... Десятилетиями мы вгоняли новые и новые миллионы и миллиарды в свою оборону, находя для нее новые цели в странах Азии и Африки, да и заодно новых вождей, пожелавших строить у себя “светлое будущее”. Мой бывший однокашник по учебе в академии Фрунзе, майор, а потом маршал Вася Петров, лично гнал в атаку сомалийцев, за что получил Золотую Звезду... А сколько было еще таких!

Ну вот начал трещать по швам стянутый оковами Варшавского Договора и державшийся на штыках Групп советских войск так называемый “социалистический лагерь”. Для оказания “братской помощи в борьбе с контрреволюцией” в эти страны стали посылать наших сыновей” — в Будапешт, потом в Прагу, потом...

В сорок четвертом я шел с нашими войсками по территории освобождаемых от фашизма стран — Венгрии и Чехословакии. То была уже чужая земля, но казалось, что мы дома: те же приветствия, те же радостные лица, то же скромное угощение, но от души...

Четверть века спустя наших сыновей на той же земле встретили уже не хлебом-солью, а плакатами: “Отцы — освободители, сыновья — оккупанты!” Сыновья носили ту же военную форму и звание наследников, а мы — молча свой позор перед всем миром.

Дальше — больше. В декабре 1979-го сыновья ветеранов Отечественной и ученики (мой, в частности, Боря Громов, впоследствии главнокомандующий 40-й армии, которого я учил тактике в военном училище) вторглись в Афганистан. На протяжении ряда лет более чем сто стран — членов ООН осуждали это преступление, начав которое мы, подобно Саддаму Хусейну сегодня, противопоставили себя тогда мировому сообществу. Теперь мы знаем, что в той грязной войне ни за что наши солдаты погубили более миллиона афганцев и потеряли свыше пятнадцати тысяч своих...

С целью умышленного сокрытия смысла и истинных масштабов постыдной агрессии, ее зачинщики официально ввели в употребление термин “ограниченный контингент” — классический пример фарисейства и словоблудия. С не меньшим лицемерием звучало и “воины-интернационалисты”, как бы новое название воинской специальности, эвфемизм, призванный исказить смысл происходящего в Афганистане, сыграть на созвучии с интербригадами, сражавшимися с фашистами в Испании.

Инициаторы вторжения в Афганистан, верховоды из политбюро не только проявили свою разбойничью сущность, но и сделали соучастниками преступления всех, у кого не хватило мужества воспротивиться приказу убивать. Убийство не может быть оправданным никаким “интернациональным долгом”. Какой, мать вашу, долг!!

Безмерно жалко их матерей, осиротевших детей... Сами же они получили не награды за кровь безвинных афганцев — цинковые гробы...

Писательница в своей книге отделяет их от пославших убивать, она испытывает к ним жалость, в отличие от меня. Не понимаю, за что хотят ее судить? За правду?

*Григорий Брашловский,
инвалид Великой Отечественной,
г. Санкт-Петербург*

...Прозреть бы раньше... Но кого обвинишь? Разве вина слепого в том, что он незрячий? Кровью отмыты глаза наши...

Я попал в Афганистан в 1980 году (Джелалабад, Баграм). Военным положено выполнять приказ.

Тогда, в 83-м, в Кабуле, я впервые услышал: “Надо поднять в воздух всю нашу стратегическую авиацию и стереть эти горы с лица земли. Сколько уже наших похоронили — и все без толку!” Это говорил один из моих друзей. У него, как и у всех, — мать, жена, дети. Значит, мы, пусть мысленно, но все же лишаем права тех матерей, детей и мужей жить на собственной земле, потому что “взгляды” не те.

А знает ли мать погибшего “афганца”, что такое “объемная” бомба? Командный пункт нашей армии в Кабуле имел прямую правительственную связь с Москвой. Оттуда получали “добро” на применение этого оружия. В момент срабатывания взрывателя первый заряд разрывал газонаполненную оболочку. Вытекал газ, заполняющий все щели. Это “облако” взрывалось через временной интервал. Ничего живого не оставалось на этой площади. У человека лопались внутренности, выскакивали глаза. В 1980 году впервые нашей авиацией были применены реактивные снаряды, начиненные миллионами мелких иголок. Так называемые “игольчатые Р.С.". От таких иголок не укроешься нигде — человек превращается в мелкое сито...

Мне хочется спросить у наших матерей — хоть одна из них поставила себя рядом с матерью-афганкой? Или она ту мать считает существом более низшего порядка?

Ужасает только одно: сколько же еще людей передвигается у нас на ощупь, впотьмах, уповая на свои чувства, не пытаясь думать и сопоставлять!

Проснувшиеся ли мы до конца люди, да и люди ли мы с вами, если до сих пор учимся пинать разум, открывающий нам глаза?

*А. Соколов,
майор, военный летчик*

...А некоторые из высокопоставленных лжецов не теряют надежды использовать ту же ложь для возврата прежних милых для них времен. Так, в газете “День” генерал В. Филатов в своем обращении к воинам-афганцам изрекает: “Афганцы! В час Маузера сработаем, как в Афганистане... Там вы сражались за Родину на южном направлении... Теперь за Родину надо сражаться, как в 1941 году, на своей территории”. (“Литературная газета” от 23.09.1992 г.).

Этот час Маузера дал о себе знать ... — 4 октября в Москве у стен Белого дома. Но кто знает, не будет ли попытки реванша? Да, справедливость требует Суда. Суда чести над инициаторами и вдохновителями афганского преступления — над мертвыми и живыми. Он нужен не для разжигания страстей, а как урок на будущее для всех, кто придумает новые авантюры от имени народа. И как моральное осуждение уже совершенных злодеяний. Он нужен, чтобы развеять лживую версию о виновности за афганские преступления только верхней пятерки: Брежнева, Громыко, Пономарева, Устинова, Андропова. Потому что были заседания Политбюро, секретариатов, пленум ЦК КПСС, закрытые письма для всех членов КПСС. Но не было среди этих участников и слушателей ни одного возражающего...

Суд нужен, чтобы пробудить наконец совесть у тех, кто получал награды, офицерские и генеральские чины и звания, гонорары и почет за кровь невинных миллионов людей, за ложь, к которой так или иначе мы все оказались причастны...

*А. Соломонов,
доктор технических наук, профессор,
г. Минск*

Говоря словами Солженицына, мир, — это не просто отсутствие войны, но прежде всего отсутствие насилия над человеком. Не случайно, что именно сейчас, когда наше посттоталитарное общество захвачено безумием политического, религиозного, национального, в том числе вооруженного, насилия, писателю предъявлен счет за правду о войне в Афганистане. Думается, что скандал, разжигаемый вокруг “Цинковых мальчиков”, — это попытка восстановить в сознании людей коммунистические “мифы о самих себе”. За спинами истцов видятся другие фигуры: те, кто на Первом съезде народных депутатов СССР не давал А.Д. Сахарову говорить о бесчеловечности этой войны, те, кто все еще рассчитывает вернуть ускользающую из рук власть и держать ее силой...

Эта книга ставит вопрос о праве жертвовать человеческими жизнями, прикрываясь речами о суверенности и великодержавности. За какие идеи сегодня гибнут простые люди в Азербайджане, Армении, Таджикистане, Осетии?

Между тем по мере роста лжепатриотических идей, основанных на насилии, мы становимся свидетелями нового возрождения духа милитаризма, возбуждения инстинктов агрессии, преступной торговли оружием под сладкие речи о демократической реформе в армии, о военном долге, о национальном достоинстве. Трескучие фразы ряда политиков в

защиту революционного и военного насилия, близкие идеям итальянского фашизма, немецкого национал-социализма и советского коммунизма, порождают идейную сумятицу в умах, готовят почву для роста нетерпимости и враждебности в обществе.

Ушедшие с политической арены духовные отцы таких политиков умели манипулировать человеческими страстями и вовлекали своих сограждан в братоубийственные распри. Конечно, их последователям очень хочется устроить процесс над идеями ненасилия и сострадания. Следует вспомнить, что в свое время Лев Толстой, проповедовавший отказ от службы в армии, не был привлечен к суду за антивоенную деятельность. Нас же опять хотят вернуть в эпоху, когда губили все самое честное.

В судебном процессе над С. Алексиевич можно усмотреть спланированное наступление антидемократических сил, которые под видом отстаивания чести армии борются за сохранение отталкивающей идеологии, привычной лжи... Идея ненасильственной альтернативы, которую защищают книги Светланы Алексиевич, живет в сознании людей, хотя официально эта идея не признана, а понятие “непротивление злу насилием” до сих пор осмеивается. Но, повторяем: нравственные перемены в жизни общества связаны прежде всего с формированием самосознания, основанного на принципе “Мир без насилия”. Те, кто хочет суда над Светланой Алексиевич, толкают общество во враждебность, в хаос самоистребления.

Члены Российского общества мира:

*Р. Илюхина, доктор исторических наук,
зав группой “Идеи мира в истории”*

*Института Всеобщей истории Российской
академии наук*

*А. Мухин, председатель Инициативной группы
содействия альтернативной службе*

*О. Постникова, литератор, член Движения
“Апрель”*

*Н. Шелудякова, председатель организации
“Движение против насилия”*

Литератору нельзя быть судьей и палачом — таковых на Руси и без того было в достатке... Это выражение Чехова невольно вспомнилось в связи с околотелитературным скандалом вокруг книги Светланы Алексиевич “Цинковые мальчишки” и одновременно развернутой против “афганцев”, их родителей кампании в республиканской и московской прессе и даже забугорных радиостанциях...

Да, война есть война. Она всегда жестока и несправедлива в отношении к человеческой жизни. В Афганистане подавляющая часть солдат и командиров, верных присяге, исполняла свой долг. Потому что приказ был отдан законным правительством от имени народа. К сожалению, к стыду нашему, были отдельные командиры и солдаты, которые совершали преступления, были и те, кто убивал и грабил афганцев. Кто (таких единицы — но были) убивал своих товарищей и с оружием уходил на сторону душманов, воевал в их рядах.

Могу привести целый ряд других преступлений, совершенных нашими людьми, но когда некоторые писатели и журналисты сравнивают “афганцев” с фашистами, тут же возникает целый ряд вопросов. Может, эти господа могут продемонстрировать миру приказы правительства о строительстве нашей армией в Афганистане концлагерей, об уничтожении целого народа, сожжении в газовых печах миллионов людей, как это делали немцы? Или у вас, господа, есть документы, свидетельствующие, что за одного убитого советского солдата уничтожались сотни мирных людей, как это делали гитлеровцы в Белоруссии? Или можете доказать, что наши врачи забирали у афганских детей кровь для своих раненых, как это делалось немецкими оккупантами?

Кстати, у меня есть списки тех советских солдат и офицеров, которые были осуждены за преступления, совершенные против афганских граждан. Может, вы, господа, предъявите такие списки на немцев или назовете хотя бы одного-двух, кто был осужден во время оккупации нашей страны за то, что совершил преступление в отношении мирного населения?

Слов нет, решение тогдашнего советского правительства о вводе войск в Афганистан было преступным в первую очередь в отношении своего народа. Но, говоря о наших военнослужащих, которых при молчаливом согласии народа и вашем тоже, господа, направили в пекло выполнять воинский долг, надо быть корректным. Клеймить стоит тех, кто принимал решения, кто, имея вес в обществе, молчал...

Унижая матерей погибших солдат, защитники Алексиевич кивают на Америку — страну великой демократии! Там, дескать, нашлись силы выступить против войны во Вьетнаме.

Но ведь любой читающий газеты человек знает, как поступила Америка. Ни американский конгресс, ни американский сенат не принимали резолюций, осуждающих войну во Вьетнаме. Никто в Америке не позволил и не позволит бросить бранное слово в адрес президентов Кеннеди, Джонсона, Форда, Рейгана, посылавших американских солдат на бойню.

Через Вьетнам прошло около трех миллионов американцев... Вьетнамские ветераны входят в высшие круги политической и военной элиты страны... Любой американский школьник может купить знаки отличия воинских частей, воевавших во Вьетнаме...

Интересно, что произошло бы с радио “Свобода”, которое защищает Алексиевич, если бы его сотрудники не белорусских граждан, а своих — президентов, участников войны во Вьетнаме — называли преступниками и убийцами? Чужих, естественно, можно, тем более когда есть доброты, которые за доллары и марки готовы и отца родного...

*Н. Чергинец,
генерал-майор милиции, бывший военный
советник в Афганистане, председатель
Белорусского союза ветеранов войны
в Афганистане*

“Советская Белоруссия”, 16 мая 1993 г.

...То, что знаем мы, бывшие там, не знает никто, разве только наши начальники, чьи приказы мы выполняли. Теперь они молчат. Молчат о том, как нас учили убивать и “шмонать” убитых. Молчат о том, как уже перехваченный караван делился между вертолетчиками и начальством. Как каждый труп душмана (так мы тогда их называли) минируется, чтобы тот, кто придет хоронить (старик, женщина, ребенок), тоже нашел

свою смерть рядом с близким, на своей родной земле. И о многом другом они молчат. Мне довелось служить в воздушно-десантном батальоне специального назначения. У нас была узкая специальность — караваны, караваны и еще раз караваны. В большинстве своем караваны шли не с оружием, а с товарами и наркотиками, чаще всего ночью. Наша группа — двадцать четыре человека, а их иногда за сотню переваливает. Где уж думать, кто там мирный караванщик, торговец, закупивший в Пакистане товар и мечтающий его выгодно продать, кто переодетый душман. Я каждый бой помню, каждого “своего” убитого помню — и старика, и взрослого мужчину, и мальчишку, корчащегося в предсмертной агонии... и того в белой чалме, с исступленным воплем “Аллах акбар” прыгнувшего с пятиметровой скалы, перед этим смертельно ранившего моего друга... На моей тельняшке остались его кишки, а на прикладе моего АКМСа его мозги... По полгруппы нашей оставляли мы на скалах... Не всех имели возможность вытащить из расщелин... Их находили только дикие звери... А мы сочиняли их родителям якобы совершенные ими “подвиги”. Это восемьдесят четвертый год...

Да, нас нужно судить за содеянное, но вместе с пославшими нас туда, заставившими с именем Родины и согласно присяге выполнять работу, за которую в сорок пятом судили всем миром фашизм...

Без подписи

Проходят годы...И вдруг выясняется, что людям мало того, что им оставляет история. Та история, к которой мы привыкли, где есть имена, даты, события, есть факты и их оценка, но не остается места для человека. Для того самого конкретного человека, который был не просто участником этих событий, некой статистической единицей, а представлял из себя определенную личность, был наполнен эмоциями и впечатлениями, историей, как правило, не фиксируемыми...

Я не помню, когда вышла книга Светланы Алексиевич “У войны не женское лицо” — лет пятнадцать прошло уже, наверное, но я и сейчас зримо представляю потрясший меня эпизод. На марше женский батальон, жара, пыль, а в пыли — то здесь, то там пятна крови, — для женского организма нет перерывов даже на войне.

Какой историк оставит нам такой факт? И сколько рассказчиков должен пропустить через себя писатель, чтобы выудить его из несметного числа фактов, впечатлений?

Или еще... После маршевого броска женский батальон оказывается на берегу реки. Возможность обмыться — одно из счастливых мгновений для женщин на войне. Весь батальон бросается в воду, но тут неожиданно появляются немецкие самолеты... Никто из женщин не вылез из воды, не бросился прятаться за деревьями... То, что было бы абсолютно нормальным для мужчин. После бомбежки — десятки раненых и убитых девушек. Для них быть чистой, красивой, чувство стыда из-за неудобство мужского быта войны оказались сильнее страха смерти.

И мне этот факт рассказывает больше о психологии женщин на войне, чем целый исторический военный том.

...И как бы близко от нас ни были события — афганской войны, чернобыльской трагедии, московских путчей, таджикских погромов, — но вдруг выясняется, что все они уже стали достоянием истории, и уже новые катаклизмы приходят им на смену, и к ним, новым, уже приковано внимание общества. И уходят свидетельства, потому что человеческая память, оберегая нас, старается затушевать те эмоции и воспоминания,

которые мешают человеку жить, лишают его сна и покоя. А потом уходят и сами свидетели...

Ах, как не хочется многим “удельным князьям” канувшего в лету режима признать, что и над ними есть суд — и суд людей, и суд истории! Ах, как не хочется им верить, что наступили времена, когда любой “щелкопер и бумагомаратель” может позволить себе поднять руку на “светлое прошлое”, “очернить и унижить” его, подвергнуть сомнению “великие идеалы”! Ах, как мешают им книги, наполненные показаниями последних свидетелей!

Можно дезавуировать генерала КГБ Олега Калугина: генералами КГБ просто так не становятся. Но невозможно дезавуировать показания сотен простых смертных — афганцев, чернобыльцев, жертв межэтнических конфликтов, беженцев из “горячих точек”... Зато можно “прижучить”, “поставить на место”, “заткнуть рот” журналисту, писателю, психологу, собравшему эти свидетельские показания...

Нам, конечно, не привыкать. Судили уже Синявского с Даниэлем, подвергали анафеме Бориса Пастернака, смешивали с грязью Солженицына и Дудинцева.

Ну, замолчит и Светлана Алексиевич. Ну, перестанут появляться свидетельства жертв нашего преступного века. А что же останется нашим потомкам? Слащавое сюсюканье любителей победных реляций? Барабанный бой вперемежку с бравурными маршами? Так ведь это уже все было. Через это мы уже прошли...

*Я. Басин, врач,
Газета “Добрый вечер”, 1 декабря 1993 г.*

С этими словами я хотел выступить в суде... Я причислял себя к тем, кто не принял книгу Светланы Алексиевич “Цинковые мальчики”. На суде я должен был стать защитником Тараса Кецмура...

Исповедь бывшего врага, — так можно теперь это назвать...

Я внимательно слушал все, что два дня говорилось в зале суда, в кулуарах и подумал, что мы совершаем святотатство. За что мы терзаем друг друга? Во имя Бога? Нет! Мы разрываем его сердце. Во имя страны? Она там не воевала...

В сконцентрированном виде Светлана Алексиевич описала афганскую “чернуху”, и любой матери невозможно поверить, что на подобное был способен ее сын. Но я скажу больше: описанное в книге лишь цветочки по сравнению с тем, что бывает на войне, и каждый, кто действительно воевал в Афганистане, положив руку на сердце сможет подтвердить это. Сейчас мы находимся перед жестокой реальностью: ведь мертвые сраму не имут, и, если этот срам был на самом деле, его должны принять на себя живые. Но живые — это мы! И тогда оказываемся, что мы были крайними на войне, то есть, кто выполнял приказы, оказываются крайними теперь, когда приходится отвечать за все последствия войны! Поэтому было бы справедливее, если бы книга такой силы и таланта появилась не о мальчиках, а о маршалах и кабинетных начальниках, посылавших ребят на войну.

Я спрашиваю себя: должна ли была Светлана Алексиевич написать об ужасах войны? Да! А должна ли мать вступить за своего сына? Да! И должны ли “афганцы” вступить за своих товарищей? И опять — да!

Конечно, солдат всегда грешен, на любой войне. Но на страшном суде Господь первым простит солдата...

Правовой выход из этого конфликта найдет суд. Но должен быть и человеческий выход, который заключается в том, что матери всегда правы в любви к сыновьям; писатели правы, когда говорят правду; солдаты правы, когда живые защищают мертвых.

Вот что столкнулось на самом деле на этом гражданском процессе.

Режиссеров и дирижеров, политиков и маршалов, организовавших эту войну, в зале суда нет. Здесь одни пострадавшие стороны: любовь, которая не приемлет горькую правду о войне; правда, которая должна быть высказана, несмотря ни на какую любовь; честь, не приемлющая ни любви, ни правды, потому что помните: “Жизнь я могу отдать Родине, но честь — никому” (кодекс русских офицеров).

Божье сердце вмещает все: и любовь, и правду, и честь, но мы не боги, и этот гражданский процесс хорош только тем, что способен людям вернуть полноту жизни.

Единственное, в чем я могу упрекнуть Светлану Алексиевич — это не в том, что она исказила правду, а в том, что в книге практически нет любви к юности, брошенной на заклание дураками, организовавшими афганскую войну. И удивительно для меня самого, как “афганцы”, смотревшие в глаза смерти, сами боятся своей правды об афганской войне. Должен же найтись хоть один “афганец”, который скажет, что мы давно не серая, однородная масса, и слова Тараса Кецмура, когда он говорил, что не осуждает войну — это не наши слова, он не говорит это за всех нас...

Я не осуждаю Светлану за то, что книга помогла обывателю узнать афганскую “чернуху”. Я не осуждаю ее даже за то, что после прочитанного к нам относятся гораздо хуже. Мы должны пройти через переосмысление нашей роли в войне как орудия убийства, и если есть в чем каяться, то покаяние должно прийти к каждому человеку.

Суд, вероятно, будет продолжаться долго и мучительно. Но в моей душе он завершен...

*Павел Шетько,
бывший “афганец”*

**Из стенограммы заключительного судебного заседания
8 декабря 1993 г.**

Состав суда: судья И.Н. Жданович, народные заседатели Т.В. Борисевич, Т.С. Сороко.

Истцы: И.С. Галовнева, Т.М. Кецмур.

Ответчица: С.А. Алексиевич.

**Из выступления С. Алексиевич, автора “Цинковых мальчиков”
(Из того, что было сказано и что не дали сказать)**

Я до конца не верила, что этот суд состоится, как не верила до последнего мгновения, что у Белого дома начнут стрелять...

Уже физически не могу видеть ожесточенные яростные лица. И я б не пришла в этот суд, если бы здесь не сидели матери, хотя я знаю: это не они со мной судятся, а судится со мной бывший режим. Сознание — не партбилет, его не сдашь в архив. Поменялись наши улицы, вывески на магазинах и названия газет, а мы — те же. Из соцлагеря. С прежним лагерным мышлением...

Но я пришла поговорить с матерями. У меня все тот же вопрос, что и в моей книге: кто же — мы? Почему с нами можно делать все, что угодно? Вернуть матери цинковый гроб, а потом убедить ее подать в суд на писателя, который написал, как не могла она своего сына даже поцеловать в последний раз и обмывала в травах, гладила цинковый гроб... Кто же мы?

Нам внушили, с детства заложили в генах любовь к человеку с ружьем. Мы выросли словно бы на войне, даже те, кто родился через несколько десятилетий после нее. И наше зрение устроено так, что до сих пор, даже после преступлений революционных чрезвычайок, сталинских заградотрядов и лагерей, после недавнего Вильнюса, Баку, Тбилиси, после Кабула и Кандагара, человека с ружьем мы представляем солдатом 45-го, солдатом Победы. Так много написано книг о войне, так много изготовлено человеческими же руками и умом оружия, что мысль об убийстве стала нормальной. Лучшие умы с детской настойчивостью задумываются над тем, имеет ли право человек убивать животных, а мы, мало сомневаясь или наскоро соорудив политический идеал способны оправдать войну. Включите вечером телевизор, и вы увидите, с каким тайным восторгом несем мы героев на кладбище. В Грузии, Абхазии, в Таджикистане... И снова ставим на их могилах памятники, а не часовни...

Невозможно у мужчин безнаказанно забрать эту самую любимую... самую дорогую игрушку — войну. Этот миф... Этот древний инстинкт...

Но я ненавижу войну и саму мысль о том, что один человек имеет право на жизнь другого человека.

Недавно мне один священник рассказал, как бывший фронтовик, уже старый человек, принес в церковь свои награды. “Да, — сказал он, — я убивал фашистов. Защищал Родину. Но перед смертью я все равно хочу покаяться за то, что убивал”. И оставил свои награды в церкви, а не в музее. Мы же воспитаны в военных музеях...

Война — тяжелая работа и убийство, но по прошествии лет вспоминается тяжелая работа, а мысль об убийстве отодвигается. Разве можно это придумать: эти подробности, чувства. Их страшное разнообразие в моей книге.

Все чаще думаю: после Чернобыля, Афгана, после событий у Белого дома... — мы не равны тому, что с нами происходит. Не прорабатываем свое прошлое, всегда все — жертвы. Может быть, поэтому оно с нами и происходит?

Когда-то, несколько лет назад, а точнее, четыре года назад, мы думали одинаково: я, многие матери, присутствующие сейчас в этом зале, солдаты, вернувшиеся с чужой афганской земли. В моей книге “Цинковые мальчики” материнские рассказы-молитвы — самые печальные страницы. Матери молятся о своих погибших сыновьях...

Почему же сейчас мы сидим в суде друг против друга? Что же произошло за это время?

За это время исчезла с карты мира, из истории страна, коммунистическая империя, которая их туда послала убивать и умирать. Ее нет. Войну сначала робко назвали политической ошибкой, а затем преступлением. Все хотят забыть Афганистан. Забыть этих матерей, забыть калек... Забвение — это тоже форма лжи. Матери остались один на один с могилами своих мальчиков. У них даже нет утешения, что смерть их детей не бессмысленна. Какие бы оскорбления и ругательства я сегодня ни слышала, я говорила и повторяю, что преклоняюсь перед матерями. Преклоняюсь и за то, что, когда Родина бросила в бесчестье имена их сыновей, они стали их защитниками. Сегодня только матери защищают погибших мальчиков... Другой вопрос — от кого они их защищают?

И их горе — превысит любую правду. Говорят, что молитва матери и со дна моря достает. В моей книге она достает их из небытия. Они — жертвы на алтаре нашего тяжелого прозрения. Они — не герои, они мученики. Никто не смеет бросить в них камень. Мы все повинны, мы все причастны к той лжи, — об этом моя книга. Чем опасен любой тоталитаризм? Он всех делает соучастниками своих преступлений. Добрых и злых, наивных и прагматичных... Молиться надо за этих мальчиков, а не за идею, жертвами которой они стали. Я хочу матерям сказать: не мальчиков своих вы здесь защищаете. Вы защищаете страшную идею. Идею-убийцу. Это я хочу сказать и бывшим солдатам-афганцам, которые пришли сегодня в суд.

За спинами матерей я вижу генеральские погоны. Генералы возвращались с войны со Звездами Героев и с большими чемоданами, одна из матерей, сидящая здесь в зале, рассказывала мне, как ей вернули цинковый гроб и маленький черный саквояж, где лежала зубная щетка и плавки сына. Все, что ей осталось. Все, что он привез с войны. Так от кого вы должны были бы защищать своих сыновей? От правды? Правда в том, как умирали ваши мальчики от ран, потому что не было спирта и лекарств, их продавали в дулканы, как кормили мальчишек ржавыми консервами пятидесятых годов, как даже хоронили их в старом, времен Отечественной, обмундировании. Даже на этом сэкономили. Я не хотела бы это вам говорить у могил... Но приходится...

Вы слышите: везде стреляют, снова кровь. Какое же оправдание крови вы ищете? Или помогаете искать?

Тогда, пять лет назад, когда еще правила компартия, КГБ, — я, чтобы уберечь героев своей книги от расправы, иногда меняла имена, фамилии. Я защищала их от режима. А сегодня должна защищаться от тех, кого недавно защищала.

Что я должна отстаивать? Свое писательское право видеть мир таким, как я его вижу. И то, что я ненавижу войну. Или я должна доказывать, что есть правда и правдоподобие, что документ в искусстве — это не справка из военкомата и не трамвайный билет. Те книги, которые я пишу, — это своего рода проза. Это — документ и в то же время мой образ времени. Я собираю подробности, чувства не только из отдельной человеческой жизни, но и из всего воздуха времени, его пространства, его голосов. Я не выдумываю, не домысливаю, а организовываю материал в самой действительности.

Документ — это и то, что мне рассказывают, документ, часть его — это и я, как художник со своим мировоззрением, ощущением.

Я пишу, записываю современную, текущую историю. Живые голоса, живые судьбы. Прежде чем стать историей, они еще чья-то боль, чей-то крик, чья-то жертва или преступление. Бесчисленное количество раз я задаю себе вопрос: как пройти среди зла, не увеличивая в мире зла, особенно сейчас, когда зло принимает какие-то космические размеры? Перед каждой новой книгой я спрашиваю себя об этом. Это уж — моя ноша. И моя судьба.

Писательство — судьба и профессия, в нашей несчастной стране это даже больше судьба, чем профессия. Почему суд два раза отклоняет ходатайство о литературной экспертизе? Потому что сразу бы стало ясно — тут нет предмета суда. Судят книгу, судят литературу, предполагая, что раз это документальная литература, то ее можно каждый раз переписать заново, ублажая сиюминутные потребности. Не дай Бог, если бы документальные книги правили пристрастные современники. Нам бы остались лишь отзвуки политических борений и предрассудков вместо живой истории. Вне законов литературы, вне законов жанра творится примитивная политическая расправа, низведенная уже на бытовой, я бы даже сказала, коммунальный уровень. Слушая этот зал, я часто ловила себя на мысли: кто же решается нынче звать толпу на улицу, толпу, которая не верит уже никому — ни священникам, ни писателям, ни политикам? Она хочет только расправы и крови... И подвластна лишь человеку с ружьем... Человек с пером, вернее, с авторучкой, а не автоматом Калашникова ее раздражает. Меня учили здесь, как надо писать книги. Толпа у нас всеильна...

Те, кто позвал меня в суд, отказываются от того, что говорили несколько лет назад: тех же слова, те же знаки, но поменялся в их сознании шифровой ключ, и они уже читают прежний текст иначе, или вообще его не узнают. Почему? Да потому, что им не нужна свобода... Они не знают, что с ней делать...

Я хорошо помню, какой была Инна Сергеевна Галовнева, когда мы встретились, я полюбила ее. За боль, за правду. За измученное сердце. А сейчас — это уже политик, официальное лицо, председатель клуба матерей погибших солдат. Это уже другой человек, от прежнего — у него только собственное имя и имя погибшего сына, которого она второй раз принесла в жертву. Обрядовое жертвоприношение. Мы — рабы, мы — романтики рабства.

У нас свои представления о героях и мучениках. Если бы здесь речь шла о чести и достоинстве, то мы встали бы и молчали перед памятью почти двух миллионов погибших афганцев... Погибших там, на своей земле...

Сколько можно задавать этот вечный наш вопрос: кто виноват? Мы виноваты — ты, я, они. Проблема в другом — в выборе, который есть у каждого из нас: стрелять или не стрелять, молчать или не молчать, идти или не идти? Спрашивать надо у себя. Каждый пусть спросит у себя... Но нет этого опыта войти в себя, вовнутрь себя... Найти ответы самому... Привычнее бежать на улицу под знакомые красные знамена. Не умеем жить без ненависти и борьбы...

Я хочу просить прощения у матерей за то, что вольно или невольно мы всегда причиняем друг другу боль. Все люди. Слишком несовершенен мир, в котором мы живем.

Но лучше бы нам встретиться не в суде... Мы спросили бы себя: чем жить сейчас — памятью или верой? Я бы задала себе вопрос, который сейчас неотступен: есть ли пределы, до которых можно идти в правде? Нет ли там где-то роковой черты...

Тарас Кецмур, не тот, что сидит сейчас в зале, а тот, каким он вернулся с войны, так об этом сказал... Сказал тогда... Я зачитаю вам из книги?

“Как будто я сплю и вижу большое море людей... Все возле нашего дома... Я оглядываюсь, мне тесно, но почему-то не могу встать. Тут до меня доходит, что я лежу в гробу, гроб деревянный. Помню это хорошо. Но я живой, помню, что я живой, но я лежу в гробу. Открываются ворота, все выходит на дорогу и меня выносят на дорогу. Толпы народа, у всех на лице горе и еще какой-то восторг тайный, мне непонятный. Что случилось? Почему я в гробу? Вдруг процессия остановилась, я услышал, как кто-то сказал: “дайте молоток”. Тут меня пробила мысль — я вижу сон. Опять кто-то повторяет: “дайте молоток”. Оно как наяву и как во сне. И третий раз кто-то сказал “Подайте молоток”. Я услышал, как хлопнула крышка, застучал молоток, один гвоздь попал мне в палец. Я начала бить головой в крышку, ногами. Раз — и крышка сорвалась, упала. Люди смотрят — я поднимаюсь, поднялся до пояса. Мне хочется закричать: больно, зачем вы меня заколачиваете гвоздями, мне там нечем дышат. Они плачут, но мне ничего не говорят. Все как немые. И я не знаю, как мне заговорить с ними так, чтобы они услышали. Мне кажется, что я кричу, а губы мои сжаты, не могу их раскрыть. Тога я лег в гроб. Лежу и думаю: они хотят, чтобы я умер, может, я действительно умер и надо молчать. Кто-то опять говорит: “Дайте мне молоток”.

И это он не опроверг... И это защитит его честь и достоинство на главном Суде... И меня тоже...

Из разговоров в зале суда

— Вы говорите, что это коммунисты...Генералы...Закулисные режиссеры...А они? А они сами? Обманутые и желающие обманываться. Кто-то виноват, а не они. Психология жертвы. А жертве всегда нужен тот, кого бы она могла обвинять. У нас еще не стреляют, но у всех раздуваются ноздри, как от запаха крови. И не коммунизм, не “святая идея” стучит в их сердца, а “жажда равенства”: если нищие, то чтобы все, если несчастные, то тоже все.

— У нее миллионы, два “мерседеса”... По заграницам разъезжает...

— Писатель пишет книгу два-три года, а получает за нее сегодня столько, сколько мальчишка, водитель троллейбуса, за два месяца. Откуда вы взяли эти “мерседесы”?

— По заграницам ездит...

— А твой личный грех? Ты мог стрелять и мог не стрелять. Что? Молчишь...

— Народ унижен, нищ. А совсем недавно были великой державой. Может, мы такими и не были, но сами считали себя великой державой по количеству ракет и танков, атомных бомб И верили, что живем в самой лучшей, самой справедливой стране. А вы нам говорите, что мы жили в другой стране — страшной и кровавой. Кто вам это простит? Вы наступили на самое больное... На самое глубинное...

— Мы все были к этому обману причастны... Все...

— Вы делали то же, что и фашисты! А хотите быть героями... В придачу еще холодильник и мебельный гарнитур без очереди получить...

— Они — муравьи, они не знают, что есть пчелы и птицы. И они хотят всех сделать муравьями. Разный уровень сознания...

— А что вы хотите после всего?

— После чего?

— После крови... Я имею в виду нашу историю. После крови люди могут ценить только хлеб... Все остальное для них не имеет цены... Сознание разрушено...

— Молиться надо. Молиться за палачей своих. За мучителей.

— Ей доллары заплатили... И она льет на нас грязь... На наших детей...

— Не разберемся с прошлым, оно аукнется в будущем. И новый обман, и новая кровь...Прошлое еще впереди...

Из решения суда

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Народный суд Центрального района г. Минска в составе председательствующего Ждановича И.Н., народных заседателей Борисевич Т. В., Сорока Т.С., при секретаре Лобынич И.Б. рассмотрел в открытом заседании 8 декабря 1993 года дело по иску Кецмура Тараса Михайловича и Галовневой Инны Сергеевны к Алексиевич Светлане Александровне и редакции газеты “Комсомольская правда” о защите чести и достоинства.

...Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что исковые заявления подлежат удовлетворению частично.

Согласно ст. 7 ГК Республики Беларусь гражданин или организация вправе требовать опровержения порочащих их честь и достоинство сведений, если распространявший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Судом установлено, что в газете “Комсомольская правда” от 15 февраля 1990 г. № 39 были опубликованы отрывки из документальной книги С. Алексиевич “Цинковые мальчики” — “Монологи тех, кто прошел Афганистан”. В публикации имеется монолог, подписанный фамилией истицы Галовневой И.С.

В связи с тем, что ответчики по настоящему делу — Алексиевич С.А. и редакция газеты “Комсомольская правда” не представили доказательств соответствия действительности сведений, изложенных в указанной публикации, суд считает их не соответствующими действительности.

Однако суд считает, что изложенные сведения не являются позорящими, так как не умаляют честь и достоинства Галовневой И.С. и ее погибшего сына в общественном мнении и мнении граждан с точки зрения соблюдения законов и моральных принципов общества, в них не содержится сведений о недостойном поведении ее сына в обществе...

Поскольку ответчиками не представлено доказательств соответствия действительности рассказа Кецмура Т.М., суд считает не соответствующими действительности сведения, изложенные в монологе, подписанном фамилией и именем Кецмура Т.М.

По указанным выше обстоятельствам суд считает не соответствующими действительности и позорящими честь и достоинство истца Кецмура Т.М. следующие сведения, изложенные в фразах: “Я там видел, как выкапывают в рисовых полях железо и человеческие кости, я видел оранжевую ледовую корку на застывшем лице убитого, да, почему-то оранжевую” и “В моей комнате те же книги, фото, магнитофон, гитара, а я — другой. Через парк пройти не могу, оглядываюсь. В кафе официант станет за спиной: “Заказывайте”, а я готов вскочить и убежать. Не могу, чтобы у меня кто-то за спиной стоял. Увидишь гада, одна мысль: расстрелять его надо”. Эти сведения суд считает позорящими, так как они дают основания читателям сомневаться в его психической полноценности, адекватности восприятия окружающего, рисуют его человеком озлобленным, ставят под сомнения его моральные качества, создают о нем впечатление как о человеке, который может правдивую и действительную информацию передать как ложную и не соответствующую действительности...

В остальной части иска Кецмуру Т.М. отказать...

Ответчица Алексиевич С. А. иск не признала. Она показала, что в 1987 г. встречалась с Головневой И. С. — матерью погибшего в Афганистане офицера и беседу с ней записала на магнитофонную ленту. Это было почти сразу после похорон ее сына. Истица рассказала ей все то, что указано в монологе, подписанном ее фамилией в газете “Комсомольская правда”. Для того, чтобы Галовневу не преследовали органы КГБ, она в одностороннем порядке изменила ее имя на “Нина” и воинское звание ее сына со старшего на младшего лейтенанта, хотя речь шла именно о ней.

С Кецмуром Т.М. она встречалась именно шесть лет назад. Наедине она записала его рассказ на магнитофонную ленту. В опубликованном монологе сказанное им изложено в соответствии с этой записью, поэтому соответствует действительности и является правдивым...

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 ГПК Республики Беларусь, суд решил:

Обязать редакцию газеты “Комсомольская правда” в двухмесячный срок опубликовать опровержение указанных сведений.

Галовневой Инне Сергеевне в иске в защите чести и достоинства к А Алексиевич Светлане Александровне и редакции газеты “Комсомольская правда” отказать.

Взыскать с Алексиевич Светланы Александровны в пользу Кецмура Тараса Михайловича расходы по госпошлине в размере 1320 (одна тысяча триста двадцать) руб. и госпошлину в доход государства в размере 2680 (две тысячи шестьсот восемьдесят) руб.

Взыскать с Галовневой Инны Сергеевны в доход государства 3100 (три тысячи сто) рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Мингорсуд через нарсуд Центрального района г. Минска в течение 10 дней со дня его оглашения.

Из ходатайства о независимой литературной экспертизе

Директору Института литературы
имени Янки Купалы Академии наук
Республики Беларусь

Коваленко В. А.

Уважаемый Виктор Антонович!

Как вам известно, судебный процесс против писательницы Светланы Алексиевич в связи с публикацией отрывка из ее документальной повести “Цинковые мальчики” в “Комсомольской правде” от 15.02.90 г. завершен в первой инстанции. Фактически С. Алексиевич обвинили в том, что она будто бы оскорбила честь и достоинство одного из истцов (одного из героев ее книги), не передав его слова буквально. Дважды суд отклонил ходатайство о проведении литературной экспертизы.

Белорусский ПЭН-центр просит Вас сделать независимую литературную экспертизу, которая бы дала ответ на следующие вопросы:

1. Как научно обозначается жанр документальной повести с учетом того, что “документальная” понимается как “на основе фактов (свидетельств)”, а “повесть” — как “художественное произведение”?

2. Чем отличается документальная повесть от газетно-журнальной публикации, в частности, от интервью, текст которого обычно визируется автором у интервьюируемого?

3. Имеет ли право автор документальной повести на художественность, концепцию произведения, отбор материала, литературную обработку устных свидетельств, на собственное мировоззрение, на обобщение фактов во имя художественной правды?

4. Кто владеет авторскими правами: автор или герои описываемых ею событий, чьи исповеди-свидетельства она записывала во время сбора материалов?

5. Как определить границы, в которых автор свободен от буквальности, механичности передачи записанных текстов?

6. Соответствует ли книга С. Алексиевич “Цинковые мальчики” жанру документальной повести (в связи с первым вопросом)?

7. Имеет ли право автор документальной повести на изменение имен и фамилий своих героев?

8. И, как следствие всех этих вопросов, самый главный из них: можно ли судить писателя за отрывок из художественного произведения, даже тогда, когда этот отрывок не нравится тем, кто давал устный материал для книги? С. Алексиевич опубликовала не интервью с истцами, а именно отрывок из книги в жанре документальной повести.

Независимая литературная экспертиза нужна Белорусскому ПЭН-центру для защиты писательницы Светланы Алексиевич.

*С уважением
Вице-президент
28 декабря 1993г.*

Белорусского ПЭН-центра

Карлос Шерман.

*Вице-президенту Белорусского
ПЭН-клуба Шерману К.Г.*

Уважаемый Карлос Григорьевич!

Выполняем Вашу просьбу — сделать независимую литературную экспертизу документальной повести Светланы Алексиевич “Цинковые мальчики” и даем ответ на Ваши вопросы по пунктам:

1. По тому определению понятия “документальная литература”, которое дает “Литературный энциклопедический словарь (М., “Советская энциклопедия”, 1987, с. 98 — 99) и которое считается среди ученых-специалистов наиболее выверенным и точным, вытекает, что документальная литература, в том числе и документальная повесть, по своему содержанию, методам и способам исследования, форме изложения относится к жанру художественной прозы и в связи с этим активно использует художественный отбор и эстетическую оценку документального материала. “Документальная литература, — отмечает автор соответствующей статьи, — художественная проза, исследующая исторические события и явления общественной жизни путем анализа документальных материалов, которые возобновляются целиком, частично или в изложении”.

2. В той же энциклопедической статье утверждается, что “качество отбора и эстетической оценки показанных фактов, взятых в исторической перспективе, расширяют информационный характер документальной литературы и выводят ее как из ряда газетно-журнальной документалистики (очерк, записи, хроника, репортаж) и публицистики, так и из исторической прозы”. Таким образом, отрывок из “Цинковых мальчиков” С.

Алексиевич, опубликованный в “Комсомольской правде” (от 15.02. 90 г.), нельзя отнести к жанру интервью, репортажа, очерка или любой другой разновидности журналистской деятельности, он является своеобразной рекламой книги, которая вскоре должна была появиться в печати.

3. Что касается права автора документального произведения на художественность как специфическое средство обобщения фактов, на собственную концепцию исторического события, на сознательный отбор материала, на литературную обработку устных рассказов свидетелей этого события, на собственные выводы сопоставления фактов, то в уже названном выше энциклопедическом словаре сказано буквально следующее: “Сводя к минимуму художественный вымысел, документальная литература своеобразно использует художественный синтез, отбирая реальные факты, которые сами по себе обладают значительными социально-бытовыми свойствами”. Несомненно, что документальная литература строго ориентирована на достоверность и правдивость. Но, однако, возможен ли полный реализм, абсолютная правда вообще? По словам писателя, лауреата Нобелевской премии Альбера Камю, полная правда была бы возможна только тогда, когда бы перед человеком поставили киноаппарат, и он бы записал всю его жизнь от рождения до смерти. Но нашелся бы в таком случае другой человек, согласившийся бы пожертвовать своей жизнью ради бесконечного просмотра этой удивительной киноленты? И сумел бы он за внешними событиями увидеть внутренние причины поведения “героя”? Легко представить ситуацию, что было бы, если бы автор “Цинковых мальчиков” сознательно отказалась от творческого отношения к собранным фактам и примирилась с ролью пассивного собирателя. Ей пришлось бы в таком случае записать на бумаге буквально все, что наговорили в своих многочасовых рассказах-исповедях герои-”афганцы”, и в итоге получился бы (найдишь издатель) пухлый том сырого, необработанного, не доведенного до существующего уровня эстетических требований материала, который просто бы не имел читателя. Больше того, если бы таким путем пошли предшественники С. Алексиевич в этом документальном жанре, то мировая литература не имела бы сегодня таких шедевров, как “Брестская крепость” С. Смирнова, “Нюрнбергский процесс” А. Полторака, “Обычное убийство” Т. Капотэ, “Я из огненной деревни” А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника, “Блокадной книги” А.Адамовича и Д. Гранина.

4. Авторское право — это сумма правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием и изданием литературных произведений, и они начинаются с момента создания книги и состоят из конкретных, определенных законодательством правомочий (лично имущественных и неимущественных). Среди них в первую очередь выделяются права на авторство, на публикацию, переиздание и распространение произведения, на неприкосновенность текста (только автор имеет право вносить в свое произведение какие-либо изменения или дает разрешение сделать это другим). Процесс сбора материала в соответствии с жанром документальной литературы требует активной роли автора, определяющего проблемно-тематическую суть произведения. Нарушение авторского права накладывается в судебном порядке.

5. Буквально точь-в-точь воспроизведение рассказов героев, как мы уже доказывали в ответе на третий вопрос, в документальном произведении невозможно. Но тут, конечно, появляется проблема воли автора, с которым герои в момент откровения поделились воспоминаниями и как бы передали ему часть своих прав на это свидетельство, надеясь на точную передачу их слов в первоначальном виде, на профессиональное мастерство автора, его умение выделить главное и опустить мелочи, которые не углубляют мысль, сопоставить факты и увидеть их в едином целом. В конце концов все решает художественный талант автора и его моральная позиция, его

способность соединять документальность с художественным изображением. Мету правдивости, глубину проникновения в событие в этом случае может почувствовать и определить только сам читатель и литературная критика, которая владеет инструментарием эстетического анализа. Эту меру правдивости по-своему оценивают и герои произведения, они самые пристрастные и внимательные его читатели: соприкасаясь с феноменом превращения устного слова в письменное, а тем более напечатанное, они подчас становятся жертвами неадекватной реакции на собственный рассказ. Так человек, впервые услышавший свой собственный голос на магнитофонной ленте, не узнает самого себя и считает, что произошла грубая подмена. Внезапный эффект возникает еще и в результате того, что рассказ одного свидетеля сопоставляется, стыкуется в книге с другими подобными рассказами, перекликается или отличается от них, или даже спарит, конфликтует с рассказами других героев-свидетелей: тогда заметно меняется отношение и к собственным словам.

6. Книга С. Алексиевич “Цинковые мальчики” целиком отвечает уже названному выше жанру документальной литературы. Достоверность и художественность присутствуют в ней в пропорциях, позволяющих отнести названное произведение к художественной прозе, а не к журналистике. И, к слову сказать, предшествующие книги этого автора (“У войны не женское лицо”, “Последние свидетели”) исследователи относят к документальной литературе.

7. В литературе, современной автору, очерчены определенные границы этики, если достоверная передача рассказа героя, его правдивое свидетельство о событиях, оценка которых еще не получила надлежащего признания в обществе, могут обернуться нежелательными результатами не только для автора, но и для героя. В таком случае автор, несомненно, имеет право на изменение фамилий и имен героев. И даже тогда, когда герою ничего не угрожает и политическая конъюнктура складывается в пользу книги, авторы нередко пользуются этим приемом. В фамилии главного героя “Повести о настоящем человеке” Мересьев писатель Б. Полевой заменил всего только одну букву, но сразу же возник эффект художественности: читатель уже понимал, что речь идет не об одном конкретном человеке, а о типичном явлении в советском обществе. Таких примеров сознательного изменения имени и фамилии героев в истории литературы множество.

8. Судебные процессы, подобные тому, который идет над С. Алексиевич, автором книги “Цинковые мальчики”, имеют еще, к сожалению, место в мире. Судебному преследованию в послевоенной Англии подвергнулся Дж. Оруэлл, автор знаменитой “антиутопии” под названием “1984”, которого обвинили в клевете на государственное устройство. Сегодня известно, что темой этой книги был тоталитаризм в том варианте, что возник в 20-м столетии. Смертный приговор в наши дни вынесен в Иране писателю С. Рушди за книгу, в которой якобы в издевательском тоне говорится об исламе: прогрессивная мировая общественность оценила этот акт как нарушение права на свободу творчества и как проявление нецивилизованности. В клевете на Советскую Армию еще недавно упрекали писателя В. Быкова: многие опубликованные в печати письма от ветеранов-псевдопатриотов звучали как суровый общественный приговор писателю, который первым осмелился сказать вслух правду о прошлом. И, увы, история повторяется. Наше общество, провозгласившее строительство правового государства, пока что осваивает лишь азы самых главных прав человека, подменяя часто дух закона его буквой, забывая о моральной стороне всякого судебного дела. Право на защиту собственного достоинства, которое, по мнению истцов, была нарушено С. Алексиевич газетной публикацией отрывка из книги, не должно пониматься как право сегодня говорить автору книги одно, а завтра, в соответствии с изменением настроения или политической конъюнктуры, что-то совсем обратное. Появляется вопрос. Когда был искренен “герой”

книги: тогда, когда дал согласие поделиться с С. Алексиевич своими воспоминаниями о войне в Афганистане, или тогда, когда под нажимом товарищей по оружию решил отстаивать корпоративные интересы определенной группы людей? И имеет ли он в таком случае моральное право на судебное преследование писательницы, которой в свое время доверился, зная, что его исповедь будет опубликована? Факты, сообщенные истцом автору или опубликованные в газете, не выглядят одиночными и случайными, он подтверждаются в книге другими аналогичными фактами, ставшими известными автору из рассказов других свидетелей тех же событий. Разве это не дает основание думать, что “герой” был искренен в тот момент, когда записывался устный рассказ, а не тогда, когда он отказывался от своих слов? И еще важный аспект: если нет свидетелей разговора автора с “героем” и когда отсутствуют другие доказательства правоты одной или второй стороны судебного процесса, возникает необходимость в перепроверке всех подобных фактов, приводимых автором в своей книге, что можно было бы сделать на своеобразном “нюрнбергском процессе”, в котором бы приняли участие десятки и тысячи свидетелей войны в Афганистане. В противном случае существует опасность утонуть в бесконечных судебных разбирательствах, где пришлось бы доказывать чуть ли не каждое сказанное героями книги слово, а это уже абсурд. Поэтому обращение Белорусского ПЭН-центра в Институт литературы АНЮ с просьбой сделать независимую литературную экспертизу опубликованного в “Комсомольской правде” отрывка из документальной книги С. Алексиевич “Цинковые мальчики” представляется в данной ситуации естественным и, может, даже единственно возможным способом решить конфликт.

*Директор Института имени Я. Купалы
Академии наук Беларуси,
член-корреспондент АНБ
Коваленко В.А.*

*Старший научный сотрудник
Института литературы,
кандидат филологических наук
Тычина М.А.,*

27 января 1994г.

После суда

Решение суда зачитано...

Тягостно мне писать о нас — о тех, кто сидел в зале суда. В последней своей книге “Зачарованные смертью” Светлана Алексиевич спрашивает: “А кто — мы? Мы — люди войны. Мы или воевали, или готовились к войне. Мы никогда не жили иначе”.

Мы воевали... Вот словно специально рассеявшиеся за спиной писательницы женщины тихо, чтобы не слышал судья, но внятно для Светланы Алексиевич состязаются в оскорблениях ее. Матери! Эпитеты таковы, что повторить их не могу... Вот И. Галовнева в перерыве подходит к пришедшему вступить за писательницу отцу Василию Радомысльскому: “Не стыдно вам, батюшка, — продались за деньги!” “Тьма! Дьявол!” — раздается из публики, и уже тянутся негодующие руки, чтобы сорвать с его груди крест. “Это вы — мне? Мне, который отпевал ваших сыновей по ночам, потому что вы говорили, что иначе не получите триста рублей обещанной помощи”, — потрясенно вопрошает священник. “Зачем пришел? Дьявола защищать?” — “Молитесь за себя и за детей своих. Нет покаяния, нет утешения”. — “Мы ни в чем не виноваты... Мы ничего не знали...” — “Вы были слепы. А когда открыли глаза свои, то увидели только труп своего сына. Кайтесь...” — “Что нам до афганских матерей... Мы своих детей потеряли...”

Впрочем, не осталась в долгу и другая сторона. “Ваши сыновья убивали в Афганистане невинных! Они — преступники!” — Кричит матерям какой-то мужчина. “Вы предаете детей своих во второй раз...” — неистовствует другой.

А ты? А мы — разве не выполняли приказ? Приказ — молчать? Разве мы не тянули на собраниях вверх “одобряющие” руки? Я спрашиваю... Нам всем нужен суд... Тот суд — другой, о котором говорил на суде председатель Белорусской Лиги прав человека Е. Новиков: когда мы все — мы, молчавшие, матери наших погибших солдат, ветераны этой войны и матери погибших афганцев — та, другая сторона, сядем вместе и просто посмотрим друг другу в глаза...

*А. Александрович
“Фемида”, 27 декабря 1993 г.*

Закончился гражданский процесс о защите чести и достоинства по иску Галовневой — Кецмура к писательнице Светлане Алексиевич. Последний день процесса собрал много журналистов, и в некоторых изданиях уже промелькнули сообщения о решении суда: иск Галовневой отклонить, иск Кецмура удовлетворить частично. Я не стану дословно цитировать заключительное постановление, скажу только, что оно носит, на мой взгляд, довольно примиренческий характер. Но примирило ли оно стороны в действительности?

Инна Сергеевна Галовнева, мать погибшего в Афганистане старшего лейтенанта Галовнева, по-прежнему на “тропе войны” — она собирается подавать кассационную жалобу и судиться с писательницей дальше и дальше. Что движет этой женщиной? Что движет этой матерью? Безутешное горе. Безутешное в том смысле, что чем дальше уходит в историю афганская война, чем отчетливее осознает общество, насколько авантюрной была эта затея, тем бессмысленней выглядит гибель наших ребят на чужой земле... Поэтому и не принимает Инна Сергеевна книгу “Цинковые мальчики”. Поэтому для нее она — оскорбление: для матери слишком непосильная ноша — обнаженная правда об афганской войне.

Тарас Кецмур — бывший водитель-”афганец” — второй истец этого гражданского процесса. Его иск частично удовлетворен судом; два глубоко психологических, глубоко драматических эпизода в монологе под его фамилией, свидетельствующие, на мой взгляд, лишь о том, что война никого не отпускает живым, даже если целы руки-ноги, признаны по требованию Кецмура “оскорбляющими честь и достоинство”. Впрочем, я даже готова понять Тараса. Помните, есть такой афоризм: “Бойтесь первых порывов души, они могут быть искренними”? Так вот его монолог в “Цинковых мальчиках” — это, на мой взгляд, именно первый искренний порыв души после Афгана. Прошло четыре года. Изменился Тарас. И мир вокруг него. И ему, наверное, хотелось бы многое изменить также и в памяти о прошлом, если уж не удастся эту память вычеркнуть вовсе из души... А тут “Цинковые мальчики” — написано пером, не вырубишь топором.

Светлана Алексиевич покинула заседание суда до окончания процесса — после очередного отказа суда о ходатайстве писательницы на литературную экспертизу. Алексиевич резонно спрашивала: как можно судить документальную повесть, не зная основ жанра, не владея азами литературного труда и не желая вдобавок знать мнение профессионалов? Но суд был непреклонен. После второго отказа в литэкспертизе Светлана Алексиевич покинула зал заседания. При этом она сказала:

— Как человек... Я попросила прощения за то, что причинила боль, за этот несовершенный мир, в котором часто невозможно даже пройти по улице, чтобы не задеть другого человека... Но, как писатель... Я не могу, не имею права просить прощения за свою книгу. За правду!

Гражданский процесс над С. Алексиевич и ее книгой “Цинковые мальчики” — это наше второе поражение в “афганской” войне...

Елена Молочко
“Народная газета”, 23 декабря 1993 г.

В декабре 1993 года судебный марафон по обвинению писательницы Светланы Алексиевич и ее книги “Цинковые мальчики” наконец завершился. Решение суда: писательница должна извиниться перед “афганцем” Тарасом Кецмуром, честь и достоинство которого суд признал “оскорбленным частично”. Газете “Комсомольская правда” белорусский суд ничтоже сумняшеся присудил напечатать опровержение, а также письменные извинения писательницы и редакции.

Второй истце — матери погибшего в Афганистане офицера Инне Сергеевне Галовневой — в иске отказано, хоть суд признал “часть сведений, приписываемых авторству Галовневой, не соответствующими действительности”. Иск Галовневой суду пришлось отклонить, поскольку в ходе слушаний была представлена кассета с магнитофонной записью выступлений Галовневой несколько лет назад на одном из митингов, где она полностью поддерживает книгу Алексиевич.

У Светланы Алексиевич на этом суде, в этом судопроизводстве и в этой системе шансов на защиту своего человеческого и профессионального достоинства не было...

Испугавшись всемирного возмущения политическим процессом над художественным произведением и его создателем, режиссеры белорусского трагифарса громогласно формулировали: “Это ни в коем случае не суд над книгой, не процесс против писателя и его творчества! А всего лишь гражданский иск о защите чести и достоинства, адресованный газете “Комсомольская правда” по поводу публикации 1990 года”.

“А как же быть с презумпцией невиновности?” — поинтересовались после завершения процесса у судьи Ждановича председатель Белорусской лиги прав человека Евгений Новиков и глава Белорусской ассоциации свободных средств массовой информации Алесь Николайченко.

Согласно Ждановичу, “презумпция невиновности действует только в уголовных делах”. Во если бы Галовнева и Кецмур обвинили С. Алексиевич в клевете, то в этом случае презумпция невиновности действовала бы, поскольку сам термин “клевета” и является термином уголовного кодекса, и тогда истцы должны были бы представить в суд вещественные доказательства...

В случае же гражданского иска по защите чести и достоинства презумпция невиновности в Белоруссии не существует...

Возможно, из гражданского процесс плавно перетечет в уголовный — истца Галовнева пообещала и говорила об этом как о своей цели.

К белорусским прокоммунистическим газетам, которые травят писательницу, присоединилась “Комсомольская правда” — статья-послесловие от 30 декабря 1990 года, подписанная Виктором Пономаревым.

Светлане Алексиевич “показалось, что за спинами матерей “генеральские погоны”, а у них “за спинами — по крайней мере точно — сыновние могилы. Они, а не писательница, орденоносец, лауреат, нуждаются в защите. Если и происходит здесь акт гражданской казни, то никак не над писательницей”, — суетливо и демагогически торопится “Комсомолка” отстраниться от Светланы Алексиевич.

Это пролог к официальному извинению, как проба перекованного голоса — с нового на старый. Как и название: “Мальчишки цинковые. Писатели — все железнее”. А журналисты и редакторы “Комсомольской правды” — все гуттаперчевее?

Правда всегда стоила дорого произносящему. Отказ от правды всегда ввергал малодушных в бедствия. Но, кажется, не было в современной истории более безнадежного и всеобъемлющего несчастья, чем добровольное саморазрушение человеческой природы подданными коммунизма, когда от людей остаются “только дымящие дыры”, по выражению Михаила Булгакова.

Дымящие дыры на советском пепелище.

Инна Рогачий
“Русская мысль”, 20 — 26 января 1994 г.

За десять лет афганской авантюры через нее были пропущены многие миллионы людей, повязанных в итоге не одним лишь чувством любви к советской родине, но и кое-чем еще, гораздо более существенным. Часть их погибла, и мы по-христиански скорбим об их безвременной смерти, чтим боль физических и душевных ран, нанесенных их родным и близким. Но вряд ли возможно нынче уйти от понимания того, что они — не герои с их бесспорным правом на всенародное поклонение, а всего лишь вызывающие жалость жертвы. Сознают ли это сами “афганцы”? По все вероятности, однако, большинству из них это пока не под силу. Схожие с ними военной судьбой американские “герои Вьетнама”, поняв истинную сущность своего героизма, бросили президенту полученные от него медали, наши же, похоже, способны лишь гордиться афганскими наградами. Кто из них задумался: за что на самом деле они получены? Добро бы эти награды служили нынче лишь в качестве предлога для получения льгот и привилегий, погоней за которыми охвачено все наше нищающее общество. Но претензии у их обладателей шире. Недавно в Минске на одном из афганских митингов была открыто

заявлена далеко идущая претензия на власть в Беларуси. Что ж, ныне подобная заявка небеспочвенна. Пользуясь царящей в обществе моральной невнятицей (Афган — грязная война, но ее участники — герои-интернационалисты), можно достичь чего угодно. В этих условиях матери погибших — благодатный материал в руках бывших и настоящих красных и коричневых, повсеместно обретающих второе, обновленное дыхание. И матерей используют — всю эксплуатируют их праведный гнев, их святую печаль. Как эксплуатировали в свое время коммунистическую идейность и патриотизм их погибших детей. В общем, расчет беспроигрышен: кто бросит камнем в скорбящую мать? Но за спинами скорбящих матерей зловеще маячат знакомые широкоплечие фигуры, и напрасно автор “Комсомольской правды” притворяется, что никого там не видит. Что “не в генералах за их спинами дело”...

Зловещее дыхание имперской политики, не до конца реализованной в Афганистане, все явственнее ощущается в Беларуси. Суд над Светланой Алексиевич — лишь составной эпизод в длинной цепи скрытых и явных проявлений такого рода. Тоской по великой державе и теплым морям исходит не только партия Жириновского, сторонников которой немало и в Беларуси. “Встряхнуть” посттоталитарное общество, “сплотить” его новой кровью — вот средство для достижения все той же цели — попорченного идеала вчерашнего дня...

Василь Быков
“Литературная газета”, 26 января 1994 г.

...Нет, не о правде войны была эта жесткая борьба с судебным разбирательством. Борьба шла за живую, человеческую душу, за ее право на существование в нашем холодном и неуютном мире, которая только и может стать преградой на пути войны. Война будет продолжаться до тех пор, пока она бушует в наших растерянных умах. Ведь она — только неизбежное следствие скопившихся в душах злобы и зла...

В этом смысле слова погибшего офицера становятся символическими и пророческими: “Я, конечно, вернусь, я всегда возвращался...” (Из дневника старшего лейтенанта Юрия Галовнева.)

Петр Ткаченко
“Во славу Родины”, 15 — 22 марта 1994 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Цинковые мальчики

Пролог

Из записных книжек
(*на войне*)

День первый.
“ Ибо многие придут под именем Моим...”

День второй.
“А другой умирает с душою огорченною...”

День третий.
“Не обращайтесь к вызывающим мертвых. И к волшебникам не ходите...”

Post mortem

Суд над “Цинковыми мальчиками”
(*история в документах*)